Ефим Честняков.
Поющие у трона.





Ефим Честняков.
Посиделки.

(Материал
о Савелии Ямщикове
читайте на стр. 4.)

ISSN 0321—0561. СЛОВО 1990. № 3. 1—88. Индекс 70110. 90 коп.

ISSN 0321—0561

СЛОВО

3

На первой обложке.
Ермолай Камеженков.
Женский портрет.
XVIII век. (О реставраторе
С. Ямщикове читайте
на стр. 4.).

Фрагмент рукописи
дневников Б. Шергина.
Фотопортрет 1959 г.
(Исповедь писателя
читайте на стр. 10.)

Традиции. Духовность. Возрождение.



Мастерская
Савелия Ямщикова
во флигеле
Поливановской
гимназии
стр. 4

объединение патриотов

Долгие годы в нашей стране не был задействован огромный духовный и интеллектуальный потенциал, отторгаемый и подавляемый бюрократическими «ведомственными» структурами. Сейчас, когда этот гнет слабеет, возникают и получают возможность развития творческие общественные инициативы. На страницах журнала «Слово» уже выступили ученый-экономист М. Антонов, представивший Союз духовного возрождения Отечества («Вернуть забытые истины», № 7), а также академик Н. И. Толстой — председатель совета Фонда славянской письменности и славянских культур (№ 12). В последнем номере 1989 года была напечатана и статья «В зеркале Байкала» члена СП СССР А. Кузнецова, который в новой своей публикации сообщает читателям о воссоздании Русского исторического общества.

АЛЕКСАНДР КУЗНЕЦОВ

ЛИЦО НАРОДА

В каждом из нас не только физически, но и духовно живет отец, дед, прадед... Прошлое не умирает, оно живо в каждом селе и городе, видно не только в их внешнем облике, но и в его происхождении, иногда профессии, образе жизни. Возьмем, к примеру, Ленинград, Одессу или Ростов Великий. У каждого из этих городов своё лицо, определяемое историей. Без прошлого нет и страны, нет народа. Гитлеровский министр культуры Розенберг писал, что, если лишить народ памятников истории и культуры, то в третьем поколении этот народ перестанет существовать как нация. Ему это не удалось. Зато преуспели другие.

«И мы знаем, что прошлое по-настоящему будет лишь в будущем», — говорит Н. А. Бердяев. «Прошлое страстно глядится в будущее», — вторит ему А. А. Блок. Это хорошо понимали русские люди в прошлом веке и в начале настоящего. Нам теперь трудно себе представить, что во второй половине XIX столетия в России существовали в 40 губернских и даже уездных городах исторические и археологические общества, увлеченно и бескорыстно занимавшиеся отечественной историей. Построенные на общественных началах, такие общества были в Киеве, Казани, Астрахани, Новороссийске, Нежине, Юрьеве, Каменец-Подольском, Вильне, Тифлисе, Рязани, Тамбове, Твери, Орле, Костроме, Саратове, Симферополе, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Перми, Ярославле, Калуге, Симбирске, Чернигове, Кишиневе, Херсоне, Владимире, Пскове, Севастополе, Ташкенте, Пернове, Риге, Дерпте, Житомире, Сухуми, Ставрополе, Смоленске, Харькове и даже в Константинополе. И, конечно же, в Петербурге и в Москве.

Первое из русских исторических обществ образовалось в 1805 году в Москве. Оно называлось «Обществом истории и древностей российских». Более ста лет оно жило и работало при Московском университете. Результаты трудов общества так значительны и велики, что потребуется, наверное, половина нашей жизни, чтобы все их прочитать. В сборниках «Русские достопамятности» (1815—1844 гг.) публиковались древние исторические памятники, такие, как «Русская правда» и «Устав о мостах Ярослава», «Устав новгородского князя Святослава Ольговича 1137 г.» и договор Мстислава с Ригой. В них же было напечатано «Слово о полку Игореве». В «Записках и трудах» общества стали выходить исследования по древней истории России Арцыбашева, Снегирева, митрополита Евгения, А. Писарева и других московских историков. С 1815 по 1837 годы вышло восемь частей, а потом трудами М. Н. Погодина выпущено ещё семь частей «Русского исторического сборника».

О. М. Бодянским в 1846-1848 годах издано 23 книги «Чтений в обществе Истории и Древностей Российских при Московском университете». «Чтения» заменены «Временником» под редакцией профессора Беляева. Он выпустил 25 томов, главным образом по истории Московского государства. Тут мы найдем и «Домострой», и летописи, и разрядные, писцовые книги, родословные книги, грамоты, описи и множество других бесценных документов. Вновь возглавивший «Чтения» Бодянский поместил в них материалы о царевиче Алексее Петровиче, Артемии Волынском, Феофане Прокоповиче, Бироне, Новикове, Радищеве... В конце века публиковалась древнерусская литература и рукописи монастырей. Выходили и отдельные издания общества — до 1893 года им издано 149 книг на исторические темы. Среди них книги И. Е. Забелина, П. И. Иванова, архимандрита Леонида, М. Н. Погодина, братьев Холмогоровых, А. М. Шемякина, Д. В. Цветаева.

Печатал труды по исследованию русской истории и созданный в 1856 году М. Н. Катковым «Русский сборник», в котором публиковались не только И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, А. А. Фет, Я. П. Полонский, А. Н. Островский, Ф. М. Достоевский, но и все известные русские историки.

В одной только столице Росси-

ской империи, в Санкт-Петербурге, существовало сразу несколько исторических обществ. Это:
Археологическая комиссия (с 1834 г.),
Императорское русское археологическое общество (с 1846 г.),
Императорская археологическая комиссия (с 1859 г.),
Императорское русское историческое общество (с 1866 г.),
Императорское общество любителей древней письменности (с 1877 г.),
Общество церковной археологии (с 1894 г.),
Общество ревнителей русского исторического просвещения в память Императора Александра III (с 1895 г.),
Генеалогическое общество при музее Императора Александра III (с 1897 г.) и другие.

Наиболее же крупным и известным в России было, конечно, Императорское русское историческое общество. Оно состояло под председательством наследника Цесаревича, ставшего в 1896 году императором Николаем II. В параграфе первом Устава общества было сказано, что оно «имеет целию собирать, обрабатывать и распространять в России материалы и документы до отечественной истории относящиеся, как хранящиеся в правительственных и частных архивах и библиотеках, так равно и находящиеся у частных людей». Вскоре Императорское русское историческое общество расширило круг своих интересов и поисков. Исторические документы по России стали изучаться и в других странах, в архивах Парижа и Лондона, Берлина и Дрездена, Вены и Стокгольма. Особенно интересными оказались донесения иностранных послов, побывавших в России в XVII—XVIII веках.

В «Сборнике» общества, издаваемом с 1867 года, самыми богатыми историческими материалами можно назвать документы Екатерининской эпохи. Несколько меньше тут собрано документов времен Петра I, Александра I и Николая I. Из бумаг частных лиц большой интерес представляют архивы Репнина, Булгакова, Закревского, Панина, Орловых, Шереметьевых, Будберга. В 1887—1888 гг. П. Н. Петров опубликовал два тома азбучных указателей с именами русских исторических деятелей. Всего вышло около ста томов «Сборника» Императорского русского исторического общества. Публиковавшиеся в нем научные труды и до сих пор служат бесценным материалом для проведения различных исторических исследований.

После революции исторические общества в России постепенно перестали существовать. Всякие общества казались опасными власти, они могли породить инакомыслие. Даже такие как Общество старых большевиков или Общество политкаторжан и ссыльнопоселенцев. Наше прошлое, история русского народа были раз и навсегда отрезаны от нас. История России стала состоять из одних восстаний, стачек и бунтов. Посмотрите современные учебники истории для школьников — и вы убедитесь в этом. Все цари сделались кровопийцами, дворяне — изуверами и насильниками, купцы и промышленники — мироедами и эксплуататорами трудового народа, а все духовные лица — мракобесами, пьяницами и развратниками. Все, что было «до того», перестало существовать не только в умах, но и в сердцах трех поколений. Сделано для этого было немало.

«Конечно, идея патриотизма — идея насквозь лживая, — писал А. В. Луначарский в своей работе «Задачи просвещения в системе советского строительства» (М., 1925 г.), — задача патриотизма заключается в том, чтобы внушить крестьянскому парнишке или молодому рабочему любовь к «родине», заставляя его любить своих хищников». Кого же в таком случае можно назвать «хищниками»? Уж не Сергия ли Радонежского, Минина и Пожарского, Кутузова и Багратиона, Льва Толстого и Бунина? Автор этих слов возглавлял Наркомпрос, плоды его «просвещения» и ему подобных не заставляли себя ждать.

Вот один из документов Наркомпроса: «Протоколы заседаний Комиссии по архитектурной реставрации Отдела по делам музеев и охраны памятников искусства и старины Народного Комиссариата по просвещению. Протокол № 19/664. Заседание архитектурной секции 25 апреля 1932 года. **Слушали...** О памятниках на Бородинском поле. Отношением от 13. IV п. и. 3/1398 «Металлолом» просит дать заключение о передаче ему памятника Раевского на Бородинском поле. **Постановили:** Ввиду того, что памятник Раевского (То есть главный монумент. — А. К.) не имеет историко-художественного значения, против его разборки не возражать». Вот так охранялись памятники нашей истории. Пустили козлов в огород. Под эту удобную для разрушителей русского самосознания формулировку: «не имеет историко-художественного значения» — взорван не только храм Христа Спасителя. Взорваны 12 из 14 памятников, установленных на местах боев 1812 года, чудом сохранились два — в Смоленске и в Тарутино. Взорван на Бородинском поле и памятник всем русским воинам, а заодно и гробница князя Петра Ивановича Багратиона. Да разве возможно все перечислить?!. Только благодаря бесчинству Емельяна Ярославского и его Союза воинствующих безбожников разрушены тысячи (тысячи!) исторических памятников. Проданы за границу бесценные произведения русского искусства. Миллионами уничтожаются инакомыслящие и «классово чуждые», а вместе с ними навсегда пропадают «частные архивы», исторические памятники и целые библиотеки.

«Эти социальные группы отжили свой век» — по Н. В. Крыленко. «Каковы бы ни были индивидуальные качества (подсудимого), к нему может быть применен только один метод оценки: это — оценка с точки зрения классовой целесообразности». Кого не к стенке, того в лагеря к начальнику ГУЛАГА Я. М. Берману, в лагеря Карелии к С. Л. Когану, на Соловки к Серпуховскому, в подмосковные лагеря к Раппопорту, Абрампольскому, Файвиловичу, Зелегману, Шкляру... Какая уж тут российская история...

И. В. Сталин разрешает «двух хороших царей» — Ивана Грозного и Петра Великого. Они импонируют ему своими методами использования власти. Как же можно было включить сюда, скажем, Александра II: при нем ведь все III отделение (жандармское ведомство) состояло всего из 72-х человек, включая всех штатных, внештатных и вольнонаемных сотрудников! Из дворян разрешены декабристы, а из духовенства не возвращают никого — оно особенно ненавистно для захвативших власть. Не слышали мы 70 лет доброго слова и о русском купечестве, как и о крепком общинном крестьянстве.

Но вот приходит Великая Отечественная война. Когда нам больно, когда нам невыносимо трудно, мы в отчаянии кричим: «Мама!» Когда больно и трудно всему народу, он обращается к матери-Родине. В самое тяжелое время войны восстанавливается в стране патриаршество, появляется Георгиевская лента, вспоминаются русские полководцы. Мы даже возвращаемся к золотым погонам, за которые, как и за белый крестик ордена святого Георгия, шлепали на месте, не спрашивая фамилии.

Но инерция сильна. Учебники истории не меняются, только к ним добавляется еще гром побед социализма. Соответственно немногое изменяется и в нашем историческом сознании. Неистовые ревнители вульгарной социологии знали свое дело. Они прочно и надолго поселили в душах русских людей отношение к отечественной истории как к чему-то постыдному, если не контрреволюционному.

Вот передо мной учебник истории для 9-го класса. Отмене крепостного права в нем отводится две страницы, состоящие в основном из цитат В. И. Ленина, а крестьянской войне Е. Пугачева — шесть. Причем в учебнике говорится: «Отмена крепостного права была проведена в 1861 году в обстановке обостренной классовой борьбы крестьян против помещиков». И вслед за этим идут две главы — «Борьба крестьян после реформы 1861 года» и «Революционеры-разночинцы 60-х годов». Не было перед реформой никаких крестьянских волнений, никаких восстаний и борьбы. Не было. Это установить нетрудно.

Реформа осуществлялась сверху. Этот подвиг русского дворянства, на мой взгляд, куда более важен для истории России, чем восстание Е. Пугачева. Чтобы убедиться в этом, достаточно познакомиться с работой «Главного Комитета по крестьянскому делу для рассмотрения постановлений и предложений о крепостном состоянии». А предложения эти поступили к июлю 1859 года из 44 губерний. «Сначала лучшие люди, потом значительное большинство образованного общества и само правительство взглянули на дело просто, по-человечески. Они пожалели миллионы людей, страдавших от бесправия, и захотели им действительно помочь», — пишет В. С. Соловьев в статье «Русский национальный идеал». И далее: «...освобождение крестьян требовалось прежде всего нравственным христианским началом, и притом не для одной, а для обеих сторон: не только с крепостных снималось рабство, недостойное имени христианства, но и помещики избавлялись от еще худшего положения рабовладельца, совершенно уже несовместимого с христианским званием»... «И произошел этот внезапный процесс только потому, что государственная сила вдохновилась нравственным принципом и превратила его в объективный закон жизни».

Мы и сейчас читаем такое с некоторым сомнением, если не с недоверием. Нам все вспоминаются накрепко вбитые в наши головы производительные силы и производственные отношения. Как же можно поверить в христианские чувства, если не знаешь, что это такое?!

Новейшая же история подавалась нам еще более односторонне и тенденциозно, что лишило нас возможности объективно оценивать события недавнего прошлого. О гражданской войне мы читали Гайдара и Бабеля, Фурманова и Фадеева, а «Очерки русской смуты» А. И. Деникина лежали в спецхране за семью печатями. Нас учили по Краткому курсу ВКП(б), и мы даже не подозревали о существовании «Окаянных дней» И. Бунина и «Несвоевременных мыслей» М. Горького. Другая половина литературы о революции и гражданской войне в России существовала вне нас, там, за бугром, где мы не бывали. Что мы знаем о гражданской войне?

А ведь в конце 20-х годов появились книги С. С. Каменева, М. Н. Тухачевского, В. А. Антонова-Овсеенко, Г. Д. Гая, Л. Д. Клюева, В. А. Мельникова, А. В. Голубева, В. К. Путна и других участников этой войны и даже в качестве главнокомандующих фронтами. Эти воспоминания, мемуары можно считать довольно объективными и правильно освещающими картину гражданской войны. Но уже в начале 30-х годов книги названных авторов были запрещены или изъяты из употребления. Позволялось писать только об обороне Царицына, где короткое время главнокомандующим был И. В. Сталин. Однако, если взять перечень командующих 22-мя фронтами гражданской войны со всеми заменами и перебросками их с одного фронта на другой, то фамилия Сталина среди сотни имен встречается лишь один раз.

«С начала 30-х годов, — говорится в Советской исторической энциклопедии, — не происходило расширения источниковедческой базы по истории гражданской войны. В научный оборот не только не поступали новые документы, новые факты, но замалчивались и многие из тех, которые были широко известны и освещены в литературе». Только к началу 60-х годов стали вновь появляться отдельные книги и исторические сводки с более или менее правдивыми данными об этом периоде жизни нашего народа. К ним можно отнести трехтомник «Из истории гражданской войны в СССР» и эту самую «Советскую историческую энциклопедию».

Взгляда же «с той стороны» мы пока так и не получили. Говорят, будут печататься отдельные куски из «Очерков русской смуты» А. И. Деникина, а надо бы опубликовать все пять томов. Почему бы не издать нам, наряду с С. С. Каменевым, М. Н. Тухачевским и В. А. Антоновым-Овсеенко, такие книги как «Белое дело» (1-7 кн., Берлин, 1926-1933), «Архив русской революции» (1-22 кн., Берлин, 1922-1937), «Архив гражданской войны» (в. 1-2, Берлин, б. г.), да и библиографию русской революции и гражданской войны (1917-1921), изданную тоже на русском языке в Праге в 1938 году? Я уже не говорю о переиздании сборников, составленных С. А. Алексеевым, мемуаров А. И. Деникина, Н. Н. Юденича, П. Н. Врангеля, В. Г. Болдырева, П. Н. Краснова, М. В. Родзянко или Я. Слащева (Крым, 1920 год), которые уже выходили у нас до конца 20-х годов. Или они не будут пользоваться успехом и «запылятся на полках», как говорилось на писательском съезде о книгах А. И. Солженицына?

Теперь вновь грядет трудное время для страны, время социальных потрясений, национальной и имущественной розни, грозящее всеобщей смутой. И сейчас нам самое время обратиться к родной истории. Но мы хотим знать правду, полуправда нас нынче не устраивает. Поэтому надо срочно снимать замки со спецхранов и фондов и доводить дело гласности до конца. Многое уже и сделано, ведь читаем в два последние года публицистику и литературные произведения, немыслимые каких-нибудь 4—5 лет назад.

Мы дорвались до этой информации и захлебываемся в ней. И тут может возникнуть новая опасность: маятник может далеко качнуться в другую сторону, и тогда снова утратится объективный подход к отечественной истории. Давно известны слова, сказанные Наполеоном, что «история — это расхожая девка, которая спит в постели победителя». Нас учили, что не может быть внеклассового подхода к истории. Но лично я в это не верю. Я не историк, да простят меня ученые-историки, если я скажу, что думаю по этому поводу. А полагаю я, что истина может определяться фактом, а факт — документом. Другое дело, что факты могут по-разному истолковываться. Но столкновение этих истолкований, демократическая борьба взглядов на прошлое нашей Родины и нашего народа, на мой взгляд, и есть история. История живая, развивающаяся, стремящаяся к истине, а не мертвая, авторитарная, каноническая.

12 октября 1989 года члены Совета по историко-художественной литературе при объединении прозаиков Московской писательской организации выступили с инициативой создания Русского исторического общества. 22 ноября Всероссийский фонд культуры одобрил эту инициативу и согласился оказать на первых порах всяческую помощь организаторам Общества. Оргкомитет по подготовке и проведению учредительного съезда готовит необходимые документы для регистрации Общества, его финансирования, Устава и Обращения к соотечественникам. Мы хотим возродить Русское историческое общество, наследуя его традиции «собирать, обрабатывать и распространять в России материалы и документы, до отечественной истории относящиеся». Общество будет иметь свой периодический печатный орган «Сын Отечества», в котором намечается публиковать как научные, научно-популярные работы, так и литературные исторические произведения. Не только столичных авторов, но и авторов с периферии. Именно на них будет опираться Общество в своей работе, создавая в городах России отделения Русского исторического общества.

Общество объединит всех, кто хочет более насыщенной и богатой духовной жизни, связанной с возрождением народных традиций, моральных и культурных ценностей русского народа, кто хочет опираться в своей жизни на забытые и полузабытые обычаи гуманизма, всечеловечности в их национальной ипостаси. Мы стремимся сейчас вернуть людям землю. Очень хорошо! Но надо вернуть им и небо. Для чего изменить массовое сознание через приобщение к духовной культуре народа.



На снимке: Савелий Ямщиков в мастерской.

ВАЛЕНТИН КУРБАТОВ

ПОСТИЖЕНИЕ ПРОШЛОГО

подвижник

Теперь это пореже выпадает, а раньше судьба часто сводила нас с Савелием Васильевичем Ямщиковым в общей поездке или общем деле. Инициатива всегда была его, и замысел (хотя бы и только-только ненароком в беседе рожденный) немедленно делался естественным, обязательным и желанно-подстегивающим. Не терпелось сразу и начать — писать, ехать, звать других людей. И уж как заводились, так не оступались до исполнения. И все делалось без натуги, ложного глубокомыслия, наморщенных лбов — широко и крупно, «само собою». А поглядеть тогда в мастерской (теперь уж и годы не те, и здоровья поменьше), так найдешь по виду совершенного русского байбака, философствующего лентяя, какими славна наша литература и действительность. И представить нельзя было, что как дойдет до работы, то этот же неповоротливый человек может быть и легок и неуследим и, сегодня вернувшись из Суздаля, завтра отправится в Вологду и еще по дороге туда наметит Баку.

В Суздале ему надо подыскать натуру для фильма «Хранители», который он консультирует, в Вологде посмотреть музейные фонды, чтобы привести в порядок лучшие из последних поступлений в научно-исследовательском Институте реставрации, где он возглавляет отдел пропаганды художественного наследия; в Баку — помочь отличному художнику Фархаду Халилову подготовить московскую выставку. При этом в промежутке не забыть выступить на честняковской конференции в Костроме, сделать жесткий телевизионный цикл о судьбе старых русских городов и провести в Доме художника вечер актрисы Маргариты Тереховой.

Вероятно, от этого временами кажется, что он уж слишком широко понимает пропаганду художественного наследия, захватывая и сопредельные области, где пора бы завестись и своим специалистам. Однако впереди-то всегда все-таки свое — главное и первенственное: выставочная и издательская работа. Его выставки обдуманны и тщательны, каталоги безупречны, афиши ненаглядны. Я помню выставку, где он показывал только сам этот «сопроводительный материал», который обыкновенно обретается на периферии нашего внимания: пригласительные билеты, афиши, каталоги, буклеты. Из деликатных и умно незаметных слуг, какими эти издания бывают на выставках, они на этот раз оказались хозяевами. Превращение вышло поучительное. Мы впервые ясно поняли, что внешне только попутные материалы на самом деле входили в организм выставки с такой полной естественностью и равноправием, с такой серьезно обдуманной ответственностью перед памятниками, которые они представляли, что теперь нам довольно одного голоса афиши и билета, чтобы выставка встала в памяти во всей художественно-мировоззренческой целостности. Так, на выставку «Живопись древнего Пскова» звала афиша, на которой ехали за звездой волхвы, с пригласительного билета трубил в рожок горящий кармином юный пастырь с посохом, а с обложки каталога покойно и твердо глядел мученик и воин Дмитрий Солунский, сжимающий меч и щит готовно-оградительным жестом. Все это были фрагменты разных икон одной школы, и в их подборе виделась строгая художественно-нравственная логика и сродняя духу Пскова мысль.

Кому приходилось бывать на выставках, устроенных Ямщиковым, подтвердят, что они все были так продуманно глубоки. Когда же материал отстоится окончательно, из экспозиционера и реставратора Ямщиков делается искусствоведом и издателем и готовит альбом, который обыкновенно тотчас становится библиографической редкостью. Назову хоть три последних, которые все на виду специалистов: «Русский акварельный и карандашный портрет первой половины XIX века», «Ярославский портрет XVIII—XIX веков» и «Реставрация произведений искусства в СССР».

Все они каждой страницей, иллюстрацией, комментарием подтверждают, что памятник недостаточно только расчистить. Его надо ввести в живой историко-художественный обиход, вернуть ему имя, биографию, судьбу и не оставлять до той поры, пока не станет ясно, что теперь он постоит за себя сам. Памятник рождается во второй раз не только в том смысле, что ему возвращается первоначальный живой фон, его время. С выходом альбома оканчивается его частная жизнь как храмовой или домашней иконы, как фамильного портрета или усадебной картины. Теперь они входят в историко-культурное наследие, в золотой, тщательно учитываемый национальный художественный фонд.

Призвание

Теперь понятно, какими трудами обеспечено, что С. В. Ямщиков — серебряный медалист Академии художеств, заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат премии Ленинского комсомола, член Президиума Фонда культуры СССР. Однако это только по внешности благополучный портрет справедливо признанного мастера. На деле все тоньше и темнее. В среде художников, архитекторов, искусствоведов, я, увы, часто слышал по поводу Ямщикова выражения столь решительные, что их на литературный язык и не перевести, не утратив русской энергии формулировок. Я вслушивался в интонацию и ловил недоумение («Как это все ему удается?»), досаду («Ну, этот кого хочешь обойдет и объедет!»), почтительное удивление («Когда он все это успевает?»). И чем больше вслушивался, тем отчетливее понимал, что дело, может быть, просто в недостаточности словаря, потому что назови я его только ученым, мне не поверят, только реставратором — обвинят в непонимании сути реставрации, только искусствоведом — напомнят, что он слишком разбросан и иногда поверхностен.

Похоже, перед нами просто еще не узнанное и неосмысленное явление, профессионал только становящейся отрасли художественной индустрии, которая сегодня теснейше сплетена с нравственной тоской по коренной устойчивости, твердым родным опорам. Он представляет крепнущую область посредничества, особенно необходимую, когда и искусство узнало пагубу слишком изощрившейся специализации; область высокого и деликатного просветительства, как самонадеянный рассудок ни обманывает нас, что мы бы и сами увидели и поняли все без комментариев; область организационной дипломатии, стократ сложную в художественно-бюрократической структуре, где дело тормозится не одним общим произведенным хаосом, но и соревнованием честолюбий. Время потребовало специалистов этой новой области, и они должны были прийти. Савелий Ямщиков — имя из них наиболее заметное.

Реставрация не была наследованным увлечением Ямщикова. Домашняя его среда далека от искусства. Реставрация была призванием времени и он верно расслышал призыв. Он поступил на исторический факультет Московского университета в 1956 году посреди оттепели. Тогда, как и сейчас, душа остро просила восстановления разорванной исторической ткани. Старые города переполнились туристами и «Какой это век?» слышалось чаще, чем «Здравствуйте!». Как неизбежное следствие явилось много хороших, с крепким чутьем и умным глазом коллекционеров (благо тогда еще было что собирать — Россия еще достаивала по деревням почти живая). Но неизмеримо больше наплодилось «ряженых» любителей искусства, спекулянтов минувшим, расторопных хищников. Старое наследие оказалось под угрозой истребления и потребовало защиты и основательного изучения. Ямщиков ушел на вечернее отделение и стал работать во Всероссийском реставрационном центре. Дальше в трудовой книжке записей нет. Рассказывая автобиографию, человек в таких случаях обыкновенно заканчивает: «Где и работаю по настоящее время...»

Окружение

Мы познакомились в Пскове, когда А. Тарковский снимал там «Андрея Рублева». Изборск тогда «переоделся» Владимиром и горел из-за стен поддельными куполами, а двор Покровской башни громоздился камнем и лесом — здесь «строился» Андроньев монастырь. Ямщиков консультировал этот свой первый фильм и не забывал свою основную работу. С группой реставраторов он готовил к отправке в Москву старые псковские иконы. Первую помощь им надо было оказывать на месте — под тесными сводами купеческих Поганкиных палат.

Я приходил к реставраторам и подолгу смотрел, как лечат черные источенные шашелем доски — уколами и пластырями, терпением и любовью. Часто наведывался сюда и глухой заведующий музейным древлехранилищем Л. А. Творогов — живописный старик из тех провинциальных ученых, которые, к сожалению, больше известны городу своими причудами, чем открытиями. Я тогда работал в молодежной газете, и мы с глупым жестоким эгоизмом, словно не замечая его боли — он чуть двигался на костылях, оставив ноги на Беломорканале, — посмеивались над его привязанностью к поэзии А. Н. Яхонтова, над его собаками, с которыми он делил одинокий кров, иногда жалуясь, что его Полкан оказался «Полканией», потому что вдруг ощенился. При этом мало кто из нас знал, что исследования Леонида Алексеевича о «Слове о полку Игореве» высоко ценились специалистами, а его забота о сохранении рукописей и старинных псковских книжных собраний была исполнена торжественной скупости, которая ведома только очень большим книжникам. Спохватились уж когда он умер, а Ямщиков и прежде терпеливее нас слушал его глубокие исторические примечания. Особенно когда в одной из бесед случайно выяснилось, что они с Твороговым — воспитанники одной школы профессора Н. П. Сычева. При разнице лет (один учился у Сычева в 20-е, другой в 50-е годы) это неожиданным образом углубило общение и взаимную привязанность к пользе общего их исторического дела.

Беседы по внешности были произвольны, а между тем нечаянно уточнялась датировка того или иного памятника, прояснялись сюжетные «темноты» в клеймах псковских икон. Глухота отделяла Творогова от будничного шума, от праздных случайностей пустого общения. С ним надо было сразу идти к сути. Это требовало постоянного напряжения, и скоро утомляло, побуждая уклоняться от встречи. Но сейчас, когда старого ученого уже нет, стало ясно, как много значил он для псковской книжности и культуры и как мало мы воспользовались его знанием. Не менее важно было и то, что в старом отшельнике за глухотою береглась живая душа Пскова, что дороже любого, хотя бы и очень обширного книжного знания.

Меня вообще поначалу удивлял круг знакомых Ямщикова в Пскове — реставраторы, кузнецы, врачи, директора заводов. Казалось, что уж больно широк, но скоро я увидел, что случайности тут не было. Вместе они были — город, и кроме обыкновенной практической пользы, которую каждый из них по-своему оказывал общему делу, они были воздухом города, подсказчиками его внутренних ритмов, тем духовным целым, которое никак не ухватишь, живя в одном только профессионально-художественном мире.

Мне не часто приходится бывать теперь в его московской мастерской во флигеле бывшей Поливановской гимназии на Пречистенке, но я люблю эти часы. Всякий раз я застаю там кого-нибудь за беседой с хозяином. Актеры, спортсмены, поэты, музыканты и уж, конечно, художники-реставраторы — всем здесь не тесно. Толпы обычно нет — приходят то один, то другой, но и когда сходятся, не теснят друг друга. Беседа временами может показаться и монотонной, но когда вспыхивает чисто и ясно и касается вопросов дорогих, важных, сразу понимаешь и ценность такой широты круга — предмет освещается сразу со всех сторон и является неожиданно богатым, стереоскопическим. Я знаю, что тут нет предварительной хитрости, расчета, спровоцированности таких столкновений. Просто Ямщиков — настоящий москвич в стародавнем смысле, хлебосол, Савелий Большое Гнездо, как, вероятно, сказали бы щедрые на такие определения земляки в минувшее время. Есть в нем эта коренная веселая энергия, эта бодрость психологии, это непременное желание тотчас перейти на «ты», чтобы скорее сделать явление и собеседника «своим», но не присвоить, а усвоить. Так он бесе-

дует не с одними гостями, но и с картинами, иконами, книгами. Приготовленные к очередной выставке работы вдруг от невольного соседства тоже нежданно освещают друг друга и необъяснимым образом входят в мир его нынешних гостей, так что какой-нибудь купец с ярославского портрета сидит помалкивает, но ты под его взглядом уже лишнего не скажешь, а потом встретишь в альбоме как знакомого и невольно кивнешь.

Открытия

Реставраторы обычно этим словом не пользуются. Это читатель и зритель тоскуют по неожиданности, по сильному впечатлению в поскучневшем мире. А для специалиста открытие — вся его работа, и он точнее называет ее «раскрытием» памятника. Каждая доска иконы, таит ли она под копотью совершенный лик высочайшей новгородской школы или только твердую руку тверского богомаза, каждый холст умного провинциального портрета XVIII века, каждый акварельный портрет из пятикопеечной тетради кологривского деревенского мудреца — есть открытие, есть дверь в полное света и глубины историческое миропонимание народа.

Реставратор — профессия, может быть, самая многообъемлющая. Живописец, философ, историк, ремесленник, психолог должны не соседствовать, а сплавляться в нем в живое целое с той свободой, которой порознь, может быть, и не было в раскрываемых им великих мастерах. Совершенно сегодняшний человек, он все время живет в нескольких веках разом, как будто вперед и назад вместе, ведь он раскрывает эти доски, листы, холсты, фрески не для вчера и не для одного сегодня, но для завтра, и это завтра должно быть внятно ему не менее прошедшего, и мировоззрение его должно быть устойчиво, чтобы держаться перед потомками с достоинством и не ронять свой век. У этой профессии три лица повернуты в разные стороны, и шум времени в ней слышнее, чем в остальных человеческих занятиях.

Итак, все-таки об открытиях. Журналы и газеты применяли это слово к двум большим событиям, непосредственно связанным с именем Ямщикова. Оба были костромского корня — живописец XVIII века Григорий Островский и художник, мыслитель, драматург, литератор Ефим Честняков, умерший в 1961 году, но чье имя грянуло внезапно как из дальней дали — такая в нем была возрожденческая прадавняя цельность и неохватность, до сих пор лишь краем задетая в статьях, исследованиях и даже в одном романе об этом человеке.

Оба имени уже отделились от имени Ямщикова и достойно и уверенно стоят в истории искусства. Все правильно. Имена открывателей опадают, как строительные леса, и памятник стоит высоко и торжественно, словно стоял всегда.

Так что же движет открывателем? Что побуждает всякий раз со страстью пропагандировать новое имя, преодолевая инерцию и лень, недоверие и опаску тех, от кого зависит, будет ли помещение для выставки, бумага для каталога, типография для публикации? Что заставляет бросаться с головой в неравные, порой обходные, нравственно неприятные предприятия, если уже не первым опытом открыватель знает, что его имя отойдет вместе с краткой жизнью журнала или газетного листа? Как легко подозревать честолюбие! Конечно, и не без него, но что стоит все это рядом с именем нового великого художника, который теперь навсегда останется на небосводе нашего искусства! И останется именно благодаря настойчивости и последовательности человека, часто рискующего репутацией, потому что, увы, доброе дело не всегда делается с ласковой обходительностью, а иногда потребен и вызывающий душевное сопротивление маневр.

Да и если бы только это... Бывают ситуации, когда надо сжать сердце и пойти к умирающему человеку, которому не до тебя и уже не до земных забот, и беспокоиться о передаче коллекции государству, как было с коллекцией настоятеля Псково-Печерского монастыря архимандрита Алипия. Тяжело было Ямщикову тревожить доброго, всегда расположенного к нему человека на последнем пороге суетными делами, а шел и тревожил, потому что не для себя это надо было, а чтобы не умерла прекрасная коллекция, достойная лучших музеев, чтобы не сгинули в безвестности и не разлетелись по темным частным углам великие холсты. С русской частью коллекции тогда все разрешилось скоро, а вот западноевропейская доставила много хлопот. Тут я сошлюсь на свидетельство самого Ямщикова: «Одна из комиссий, поверхностно ознакомившись с экспонатами, сухо обозвала их в протоколе подделками и копиями. Я не специалист по истории западноевропейского искусства, но опыт подсказывал, что среди этих холстов и досок есть подлинные сокровища. Пришлось обратиться к Ю. И. Кузнецову (эксперт Эрмитажа — В. К.). Волновался я в то утро, как перед выпускным экзаменом. Картины из частной коллекции стояли вдоль стен в большой комнате Псковского музея. Ю. И. Кузнецов и доктор искусствоведения И. В. Линник сначала бегло осмотрели все выставленное, затем стали тщательно обследовать каждое полотно в отдельности. «Ватто — поздняя копия, Тенирс — хотя и неплохая, но тоже копия». Экзамен я явно проваливал. «Юра, а ведь «Отдых на пути в Египет» написал либо Ван Дейк, либо кто-то из его мастерской. Живопись первоклассная». Позднее И. В. Линник убедительно докажет, что автором картины следует считать Т. Буйерманса, ученика Ван Дейка. Следующую картину атрибутировали как произведение испанского художника XVII века, единственную из подобных работ, находящихся в Советском Союзе... Окончательные итоги комиссии, занесенные в псковский протокол, сводились к тому, что большинство поступивших произведений представляет несомненную музейную ценность, а некоторые могут быть названы первоклассными, не имеющими себе аналогий. Они сразу поступили в наш институт, где готовятся к выставке западноевропейских картин из музеев России».

Обратите внимание — «из музеев России». Это существенно потому, что нередко провинциальные музеи оказываются неблагодарными и отдают свои работы на реставрацию «со скрипом»: вернут ли, не оставят ли у себя, в Москве? Так некогда тревожились в Солигаличе: вернется ли к ним Островский после своих знаменитых гастролей. Я был там, когда портреты возвратились и заняли место в теперь уже родной домашней экспозиции. Так же потом сетовали, что уйдет в Русский музей и московский музей изобразительных искусств коллекция архимандрита Алипия. Но, во-первых, без настойчивых хлопот Ямщикова она вообще не дошла бы до музеев, а во-вторых, Псковскому музею грех жаловаться: он получил много работ русских мастеров, а скоро получит и 15 картин западноевропейских художников. Работы после реставрации только «выходят в люди» в Москве, представляются там широкой публике и искусствоведам, а потом возвращаются и живут дома. Ну, а когда дело застопорится и Москва действительно начнет накладывать «лапу» (уж без этого она никак), то тогда Ямщиков сам встанет за бесправных провинциалов и добьется возврата.

Будни

Но, может быть, самая благодарная работа Ямщикова и не в возвращении позабытых имен, не в непременно безупречных каталогах, не в редких по вкусу афишах и приглашениях, не в отличных книгах, вернее, не во всем этом по отдельности, а именно в комплексе, в новизне подхода и особенно в том, сколько великих безымянных мастеров иконописи, сколько ошеломляющих образов показано зрителям разных городов, возвращено музеям и живет теперь ровной деятельной жизнью. Всесоюзный институт реставрации расчищает за год довольно много досок и понемногу группирует по столетиям и школам, отправляет в запасники, в экспозиции, иногда выставляет, но часто без необходимого сопроводительного материала. Работы не остаются без зрителей, но аудитория их все-таки недостаточно широка.

А о том, надо ли расширять эту аудиторию, есть два мнения. Первое — что именно так спокойно, потихоньку и надо показывать новые открытия, что все эти афиширования, реклама, типографские хождения недостойны такого благородно несуетного дела, как икона. Пусть посмотрит десяток людей, но те, кому это действительно нужно. Второе — напротив: пусть идут все, пусть узнают и порадуются. И это, при многих издержках, — гораздо существеннее. Ямщиков — сторонник вот этого второго взгляда. Но если на «тихих» выставках прибавляется зрителей и если эти выставки встречаются все с большим волнением и любовью — это заслуга выставок «громких». Это следствие широко известных выставок искусства древней Вологды, древней Карелии, древнего Пскова, выставки работ Е. В. Честнякова или удивительной выставки ярославского портрета, которая была так существенна для истории русской живописи и которая обогатила русскую провинциальную школу теперь уже прочными в истории искусства именами Д. М. Коренева, Н. Д. Мыльникова, И. В. Тарханова и П. Колендаса.

Это были выставки Ямщикова, хотя на афишах не стояло его имени. Это были лучшие дни и лучшие открытия. И это были экспозиции, которые не грех было показать миру и не покраснеть при этом за их устройство, за их печатную продукцию. Он неизменно чист и точен в публикациях, в альбомах и монографиях, потому что умеет ценить в книге единство, совершенство целого — от переплета до шрифта. Один тут, будь хоть семи пядей во лбу, ничего не добьешься, и потому кипит мастерская народом днем и вечером и делят с ним его большой труд неразлучные помощники, среди которых он в первую очередь называет С. Голушкина, А. Митюкову, Л. Черняховскую, Г. Ерхову, А. Быкова, О. Адамишину. Более полусотни изданий, отмеченных вниманием и добрыми словами больших мастеров реставрации и искусствознания, — это нешуточная работа. Может быть, в общей истории искусств это одна страница, но страница уже неотменимая. При этом особенно дорого то, что он благодарно восстанавливает — иногда по строке, по букве великое наследие предшественников.

Среди существенных работ этого свойства стоит назвать подготовленные им совместно с Г. Вздорновым книги избранных трудов Н. П. Сычева и А. И. Анисимова, печатавших свои работы еще в первые годы нашего века и за прямым ежедневным делом не успевших объединить созданное и обдуманное в систематические своды. Он идет их дорогой и достраивает общее здание. Сейчас готовится такой же том наследия Н. Г. Порфиридова. В настойчивости, с которой Ямщиков «пробивает» эти некогда не принятые беспамятным временем непростые издания, есть дорогая черта — он думает о будущем советской реставрации, о совершенствовании нашей школы, потому что наследие наше неисчерпаемо и ему надобны исследователи крепкой и умной закваски — без опыта великих стариков тут не обойдешься, а уж одолжаться по европейским странам, как мы это стали практиковать в последнее время, как-то обидно и не по-хозяйски.

Мне, признаться, не всегда близко то, что пишет Ямщиков и как он пишет. Его тексты подчас академически бесстрастны, в них властвует почтительность комментария, что, вероятно, достаточно для специалистов, но не утоляет вновь посвященных, к кому часто обращены издания. Но, может быть, иначе и не надо, потому что перед зрителем горят бережно напечатанные репродукции, оживляя текст мудрым многозначащим цветом старой русской живописи и возбуждая дремлющее над текстом воображение. Слово верит цвету и оглядывается на него — вместе они лучше формируют художественное чутье и историческую память.

Для этого стоит работать — в чем лучше всего можно было убедиться на большой, отнявшей у Ямщикова и его коллег пять лет подготовки, Всесоюзной выставке реставрации, показавшей в Москве и Ленинграде более тысячи работ самых разных жанров от недавних по времени вещей до экспонатов, датируемых третьим тысячелетием до нашей эры. Она и для самих устроителей была почти неожиданной — так чудно развернулось в ней все значение благодарного неоценимого труда реставраторов. «Впервые, — говорил потом Ямщиков, — я посмел подумать: какое счастье, что я выбрал эту профессию! Впервые увидел разом так много хороших людей, которые умеют сделать минувшее настоящим и будущим».

Савелий Васильевич Ямщиков — сам один из большого отряда этих добрых людей, чьими руками и терпением, проницательностью и профессиональной бережностью возвращается мир «вчера» для понимания сегодняшнего дня и завтрашних путей народной мысли.

Мы много говорили. Он хотел, чтобы я непременно побольше написал о друзьях, а у него — повторю — их по стране столько, что одно только поименное перечисление довело бы очерк до размеров телефонной книги хорошего районного города, и все они что-то сделали для его дела, и он благодарно ответил им помощью в их искусстве и деле. Я пробовал рассказать о них. Пробовал и его работу представить в частностях, в мелочах бесед, в терминологии и технологии. Ничего не пригодилось. Все осыпалось и казалось неважным. Душа искала обобщения, хоть первого огляда новой, смутно проступающей профессии художественного просветителя. Я не смог найти слов, сбиваясь на старое, потому что дело тут не в документах, не в каталогах, не в реестрах выставок, не в изданиях, и, может быть, даже и не в новой профессии, а в самом способе жизни этого жадно любящего свою работу, свой город, своих друзей человека, в самом желании его уверенно, без суеты объять необъятное. И это-то и есть главное, а определение — Бог с ним!

...Когда мимо нас по улице стремительно проходит знающий свою цель крепкий, остойчивый человек, мы на мгновение чувствуем, как лицо опахивает ветер.

Вот только этот порыв мне и хотелось остановить.

КУРБАТОВ Валентин Яковлевич родился в 1939 году в городе Салаван Ульяновской области. В 1972 г. закончил ВГИК по специальности киноведение. Автор книг «Миг и вечность» (1983 г.), «Михаил Пришвин» (1985 г.), предисловий к сборникам В. Распутина, Ю. Нагибина, В. Личутина. Наиболее известен читателям своими литературно-критическими публикациями в современной прессе. Член Союза писателей СССР с 1978 г. Живет в Пскове.

КНИГИ С. ЯМЩИКОВА

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЖИВОПИСЬ. НОВЫЕ ОТКРЫТИЯ. М.: «Сов. художник», 1965. 8-е издание. Л.: «Аврора», 1969.
СУЗДАЛЬ. — М.: «Планета», 1970.
НОВЫЕ ОТКРЫТИЯ МОСКОВСКИХ РЕСТАВРАТОРОВ. — М.: «Планета», 1971.
НОВГОРОД. — М.: «Планета». 1975.
РУССКИЙ ПОРТРЕТ XVIII—XIX ВЕКОВ В МУЗЕЯХ РСФСР. М.: — «Изобразительное искусство», 1976.
ПСКОВ. — Л.: «Аврора», 1978.
НОВЫЕ ОТКРЫТИЯ СОВЕТСКИХ РЕСТАВРАТОРОВ. — М.: «Сов. художник».
ЖИВОПИСЬ, ГРАФИКА, СКУЛЬПТУРА, ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО, 1973.
СОЛИГАЛИЧСКИЕ НАХОДКИ, 1976.
ЯПОНСКАЯ ГРАВЮРА, 1979.
ЕФИМ ЧЕСТНЯКОВ, 1985.
ДРЕВНИЙ НОВГОРОД. — М.: «Изобразительное искусство» 1983.
РУССКИЙ АКВАРЕЛЬНЫЙ И КАРАНДАШНЫЙ ПОРТРЕТ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА ИЗ МУЗЕЕВ РСФСР. — М.: «Изобразительное искусство», 1983.
ЯРОСЛАВСКИЕ ПОРТРЕТЫ XVIII—XIX ВЕКОВ. — М.: «Изобразительное искусство», 1984.
РЕСТАВРАЦИЯ МУЗЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В СССР. — М.: «Сов. художник», 1985.
СПАСЕННАЯ КРАСОТА. — М. «Просвещение», 1986.
ДРЕВНЯЯ ЖИВОПИСЬ КАРЕЛИИ. — Петрозаводск: «Карелия», 1986.
ДРЕВНИЙ ПСКОВ. — М.: «Изобразительное искусство», 1988.

ИСПОВЕДЬ

Дневники. Письма. Воспоминания.

О ШЕРГИНЕ

Шергин все еще автор не слишком-то известный так называемому широкому читателю. Во всяком случае, вдва ли не каждую из его публикаций считается необходимым сопроводить то ли вступительной статьей, то ли «напутиым словом», то ли биографическим послесловивм, в котором непремеино указывается, что родился Шергин в конце прошлого века в Архангельске, в семье, приадлежавшей к «морскому сословью», что с малых лет перенял он от родителей «горячую и беззаветную приверженность к самобытной русской поморской культуре, любовь к живому русскому слову», что с юношеских лет в разиых аудиториях он выступал с изустными рассказами, сказками, пел былины и старины.

Правда, со временем имя Шергина уже все меньше и меньше нуждается в рекомендациях, потому что книги его выходят постоянно, по его произведениям снимаются фильмы, о его творчестве пишутся диссертации, и люди, интересующиеся всерьвз литературой, уже не делают вопросительныв глаза при имени Шергина. Но при всем при этом читатель продолжает воспринимать Б. Шергина как писателя совершенио особого, самобытного, однако если делается попытка определить зту самобытность, то дело как-то само собой сводится к фольклору. И к тому, чтобы назвать Шергина замечательиым фольклористом, зиатоком поморского быта, культурных и художественных традиций, есть все основания. Он и занимался профессионально изучеиием и собираннем фольклора, юношей прошвл замечательную артистическую школу выдающейся сказительиицы Марии Дмитриевиы Кривополеновой, перед поэтическим дарованием которой преклонялся.

Тем не менее, главный «предмет» творчества Шергина, герой всех его новелл, сказок, старин, преданий, которые он с удивительным мастерством из устного, беседного облика перевел в «Писание», в письменный памятник, остается живой человек и «жизнь живая», построенная на многоввковых художественных, нравственных и бытовых традициях. Такой жизни Шергин был самый непосредственный участник, и творчество его, все былины и старины, новеллы и сказки — это самов подлинное свидетельство жизни русского человека, тех его духовиых творческих усилий, которыми стояла жизнь на Севере до «недавнего времени». Вот почему попытка свести значение Шергина к фольклору или даже к бытописательству мне представляется неверной. И эта ошибочность во многом происходит от нашей узкой книжной традиции сводить понятие о народной культуре именно к фольклору, то есть к самой малой части той культурной, художественной, нравственной и идеологической сферы, в которой многие века обитал русский человек, но которая наиболее доступна нашему современному пониманию в образе частушек, сказок, скоморошин, песен и хороводов. Свидетельства Шергина, все его «памяти», «воспоминания» и «записи» говорят о том, что это далеко не так, что народная культура и фольклор — разные и несоизмеримые вещи. И понять это в полной мере, в живом виде можно только через живого человека.

Но вот тут-то вся и трудность. Как только заходит разговор о народном искусстве, вообще о народном общинном (коллективном) жизнеустройстве, то понятие о личности — как стержне всего, в особенности же творчества и всей философии жизнеустройства — странным образом выпадает из наших интересов. То ли потому, что сама цель таких рассуждений состоит в том, чтобы приспособить себя и свое умонастроение к социальному моменту истории? То ли сами эти рассуждения носят традиционно отвлеченный характер, в которых тема народного оказывается только вспомогательиым, иллюстративным материалом? Так или иначе, но такой наш подход, представление о живом народном искусстве, которое проникало в различных формах и жанрах — от частушки до архитектуры храмов и сути культовых обрядов — всю жизнь человека, в некий бесхозный краеведческий музей.

Именно такая работа по превращению еще живого народного искусства в краеведческий скучный музей была успешно завершена в 30-е и 40-е годы. И немалую долю этой работы проделали — может быть, и иевольно — «сказители из народа». Удивительны память и поэтическое дарование таких артистов, какими были Марфа Крюкова, Петр Рябинин или Маремьяна Голубкова, свободно владевшие в устном исполнении десятками, сотнями былинных текстов, понятны их искренние усилия исполнить социальный заказ народной власти и на древний былинный мотив воспеть мудрость и славу новых вождей. Но художественная несостоятельность этого творчества объясняется, как мне думается, ие только несоответствием национально-патриотического пафоса эпических форм злободневному содержанию современности и правде о реальном положении человека в государстве, сколько, может быть, намерением использовать эпические жанры народной поэзии как иекое прикрытие истинного порядка вещей в государстве. Эпический жанр для этих маскарадных целей подходил как нельзя лучше: во-первых, сама грандиозность «постройки» и величавость «мотива»; во-вторых, и это, может быть, главное, эпическому жанру формально живой чвловек с его насущной заботой и конкретным страданием был не обязателен, как не нужен он был и утверждаемому на территории страны полицейскому порядку, разве только в качестве слушателя, да и то хорошо организованного. Кроме того, бытование этих жанров могло поддаваться контролю и регламентации — через единоличных сказителей-интерпретаторов, тогда как другие устные жанры «скоморошьего» толка, например, анекдот, песня, частушка, сказка желанному контролю со стороны администрации не подлежали, разве что «выселялись» наиболее смелые артисты в малонаселенные полярные края. Поэтому народное творчество в этих малых, не поддающихся полному контролю и организации жанрах, не подлежало и поощрению. А Б. Шергин как сказитель, как артист, как даже профессиональный писатель (с 1934 года он состоит в Союзе писателей) был привержен именно этим малым формам устного народного творчвства. Его творческое дыхание искало опоры не в отвлеченных сюжетах, но в живом слове и настроении современного человека, и даже старая скоморошья сказка в его интерпретации обретала не только современный стилистический облик, но даже и злободневный смысл, — ведь такой смысл возникает только там, где есть прямой повод читателю или слушателю сознательно соотнести вымысел с действительностью, а вовсе не предлог для единовременного массового веселья по поводу порядка в общепите.

«Как писал много о «божественностях», — замечает он в Дневнике, — а пришло гоненье, и все смело страхом, ни с чем остался, надолго убит, напуган». И тут же он пытается понять и объяснить это свое душевное состояние, находя по обычаю всю причину в себе: «Зиачит, те радованья самообольщением были, восхищением недарованного, хмелем. А пришел страх, хмел-ет и вылетел у рабьей души, у заячьего сердца...»

И в другой раз запишет: «При тени страха готов и от всего отказаться, малодушный, слабый человеченко...»

Как тяжело давалось Шергину всякое неискреннее слово, которое «век сей» страхом и гоненьями выдавливал из инакочувствующих!

Констнтуция — чаша заздравная
Вся Земля чашу в руки приняла,
Вся Земля поднвилася:
Почему чаша светла н сладка?!
— Наливал чашу Иосиф-свет,
Дополнял чашу Виссарионович...[*]

Но и другое сказать: за что бы и укорять было себя Шергину и всем безымянным творцам «сказов» своим вождям, если бы вожди эти не забыли об ответственности перед жизнью, если бы не обманывали народ, вслух клянясь в одном, а творя другое? Если бы Конституция воистину была «спокоем» для трудящихся, если была бы нерушимым Законом, на котором стоит справедливость в народном государстве! Если бы...

Но что здесь, в этом авторском сказе, индивидуального, идущего от личного поэтического усердия Шергина? Здесь напрокат — для представления — взяты наиболее ходовые атрибуты из арсенала устной народной поэзии, и все «творчество» заключается только в том, чтобы более-менее складно «составить слова». Официальная пропаганда и высокая профессиональная поэзия по праву не принимала всерьез этот псевдофольклор.

Шергин во всю жизнь не простил себе даже такого общепринятого скоморошества, двоедушия, двоемыслия, как он сам говорил, глубоко переживал этот свой грех. Но о том, чтобы отказаться от своих убеждений, от своей веры, от всего того, что приносило «веселье сердечное» — размышления о древней русской культуре, об истории, о традициях христианского миросозерцания, о Сергии Радонежском и его месте в становленин русского национального самосознания, наконец, воспоминания о своем детстве, о «жизни на родимом Севере», — отказаться от всего этого, чтобы освободить силы душевные для иных забот, более бы соответствовавших норме века сего, об этом и речи быть не могло. «Божественное», как об этом свидетельствует его Дневнник, возвышается сверкающей чистой вершиной над его земными страхами и «грехами».

Да и что это «божественное» в творчестве Шергина, в постоянных думах его? Это одухотворенный русский человек, крепко стоящий — несмотря ии на что! — на своей земле. И человек этот не условен, он не плод свободного романтического воображения, этот человек конкретен даже в самой дальней исторической перспективе прошлого, когда, например, ладьи новгородцев только еще осваивали и обживали «концы Студеного моря-океана», а вот одна ладья ушла дальше всех, и это была ладья Гостева сына Ивана — «София Новогородская». А в ближнем времени, в иашем, настоящем — это он сам, Борис Викторович Шергин, в своем Дневнике, в этих «письмах к кому-то».

Так создается целое, монолитное состояние жизни, в которой Отцово Знанье становится святым для сынов. Всякое нарушение заповеди — не только грех, который будет преследовать тебя и мучить твою совесть, но забвение заповеди, устава опасио и для твоей жизни — памвть искусства надежно сберегает и печальные примвры забвения Отцового Знанья о том, «как у моря жити, бога не гневити и людей не смешити». Вот почему слова известного художника И. С. Ефимова о Шергине, близко его знавшвго, — «последний подлинный голос старины беломорских мореходов, кровь от крови их», — не кажутся нарочитой метафорой.

Страх и гонения «века сего» изломали внешнюю жизнь человека, исказили весь ее облик, вынудили к ежедневной борьбе — впрочем, более похожей на отчаянную суету — за кусок хлеба, и тут уж неминуемы житейские щелчки, пинки да подзатыльники и, естественно, озлобление на весь белый свет. Но при всем при этом даже такой каждый день не превратился в слепое число, в тусклый буден, но сохранил свое имя, свое значение, свое место и, следовательно, свое жизнестроительное начало. «Светлый понеделок», «Великий четверг», «Сегодня день памяти родителя моего...», «Дни святые, время чудное...» — так у Шергина начинается каждый день в Дневнике, и каждый день как бы озаряется светом памяти, воспоминания, размышления о том, что «радует сердце и веселит ум», — и благодаря этой постоянной душевной работв человек нв поддается озлоблению и отчаянию и жизнь свою определяет не житейскими пинками, не тем, как «высокие пороги обивал», но только горними «настроениями» и «вдохновениями», — их ведь только раз испытать в полиую меру, и они способны определить всю твою судьбу, все привязанности, все твое духовное устроение. «Мои воспоминания, мои впечатления детства, меня на всю жизнь обогатили», — записывает Шергин в Дневнике. А что еще могло быть ему надежной опорой, осознающвму «век сей» как болезнь «рода человеческого», как извращение, как трагедию, — ведь все самостоятельно думающее и чувствующее угнетено страхом и гонениями, когда «старая мода уронена с комода»? Только и остается вот это «неотымаемое богатство» — память да жизнь «заодно с природой».

ЮРИЙ ГАЛКИН

[*] Из книги «У песенных рек». Гослитиздат, 1939.



БОРИС ШЕРГИН
Рисунок с натуры
Иллариона Голицына
1966 г.

БОРИС ШЕРГИН

ЖИЗНЬ ЖИВАЯ

из дневников 1942—1953

(1942)

Передают сонату Шумана для скрипки и фортепиано. Торжественность есть и светлость в музыке. А я стихиры начал тихонько выпевать Зосиме и Савватию Соловецким. И вот нисколько не вразрез и не оскорбителен аккомпанемент музыки гимну святым пустынникам... Благодатный свет соловецкой святыни разливается сегодня по морю Севера. Слышу чудные звуки музыки Шумана и вижу: это волны бегут, обгоняя одна другую. Это волны ряд за рядом набегают на серебряные пески соловецкие, это волны с гребнями, озлащенными уже осенним солнцем Севера, плывут к стенам святой обители и лобызают камни ея... Соната Шумана... Там, на Соловках поет ли сегодня славу хотя один голос человеческий? Но море поет стихиры, как пело века... Торжественно и властно звучит музыка... Как перезвоны колоколов, рояль. И скрипки, будто вдохновенное «Хвалите» молодых иноческих голосов... Вот я слышу: набегают мелкие волны, целуют камни основания стен соловецких и отхлынут обратно... А вот молчаливо подходят, как монахи в черных мантиях с белыми кудрями, ряды больших волн. Выравнявшись перед древними стенами и став во весь рост, валы враз творят земной поклон. Сегодня кудри припали к подножию стен. И вот встают в рост и, оправив темные, тьмозеленые мантии, уже пошли с другими вокруг острова как бы в торжественном крестном ходе.

Память святых соловецких угодников, почитание преподобных Зосимы и Савватия и Германа и прочих соловецких святых, любовь к ним... О, какое драгоценное наследие вручила мне моя милая родина, возлюбленный мой Север... Смала, в родной семье я привык слышать святые имена Зосимы и Савватия, привык видеть икону их, Соловецкий патерик любимейшая моя была книга, а литографированные картинки его первою моею были картинною галереею. И начал я копировать их, едва научась держать в руках карандаш. (Соловецкий патерик. С.-Петербург. 1873.) Патерик этот принадлежал тетеньке моей, отцовой сестре Глафире Васильевне. Когда они жили в доме Перова, что против собора, к соборной пристани, я еще был мал, но любил рисовать. Придя в гости ко крестному, я срисовывал и «вид» с циферблата старинных часов, и цветы из «Цветника-травника», и вот особенно мною любимые «виды» из помянутого патерика. Тетенька сама любила эту книгу, и я привык относиться к рисункам бережно. И теперь, спустя сорок лет, все цело...

Дорогие, любимые, заветные воспоминания... Город жил морем. Отец ходил в море. Он часто, по рейсу мурманского парохода заходил на Святые острова. Иной год мать и тетки ездили к преподобным. Маленьких нас ребят брали не всегда. Надо плыть 16 часов морем, в хорошую пору лета. На Преображенье, на эту августовскую память преподобным, многое множество туда «ходило» богомольцев. От Соловецкой пристани, что на Соломбальском острове (под Городом), отходили на празднество 3—4 августа соловецкие пароходы. Что сказку, вспоминаю эти пароходы... Золоченые кресты на высоких мачтах. Нос парохода, корма, основания мачт были украшены деревянной резьбой, ангелы, святые, цветы... все было раззолочено, расписано лазурью, киноварью, суриком, белилами. Команда на всех пароходах монастыря состояла из монахов. Только длинные волосы да скуфейки выдавали чин ловких матросов... Вот пароходу, до отказу заполненному богомольцами (приехавшие из средней России со страхом ждут морской качки), время отваливать. Пароход свистит, стучит машина, гул толпы... И вдруг раздается голос штурмана: «Господи Иисусе Христе, святый боже, помилуй нас!» Капитан, бородатый помор, в море состарившийся, обутый в нерпичьи бахилы, в кожаные штаны и морской бушлат (но на плечах у него коротенькая — как бы воротник — манатейка), нахлобучивает на глаза соловецкий клобук, крепче накручивает на руку четки (четки и у всей команды) и, по-соловецки истово знаменуясь крестом, творит поясные поклоны. Сразу умолкнув, молится и тысячная толпа на берегу и на палубе, и в машине, и в каютах: «Молитвами преподобных отец наших Зосимы и Савватия, Германа, Иринарха, Елизария Анзерского и прочих соловецких чудотворцев, Господи Иисусе Христе, святый боже, помилуй нас!» «Аминь, аминь», — гудит толпа. Начинается дивный в летнюю пору путь открытым морем... Ночь, белая, сияющая, небеса и море сияют тихими перламутровыми переливами. Грань воды и неба теряется в золотом свете. Струящие жемчужное сияние небо и море... как створы перламутровой необъятной раковины... Мало кто спит. Чтутся соловецким речитативным напевом жития преподобных. А тишина блаженная, умиленная... Запоют тихо трапарь: «Яко светильники явитеся всесветлые на отоке окияна-моря, преподобные...»

— Глядите-ко, — скажет кто-нибудь, — из воды кто вышел...

Это нерпа, за нею другая, третья, — помахивая головочкой, поглядывая умными глазками, неслышно перебирая руками-плавниками... А к утру, как видение, покажется как бы вознесенная над водами обитель. И, как спутники, окружают судно белые соловецкие чайки. Облаком сверкающим налетят они, сядут на борта, на мачты... И вот уж слышны звоны.

А какой захватывающий интерес был для меня в этих привезенных из Соловецка гостинцах. Все необыкновенным казалось. Малых нас не брали в море. Мы знали, что туда отец уходит, оттуда дуют сердитые ветры. На стене висела картина, привезенная отцом из Соловецка, писанная на тонкой столешнице: золотой корабль, серебряные паруса, черные валы моря в серебряной пене, белые чайки, снасти вырисованы пером... Море малых нас страшило. Но знали, что «там, за далью непогоды, есть блаженная страна». Камешки оттуда привезут. Круглый он, как мячик, обкатан морем... Годы лежит камешек, и всегда от него аромат моря. Еще привезут цветистых соловецких раковин. А потом хлеб соловецкий, ржаной. Каждому богомольцу, помимо того, что трои-четверы сутки монастырь всех поил, кормил бесплатно, выделялось на дорогу пять фунтов хлеба. Чудесно выпеченного, необыкновенно вкусного. Замечательны были большие соловецкие просфоры с изображениями. А как любили мы эмалевые образки, писанные на кипарисе иконы. И стопу таких нарядных, столь праздничных картин с видами монастыря, с изображениями святых. И еще ложки с рыбой в рукояти, или с благословляющей рукой. Затем чудесная соловецкая посуда глиняная. И всюду изображена чайка — герб соловецкий...

С Успенья не протянул руки к перу. В пусте дни проходят. Обо всем разоряюсь, о внешнем и о внутреннем. На себя и на людей в досаде. На братишку опрокинулся, сел ему на шею и когда слезу, не предвидится. Весь упал, весь ослаб. Толя[1] на троих он один добывает. И деньгу он добудь, и на деньгу ухитрись купить. И приготовь обед и ужин, и одень, и зашей, и... все он один. До ночи не присядет. А я, а моя функция в доме в том состоит, чтобы скандалить с нарушающими мое настроение, срывающими мое преуспеяние. К ночи придет братишко-то, еле приползет, за косяки держится, за стенку, сумчонка болтается, битончик гремит... Мы за еду, он и есть не может. Глазишки его чистые, светлые, серые... Сколько в них усталости смертельной. Я у окошечка дома с книжечкою сижу, в церковь схожу да покушаю, да вечером картинки разбираю. А он и в Союз[1], и в столовую, на кухню, и в очередь, то в одну, то в другую. Все удары, все обиды, все страхи, бесконечное околачивание порогов с просьбами, с прошениями, с ходатайствами, ежедневное барахтанье в море беспредельного блата, несмотря на усталось свою смертельную, не взирая на болезнь, все на себя брателко мой взял, измученный, голодный, больной. Каждый день — может, не может — с утра ему надлежит в битву бросаться. Денежки выколачивать, купить еду, купить подарки тем-то и тем-то, умздить, упросить, одарить, выстоять, выждать, из-за куска хлеба, из-за фунта картошки десять раз съездить по начальству, выпросить, доказать... Ино высшее даст записку на кило капусты, дак низшее «саботирует», этих надо смазать... Придет домой-то да и упадет... А я всегда в ярость, что настроение мирное нарушил, с своими буднями, злобами дня. Я тру в три горла братом добытое, добытое через пот кровавый (он добывает да он же и готовит), братом мне под нос подставленное. Да я же на любое самомалейшее проявление его усталости нечеловеческой, не взирая на то, что он болен тяжко (а лечиться разве он найдет минутку времени!?), я же любую минуту с яростью, с визгом, скандалом затеваю, что он нарушает мой покой и умонастроение. Отлаю последними, похабными словами, не стыдясь, не страшась, не стесняясь мальчика[2], и, хвостнув дверью, вылечу на улицу, чтоб, ежели дело к ночи, успокоить расходившееся сердце, умирить непонятую, неоцененную мою душу лицезрением звездного неба. Брат, истерзанный и людьми за день (каждый день людьми истерзанный), истерзанный заботами, тревогами (ведь все на нем, не из чего надо ему одному все создать), истерзанный болезнью и усталостью, да вдобавок мною обруганный, опозоренный, побитый, брат сидит хватаясь за голову, не дыша, не шевелясь, он уж и плакать, как бывало из-за меня или обо мне плакал, не может, а и отдыхать нельзя, надо мне и Мише ужин готовить... А я, наполнив дома стены матерной исступленной хульной бранью, облив грязью измученного работой на меня человека, двадцать лет с беспредельной нежностью заботящегося обо мне, как ни одна мать в мире не заботится о ребенке, я, избив и оскорбив его, втоптав в грязь, я, вышед на улицу, возвожу очи на небо, взираю на звезды, жду, «дондеже утишатся вся чувствия»... Жду, когда он пойдет искать меня. Ходит, зовет с тревогой. Найдет, просит простить. Я поизмываюсь да покуражусь еще, тогда прощу, а иное и дерусь, ударю его, раз железной палкой по ноге ударил...

Выбрался сегодня за заставу, за Калитники. И точно в другом «городе» побывал. Сколько неба, сколько света, воздуху сколько! Веселье какое-то дает природа: осень сейчас, и ветер резкий в тени, ветер с дерев лист сносит, лист кружится по ветру; чудно глядеть: вереницы листьев, точно живые, гонятся друг за другом по дороге, кружатся венком под ногами, будто дети играют. Трава пожелтела, поздний лист летит с дерев. Облака злато-серебряные к солнцу, с исподи дымного цвета по-осеннему. Но радует сердце эта воля, простор, купол небесный, который, выйдя за город, опять увидал я от края до края... Широкая дорога, тропинки, ряды дерев идут далеко-далеко и манят тебя итти. И все бы шел по этим коврам опавших листьев. Подойду да постою... Вон меж дерев старая церковь, покосившаяся ограда. И безлюдье, и тишина. Только птицы чиликают да ворона крячет на коньке заколоченной избушки...

Я на веку здесь не бывал, а все здесь мое, все мне здесь любо. Здесь все так, как мне надо. Тишина, безлюдье (даже удивишься!), много неба с злато-сизыми облаками, дорога, вдаль уходящая, лист осенний. Ты-то стоишь, душа, точно вот птичка эта, из груди вылетает, чирикнет да на той березке посидит, опять к небу взмоет. Ты-то стоишь, клюкой подпертый, а душа-то рада, что из стен городских, из асфальтов слепых вырвалась, душа-то твоя везде налетается, наиграется. Вон как любо небо-то блестит, облака-те сияют сквозь голые ветви дерев. Облака-те, что корабли плывут... Обо всем наигралась душа, и меж дерев, и над деревьями, и вокруг старой колоколенки, и над крышами далеких домиков. Ты-то недалеко на липовой ноге, на березовой клюке убежишь, а душа — ох, как она далеко слетала по дороженьке той... Транвай-то долго ползет долгими улицами до заставы, да от заставы до Таганки, от Таганки до Солянки. Деревянная Москва... Домишки двух-, одноэтажные, флигельки, дворы покрыты травой, деревья из-за заборов... Какая здесь была уютная, настоящая жизнь. Какой спокой. Как жизнь проходила по-человечески... Покосилось, похилилось все сейчас... Было быто, да было жито...

Будто в каком-то сне тоскливом, дни мои идут. И рад бы обрадоваться, и неоткуда радости ждать. Радость и мир надо заработать, надо других обрадовать, тогда и сам радость получишь. «Тако да просветится свет ваш пред человеки...» А я весь мгла, весь муть и туман по отношению близких моих. Простой мирской честности нет во мне, кругом ложью живу, свое бросаю, чужое хватаю, лгу людям, лгу и себе. Глубоко в тине барахтаюсь, а требую от других уважения...

И я сегодня день-от вился, как белка в колесе. Сейчас Толька понес Мишке в джаз хлебца, и я урываю писнуть. Завтра память преподобного Савватия... Преподобные отцы Сергий, Кирилл, Савватий и Зосима жили в XIV и в XV веках. Мы живем в иные времена. Но это не значит, что иное время — «иные песни». Нет! Правда, святость, красота вечны, неизменны. Мы проходим, а великие носители святости и красоты живы, как живы звезды. Вот это созвездие видишь ты, видели его и твои праотцы, будут видеть, если продлит Бог век мира сего, и правнуки твои... Благословенна эпоха, благословенны времена, в которые жили чудотворцы. Сергий, Кирилл, Савватий, Зосима... Они наша слава, они наша гордость, упование и утверждение. Я-то маленький, ничтожный, жалкий последыш против тех святых времен. Но я наследник оных благодатных эпох. Я хоть сзади, да в том же стаде...

Златые уста говорят: «Не можешь быть большой звездой, будь малой, только на том же церковном небе почивай...»

Вот так помнишься на мал-то час, очнешься, от будней бесконечных упразднишься на мал час, хотя и думаешь вот какое мне царство предлагается, ведь я царству наследник: сыном света, чадом божьим я могу быть, вместилищем радости нескончаемой, которую дает Христос любящим его. Я в церкви Христовой, и она во мне. А этим сокровищем обладание ни с каким богатством земным не сравнишь... Дак что же я скулю, как собака, что в мире сем обойден да не взыскан, не пожалован!..

Ехал на трамвае: Лубянка, Театральная... Толкотня, жмут, ругают. А над городом за площадью, за домами дальними туманная заря... И вот вижу берег родимого моря. День, тишина безглагольная, разве чайка пролетит и жалобно прокричит, рыба плеснет. Бледное северное небо. В беспредельных далях морских реют призрачные туманы. В тишине несказанной слышен еще легкий плеск волн о камни... Серые камни, белые пески, раковины... В этой тишине, в тихом сиянии северного дня вижу двух иноков. Это преподобный Савватий и преподобный Герман отправляются на Соловки. Тихи их голоса, спокойны их действия. Преподобный Савватий выше Германа, тонок и худощав... Инокам предстоит двухдневный путь в малом карбасике открытым морем. Но ничто не мо-

---

[1] Крог Анатолий Викторович — дальний родственник Б. В. Шергина по материнской линии. Отец А. В. Крога был родом норвежец. Как видим, сродство довольно условное, но еще с юности этих людей соединили духовные пристрастия, единодушие, единомыслие, и родство по этой линии оказалось несомненно братским. Шергин называл Анатолия Викторовича «названным братом», «всей моей жизни поводырем», и со времени переезда Шергина в Москву (1921), в «Город брата моего», они жили вместе, «одной семьей». По профессии А. В. Крог был актер, но в те годы, о которых идет речь в Дневниках Шергина (40-е, 50-е), А. В. Крог работал художественным руководителем драматического самодеятельного кружка на одном из заводов в Хотькове.

[1] Должно быть, Союз писателей, членом которого Б. Шергин состоял с начала его создания в 1934 г.

[2] Речь идет о Михаиле Барыкине, с юношеских лет жившем в семье Б. Шергина, который называл его племянником.

жет нарушить спокойствия Савватия... Начав подвиг иночества в Кирилловом монастыре, Савватий отошел на Валаам как место более пустынное, но сияние святости заставило и суровых иноков Валаама преклоняться перед Савватием. И вот он бежит в пустыни Белого моря, на берега в XV веке почти безлюдные. Здесь обретает он другого пустыннолюбца Германа. И вот садятся они в малый карбас, чтобы, переплыв морскую пучину, положить начало благословенному жительству иноческому на диком, необитаемом острове Соловецком.

В движениях инока Савватия, во взгляде его очей, в выражении его светлого, но изможденного постом лика столько величия неземного, что инок Герман, сам муж духовного разуменья, сразу всем сердцем приник к новому своему сопостнику и сомолитвеннику, почтив Савватия старшинством в великом смирении своем...

Карбасик наполовину вытащен на берег. Мачту поставят, выйдя в голомя, сейчас она с навернутым парусом лежит вместе с веслами и багром. Пестерь с сухарями, мешок с сушеной рыбой, бочонок воды — вот и вся кладь иноков-мореходцев.

— Господи, благослови путь...

— Аминь. Бог благословит, — тихо говорит Савватий...

Упираясь грудью в карбас, они толкают его в воду. Песок шуршит, плещет вода. Иноки входят в свое суденышко, отпихиваются веслами. Савватий садится в корму, правит. Герман ставит мачту. Но кругом много камней. Карбас надо вести осторожно... Иноки садятся за весла. Берег все дальше и дальше. В тишине только и слышен стук весел. Небо да вода. Чайки долго летят, провожая святых. Когда потянул ветер, и путники поставили парус, вода белыми кружевами забурлила под карбасом...

Эти вот дня два все мыслью туда, к святыне родины моей возвращался. Я маленький и скаредный, а сокровище родины моей, которому и я наследник, святыня Соловецкая велика, и неистощима, и пречудна, и лазурна, и пренебесна, и благоуханна. Я приник живоначальной памяти преподобного Савватия, и будто кто меня взял и поставил на брегe пресветлого Гандвика, родимого моего моря... И лики преподобных вижу, и слышу плеск волн, и стук весел, и крик чайки...

(1944)

Новое лето как бы думаю с новой тетрадки начать, но не искусственно ли таковое разселение. Жизнь ведь та же, мысли те же... Боже что-нибудь сдумать-то охота. Нельзя жить совсем без радости. А вправе ли я на себя радость-ту натаскивать? Чем тянемся... Конфетешки, ежели удастся выграбастать по паику, то и продадим, или «жиры». Паек-то не выдают. За две рубахи семь кило картофеля дали. В ночи брателко-то долго не спит, дума думу побивает. Я все с головной болью очнусь. Брателко порошков даст, горчичник на затылок, чаю крепкого. Я и ползаю опять из угла в угол. А он, может-не может, уидет... Как он трудится! И как я хочу ему в помощь быть! Валеночки у него на ножишках одни заплаты. Без подошв. Вечером прибежит в худых душах, а еще Мишку в Таганке надо проведать. Жалеет его... Я, куда сброжу, простужусь, лежу, — ходите вокруг меня. Неделю «болею», братец по докторам, по аптекам (две аптеки на Москву) гоняет до ночи в дождь и в мороз... Хвораю я с чувством, с толком, с расстановкой. Того ради не любит меня братец одного отпускать куда ле... Изноет весь: как я улицу перейду, как на трамвай сяду, как бы кто меня не сронил, да как бы кто не раздавил... Ночь-ту сидит мне рубашонки зашивает. Я и дома рваный не хожу, заплаточки и те выглажены. А уж о нем некому подумать. Тонок, что былиночка, худ, что щепиночка, бледен до прозрачности. Как приляжет на минуту и встать не может, тик у него нервный сделался. Но на его худеньких плечах все заботы, у него на плечах я — неразвезимая, гнилая колода. Врожденное чувство долга и ответственности какую-то дивную силу дает хрупкому, точно фарфоровому, существу моего бедного братишечки. И вот там, где я, как навозная куча, расползаюсь во все стороны, он как хрустальная рюмочка звенит на морозе. Истинно, брателко ты мой, хрустальная ты чаша милосердия...

Встал рано, напрял мало.

Главные две дымокурки в коридоре враз затопили, дак уж нам, соседям, чуть что не окнами пришлось на улицу выбрасываться... Из коридора набьется дым во все комнатенки. Ждем, когда его вытянет сенями на улицу. Тогда из комнатенок дым в тот же коридор выпущаем. Что было тепла запасено, накурено да надышано, все уйдет. Но надо не пропустить момент замуроваться снова. Ибо начнут топить других две старушки. Оглянешься, а уж опять вокруг тебя полотенцами дым, как на картине Мясоедова «Самосожжение». Но люди говорят: «У вас хоть дымком-то пахнет...» Где центральное отопление, там и эту зиму в шубах сидят. Сестренка на Самотеке коченеет. Брателко на Пречистенку ходил вчера занять до четверга (без гроша сидим)... А еще морозов не было. Сестренка говорит: «Слава богу, зима-то сиротская...»

Хотелось сон записать. Редко я хорошие сны вижу. Будто сидим в большой кухне (кабыть на родине это). Окно полое, — летний день. И по улице идет высокая пожилая женщина, одетая по-домашнему для обрядни. Повязана платочком, темное длинное платье, подпоясана фартуком. Худощавое, смугловатое, но румяное лицо. И необыкновенно прекрасные глаза, окруженные темными кругами. Глаза выразительные, вглубь себя смотрящие. Я все утро помнил впечатление этих глаз, и вспоминал речи Исаака Сирина о мучениках, упившихся вином божественным, чашею Христовою... Кто она? — спрашиваю я. «Как же вы не знаете, это наша Дунюшка...» Отозвались о женщине так, как говорят о блаженных, юродивых, святых. А я (во сне), ощутив какую-то радость, что-де вот с этой женщиной мне надо побеседовать. И я будто знаю, что она пошла к вечерне в собор (больше-де нет церквей). И опять будто недоумеваю: в церковь идучи она бы не так по-домашнему была одета... А сам будто скорехонько забежав домой (дом наш в Архангельске), поспешаю к вечерне, чтоб видеть эту женщину, святую, с прекрасным, на нем несколько резких морщин, лицом, загорелым, с очами, не видящими суеты вокруг. Поспешая к вечерне, помню, будто погода, как после первой грозы, парит еще, и листики березовые нежные... Да! Еще полупроснувшись, под сладким впечатленьем сна я уже знал, что вечерня, к которой шла та, прекрасная, была на День Святого Духа. Березки, помню, благоухали...

Со мной не раз бывало такое: в городе ли, в старом проулке, в деревне ли, застигнет тебя, обнимет некое сочетание света и теней, неба и камня, дождя и утра, перекрестка и тумана... и вдруг раскроются в тебе какие-то тайновидящие глаза. (Или это разум вдруг обострится?) И одним умом думаешь, — когда-то в детство-юности шел ты и видел ты схожее расположение дороги, света, тени, времени и места. А разум твой раскрывает тебе большее, т. е. то, что сейчас с тобою происходит, отнюдь не воспоминание, но что бывшее тогда и происходящее сейчас соединилось в одно настоящее. И, всегда в таких случаях, чтоб «вспомнить», когда я это видел, мне надобно шагнуть ВПЕРЕД (отнюдь не назад).

«Шедший сзади был впереди меня».

В такие минуты ясности и истинности сознания я не успевал обычно охватить и оформулировать того, что в такой отчетливости и несомненности уяснилось мне.

Продолжение следует.

КНИГИ Б. ШЕРГИНА

У АРХАНГЕЛЬСКОГО ГОРОДА, У КОРАБЕЛЬНОГО ПРИСТАНИЩА. 1924.
АРХАНГЕЛЬСКИЕ НОВЕЛЛЫ. М., Сов. писатель, 1936.
У ПЕСЕННЫХ РЕК. М., Госиздат, 1939.
ПОМОРЩИНА-КОРАБЕЛЬЩИНА. М., Сов. писатель, 1947.
ОКЕАН-МОРЕ РУССКОЕ. М., Мол. гвардия, 1957.
ЗАПЕЧАТЛЕННАЯ СЛАВА. М., Сов. писатель, 1967.
ПОМОРСКИЕ БЫЛИ И СКАЗАНИЯ. М., Дет. лит., 1971.
ИЗБРАННОЕ. М., Сов. Россия, 1977.
ПОЭТИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ. М., Сов. Россия, 1978.
ДРЕВНИЕ ПАМЯТИ. М., Худож. лит., 1989.

СЛОВО 1989. № 11. 1—88. Индекс 70110. 70 коп.



Идеи. Диалоги. Поиски.

книга и перестройка
банк полезных идей

В ОДНИХ РУКАХ



Из жизни великого комбинатора стр. 17

Любознательный, тем паче просвещенный современник не может не испытывать чувства удовлетворения от того, что политическую и общественную жизнь страны все больше зондируют разнообразные социологические исследования, некогда, вопреки мировой практике, применявшиеся на отечественной почве крайне редко, да и то старательно вымучивая заранее заданный сверху результат. Помнится, как помощник М. А. Суслова В. В. Воронцов на заседании редколлегии нашего журнала, членом которой он состоял, напрочь «зарезал» статью, посвященную исследованиям социологов в области читательских интересов. Отверг, сославшись на точку зрения шефа: «Михаил Андреевич слышать не может о социологии». Понять причину такого категорического неприятия легко — главный идеолог застойных времен не желал, чтобы объективная картина действительности портила его умозрительные выкладки.

Большинство советских людей, по мнению идеологов застоя, в охотку читали произведения классиков марксизма, труды деятелей партии и советского государства, затем Пушкина, Толстого, Чехова (но здесь иронизировать нет причин, хотя в то же время якобы никто не мечтал заполучить книги Платонова, Булгакова, Пастернака, а Набокова, Замятина, Шаламова, Солженицына, упаси боже!). И, подводили итог тогдашние социологи с оглядкой на степенное начальство, уж очень любят читатели «литературных генералов». Да и то сказать, как минешь, если их увесистые повествования печатались миллионными тиражами, самоуверенно оттеснив иных прочих, малотиражных...

Нет нужды доказывать, что отражение читательских интересов стало теперь другим. Книголюбы и социологи без опаски называют любого автора, будь то представитель русского зарубежья или писатель, репрессированный в годы сталинизма, «оттепели» или застоя. Можно безбоязненно говорить и о притягательной духовной силе русских религиозных философов, здравом смысле отечественных экономистов прошлого. Все это так. Но нельзя при этом не сожалеть, что если даже советская социология доберется по своей технической оснащенности и разветвленности, по безупречности методики и максимуму обратной связи с издательствами до мирового уровня, то все равно изучение читательского спроса и выработка на его основе даже глобальных решений не будут оптимальными. Ибо что там в каждой союзной республике — в каждой области, в любом сельском районе веками создавались свой «микроклимат» культуры, свой уклад жизни, даже свое мировоззрение, есть своя цена слову сказанному и слову написанному. Наконец, везде прочно живут свои «местнические» интересы. И не надо бояться этого чуть ли не ругательного в иных глазах определения. То, что прежде считалось недопустимым эгоизмом, ныне видится естественным и благотворным радением за благополучие родного угла, который нередко так запущен...

Как быть, например, с двумя районами Калужской области, Кировским и Людиновским, где продажа книг на селе вообще не ведется? В целом по Российской Федерации в каждом втором селе с числом жителей более двух тысяч нет стационарной книжной торговли. Какая уж тут социология чтения! Впору книжными лишенцами назвать жителей этих «весей».

Так что принимая в расчет явь, не пора ли отрешиться от столь любезной в недалеком прошлом всеохватности «громадья»? Может быть, разумнее согласиться, что проблема удовлетворения духовных запросов народа — не проблема, сходная с насыщением рынка колбасой, которая в силу неустро-

енности нашего быта стала чуть ли не мерой благополучия Отечества. Не потерять из поля зрения ни одного самобытного автора, ни одного читателя — вот главное направление в издательской работе.

Автору этих строк приходилось бывать на множестве читательских конференций, знакомиться с выкладками социологов. Но каждый раз не удавалось получить исчерпывающего ответа на вопрос: чего же читателю надо. Его просьбы к издателям лежат в огромном диапазоне — от корифеев словесности до малоизвестных имен, в том числе местных писателей. И здесь, как мне кажется, лежит одна из серьезных проблем культурной политики. Ведь очевидно, что крупные, особенно центральные издательства, работают отнюдь не на небольшие группы читателей, а на массы неких средних, которым положено дать «что-нибудь» из множества уже признанных авторов. Ну а как же быть тем из них, безвестным, которых с неким уничижительным оттенком интонации называют местными? Хотя, вдумаемся, — в понятии этом ничего обидного быть не должно, так как речь все же идет о знаменитости, пусть и местной, бытописателе родного края, часто пишущем на особенном, местном языке-говоре той местности, где живет, тем его оберегая от забвения.

Но как же сложно местному писателю пробиться не только в планы центральных издательств! Ведь и свои — областные или зональные — в погоне за прибылью печатают и печатают знаменитостей, не чурающихся и гонораров периферии. А взять историю любого края. О ней и писать уже заново не требуется — давно, часто во времена отдаленные, все рассказано, с подробностями и любовью, как это умели делать в старину. И что же? Несмотря на все более пробуждающийся интерес нашего народа к своим истокам, эти книги появляются настолько редко, что выход каждой из них становится событием, и не только для краеведов.

Где же выход? Не в решительной ли децентрализации издательского дела? Не в «днепропетровском» ли «варианте»? Не дает ли он надежду, хотя и робкую, на качественную перестройку организационной и экономической структуры всего комплекса, занятого выпуском книг...

Все началось с принципов, которые для себя установили в «Днепркниге» за время перестройки. Директор Днепропетровского облкниготорга Галина Федоровна Губанова кратко их сформулировала так: никакого иждивенчества, никакого ожидания, что кто-то сверху подаст «манную кашу», сам по себе создаст изобилие. И вот там вознамерились собственными силами выпустить книгу.

О чем же речь? По единогласному решению трудовых коллективов Объединения книжной торговли «Днепркнига», Днепропетровской бумажной фабрики и областной книжной типографии создан необычный для нас деловой союз — торгово-издательская корпорация. Конечно же, сразу встал вопрос о бумаге. Первые тридцать тонн были добыты в результате хитроумной комбинации (отдадим должное ее создателям). Начало положил случай — у местного «Вторсырья» не оказалось книг, чтобы сдатчики макулатуры смогли использовать полученные талоны. А они нетерпеливо требовали: давайте книги! «Днепркнига» тогда предлагает «Вторсырью»: достаньте нам бумагу и мы вам поможем рассчитаться со сдатчиками макулатуры. «Вторсырье» откликнулось — дало... тряпье. Ничего, и это сгодится, передали его бумажной фабрике, которая взамен выделила те самые тридцать тонн бумаги. Как раз в это время местное издательство «Проминь» печатало «Безобразную герцогиню» Л. Фейхтвангера. Книготорг одалживает сорок тысяч экземпляров и тем самым, в свою очередь, выручает «Вторсырье» — через книжные магазины книга уходит к сдатчикам макулатуры. Затем на полученных от фабрики тридцати тоннах бумаги тот же «Проминь» допечатывает уже шестьдесят тысяч экземпляров «Безобразной герцогини». Сорок тысяч возвращается издательству, двадцать тысяч реализует книготорг. Десять процентов от стоимости этих самых двадцати тысяч передается фабрике (не считая платы за бумагу).

Так и вертится вопрос: а кто разрешил? Тот, кому следует, — Госкомпечать УССР, Днепропетровский облисполком, объединение «Укркнига»... Но подумать только (вот она, бюрократическая сила во всей своей внушительности), на «Положении о книжной корпорации» красуются одиннадцать виз-подписей и столько же круглых печатей. Конечно, надо очень захотеть, чтобы не раз обойти столько кабинетов, хотя немаловажным, видимо, оказалось то, что многого Г. Ф. Губанова не просила — только позволить издательскую деятельность, ка бумагу, картон, ледерин выбегаем сами».

И сразу начала «выбегать». Обратилась к промышленным предприятиям города. Те дали несколько тонн бумаги. На ней напечатали роман В. Пикуля «Невидимки». Его получили работники предприятий-«вкладчиков» бумаги. И одновременно книга поступила во все 111 книжных магазинов области.

Торговая скидка, полученная книготоргом от продажи «Невидимок», хотя и по договорной цене, была невелика. Тогда там задумались: а что если наладить регулярную издательскую деятельность, сделав ее источником поступления средств для удовлетворения социальных и других нужд коллектива. Даже посмотрели на открывающуюся возможность шире — новое дело поможет немного уменьшить зависимость от поставок литературы из Москвы, Киева, других мест, позволит дать читателям хотя бы некоторые из желанных книг. Но осуществление этого замысла требовало иного подхода. И тогда появилась на свет идея корпорации — межотраслевого территориального объединения. Его члены, перечисленные выше, сохраняя полную экономическую и административную независимость, согласились на договорной основе сложить свои возможности для выпуска книг.

Бумажная фабрика дает корпорации бумагу — ту, что произведена сверх госзаказа. Типография включается в работу также после выпуска запланированной продукции. В свою очередь, книготорг организует подготовку книг к изданию и реализует их сверх плана. То есть все члены корпорации взялись за выполнение сверхзадачи.

Что такое для бумажной фабрики бумага? Просто чистая бумага — скатанная в рулоны продукция. И цена ей соответственная. Другое дело книги, отпечатанные на этой бумаге. Цена им иная.

— Между тем финансовое положение фабрики тяжелое, — рассказывает ее главный инженер Владимир Васильевич Верещак, — поэтому предложение стать членами корпорации показалось нам заманчивым. Мы и раньше отпускали немало бумаги на сторону, однако особой прибыли не имели. А ведь нам требуется солидный фонд развития — давным-давно назрело перевооружение производства, нужны деньги и на соцкультбыт, ощущается острая нехватка жилья. Не решим эти проблемы в ближайшее время — потеряем последних работников. Инженерно-технические еще держатся, а вот рабочие уходят. Надо бы повысить зарплату, выйти на внешний рынок... Но как? Мы будем не конкурентоспособны до тех пор, пока не заменим оборудование. Ряд народных депутатов СССР предлагает, чтобы какую-то часть продукции предприятия могли оставлять для своих нужд. Это справедливо. Разрешат такое — и мы могли бы распоряжаться по своему усмотрению десятой частью произведенной бумаги, то есть тремя тысячами тонн, что немало, если учесть цену за тонну целлюлозы на международном рынке — тысяча долларов. Когда убедимся окончательно, что быть членом корпорации выгодно, можем поставить вопрос о выходе из нашего производственного объединения, даже взять фабрику в аренду. Как говорится, заводы — рабочим.

Улучшить за счет корпорации свое материальное благосостояние надеются и полиграфисты. Потому что члены ее договорились какую-то часть выпущенных совместно книг стараться продать зарубежным фирмам. Вырученную твердую валюту можно будет употребить в первую очередь на модернизацию «технического узла» — типографии и бумажной фабрики.

— Наша полиграфия в части выпуска книг убыточна, — рассуждает директор Днепропетровской областной типографии Николай Григорьевич Стасюк. — Ведь прейскурант на типографские работы построен так, что оставляют нам всего восемь процентов от стоимости тиража книги. Мы живем пока без дотаций, но за счет чего? Недодаем соцкультбыту, печатаем торговые этикетки. Другое дело корпорация — здесь можно иметь весомый доход, свободно развиваться. Это и есть конкретная экономика.

Как видим, руководители «технического узла» корпорации имеют виды и на валюту. Пока трудно сказать, каково будет ее поступление, тем не менее кое-какие факты обнадеживают. Так, хорошо известно, что в США, Канаде и Австралии, где обосновалось немало выходцев с Украины, сегодня особенно возрос интерес к украинской культуре, украинскому языку, украинской литературе. Вот и задумали в «Днепркниге» издать для начала сказки, одну русскую — «Колобок» и три украинские, причем одновременно на трех языках — русском, украинском и английском. Макеты этих книжек вместе с красочными иллюстрациями были показаны в прошлом году на очередной Московской международной книжной ярмарке и вызвали обнадеживающий интерес у партнеров.

Может возникнуть вопрос: ну а кто же будет выполнять редакторскую работу, держать корректуру, заниматься техническим редактированием? Ведь книготорг — это все же книготорг, и штаты ему расписаны. Не исключено, что со временем появится возможность изменить организационную структуру книготорга-издателя. А пока приходится каждый раз договариваться с работниками «Проминя» о подряде...

Итак, корпорация намеревается получать немалый доход, который не может не манить истинного предпринимателя. И все же экономическая сторона всей затеи — это проблема книготорга, фабрики и типографии. А ведь читателей интересуют книги, а не способ их выпуска. Как и кем будут определятся авторы и тематика изданий? Не окажется ли, что интересы внеплановой прибыли обретут в делах корпорации «статус наибольшего благоприятствования»? И не пойдет ли она по пути, на который уже поворачивают иные издательства, — не оттеснят ли заботы о прибыли радение о нравственных и культурных критериях своей деятельности?

Думается, что одно из главных направлений работы корпорации указывает книголюб, профессор Днепропетровского металлургического института Анатолий Кузмич Фоменко:

— Ее особенностью должно быть внимание к краеведческой литературе о нашем крае, которой до революции, к стыду нашему, выходило больше, чем выходит сейчас. Чего стоит один трехтомник украинского писателя и ученого Д. И. Яворницкого «История запорожских казаков». В моей библиотеке есть другой примечательный труд этого автора — «Запорожцы в остатках старины и преданиях народа» с собственноручными дополнениями и пометками Яворницкого. Почему бы ассоциации не взяться за выпуск подобных изданий?

Никто не станет оспаривать целесообразность этого предложения. Но представим себе весь массив отечественной исторической и краеведческой литературы — ее выбор огромен. Достаточно заглянуть в каталоги крупных библиотек или же окинуть взором полки букинистических магазинов. Разнообразие тем, сюжетов, иллюстраций, богатство живого русского языка поражает. Вот бы все переиздать! Однако будем реалистами, сообразуем наши желания с возможностями советского печатного станка. Значит особо ответственной становится в этом свете задача корпорации. Она намерена советоваться о своих планах на страницах местной печати с книголюбами. И это правильный путь. Тем не менее позволю себе высказать мысль, которая не всем придется по нутру.

Не слишком ли мы в последнее время полагаемся на, признаемся, стихийно и кое-как воспитанный вкус читателей? Что-то не очень заметно, чтобы в составлении издательских программ широко участвовали ученые, педагоги, психологи. И почему-то напрочь забыты, наконец, высоконравственные принципы руководства чтением, сформированные выдающимися русскими просветителями. Достаточно назвать имена К. Д. Ушинского и Н. А. Рубакина. Чуть ли не отринув выработанную за века отечественную систему воспитания книжным словом, руководители нашего книжного дела обратили свой взор преимущественно к читателям. И что же получилось? Во многом издательские программы последнего времени составлялись на основании весьма поверхностных опросов. Но задумывался ли кто-нибудь, насколько эти программы свободны от стихийности и вкусовщины, которые при нашем в целом невысоком качестве гуманитарного образования вынуждают тратить ресурсы на выпуск бездуховных, скудных знанием книг.

Днепропетровская ли, да и иная другая подобная корпорация, появления которой следует ожидать, не должны находиться вне приобретающего все большую силу потока очищения и обогащения отечественной культуры.

— Это же подвижническое дело, традиционное для России! — восклицает Г. Ф. Губанова в порыве понятного воодушевления удачно начатым делом. — Мы только возвращаем из забвения отечественную практику. Еще Иван Дмитриевич Сытин, наряду с издательством, имел типографию и книжные магазины. Все было собрано в одних руках. Здравый смысл подсказывает, что, хотя и с опозданием, пора возродить у нас сытинские принципы организации книжного дела. Но чтобы вырасти в книгоиздателей, потребуется изучить возможности полиграфии, процессы подготовки книги к печати, даже бумажное производство. Ведь как-никак речь идет о деловом партнерстве, которое предполагает равную ответственность, значит равную квалификацию. Только бы получить дальнейшую поддержку, только бы устоять. Постараемся доказать, что корпорация не какое-то новое паразитическое образование на теле государства...

В решении коллегии Госкомпечати СССР записано: до конца 1990 года обобщить опыт работы корпорации и внести на коллегию предложения о распространении данного опыта в других регионах. Посмотрим, кто решится позаимствовать из уже наработанного в Днепропетровске. Трудно еще говорить об успехе в деятельности корпорации. Только известно, что подумывают там и о создании акционерного общества, даже приценяются к бумажной фабрике («Не очень дорого, — считает Г. Ф. Губанова, — полтора миллиона, можно купить»). Недавно Галина Федоровна «вышла» на Усть-Илимский целлюлозно-бумажный комбинат — ведутся переговоры о поставке Днепропетровской бумажной фабрике целлюлозы. Так что корпорация вещь, конечно, заманчивая, но энергии, даже фантазии требующая завидных.

Ю. ЧЕРНЕЛЕВСКИЙ,
обозреватель «Слова»

●

СКОЛЬКО КНИГ В СЕМЕЙНОЙ БИБЛИОТЕКЕ?

письмо в номер

В условиях тотального книжного дефицита вряд ли возможно дать точный ответ на вопрос, сколько требуется книг каждой семье для удовлетворения ее потребности в чтении. Однако без этого нельзя определять реальные перспективы развития книгоиздания и бумажной промышленности. Именно поэтому мы и обратились к возможностям социологии, проведя выборочное обследование личных библиотек более двух тысяч ленинградских книголюбов в возрасте от 25 до 60 лет — инженерно-технических и научных работников, преподавателей и библиотекарей.

Их ответы показали, что средний размер семейной библиотеки составляет 670 томов, причем немногим более ста из них приходится на специальную литературу. Но книголюбы считают, что в современных условиях лишь личная библиотека из приблизительно 1100 томов будет соответствовать потребностям семьи (при этом доля специальной литературы — около 17 процентов — практически не изменится).

К сожалению, следует отметить, что размер личной библиотеки опрошенных нами ленинградцев резко отличается от аналогичного показателя в целом по стране. У них приходится 210 томов на человека, а в среднем по стране — 95 томов. Тем не менее при столь значительном отличии ленинградцы хотели бы увеличить размеры своих собраний не менее чем в 1,6 раза. Вероятно, рост может быть и большим, тем более, если учесть периодическое исключение из личных библиотек устаревшей литературы — по нашим расчетам это примерно 4,5—5 процентов. Хотя, видимо, не все спешат от нее избавиться — доля устаревшей литературы в личных библиотеках составляет более 7 процентов.

Разумеется, потребность в книгах для семейной библиотеки во многом зависит от наличия у ее владельца свободного времени и целевой ориентации на его использование. Наш опрос показал, что в «иерархии» предпочтений использования свободного времени первое место занимает чтение книг — об этом заявили более половины опрошенных. Пятая часть книголюбов предпочитает другие занятия: просмотр телепередач (15 процентов опрошенных), занятие спортом, «просмотр видео» и «общение с персональным компьютером».

Но надо сказать, что полученные результаты достаточно условны — они выражают только общую тенденцию в использовании свободного времени. Нельзя решительно утверждать, что более половины опрошенных книголюбов в свободное время занимаются чтением, а шестая часть — смотрит телевизор. Однако определенный вывод сделать можно. Несмотря на то, что почти в каждой семье имеется телевизор, угрозы телевидения семейному чтению не существует. Так же как и угрозы со стороны видео и компьютеров.

Другое дело, что в будущем информатизация общества может оказать влияние на рост размеров личных библиотек. 16 процентов опрошенных заявили, что они не будут в будущем увеличивать своей библиотеки, хотя только 10 процентов ответили, что в прошлом ее и не увеличивали. Вероятно, существует какой-то предел роста размера личной библиотеки, по достижении которого наступает качественно иной этап в ее формировании — от преимущественного роста к преимущественному обновлению.

По нашим расчетам, предельный размер личной библиотеки среднестатистической семьи в нашей стране должен составлять 530—540 томов на человека. Так что до полного насыщения потребностей населения в книгах еще очень и очень далеко.

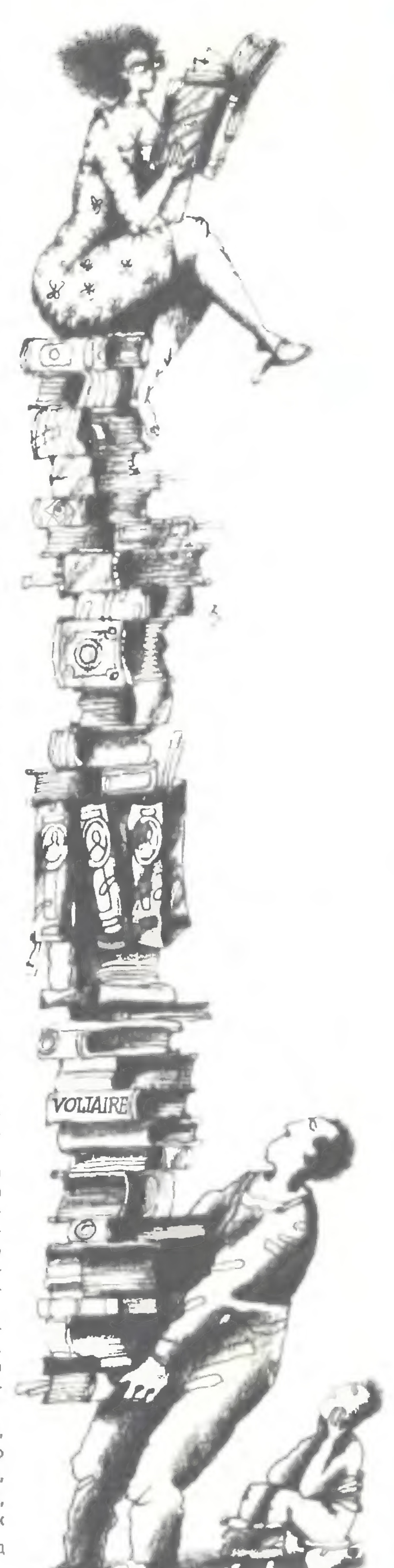
Одна из основных проблем личных библиотек — нехватка места, решить которую можно было бы, в частности, заменой «бумажных» книг на «электронные» (микрофиши, видеодиски и т. п.). Однако книголюбы отрицательно относятся к такой перспективе, особенно в отношении произведений художественной литературы. Только каждый третий книголюб согласен заменить часть своей специальной литературы небумажными носителями информации.

Показательно, что средний размер собраний, чьи владельцы согласны на «электронные» книги, составляет примерно 230 томов на каждого члена семьи. Когда количество книг, находящихся в личном пользовании населения, в целом по стране достигнет этой величины, тогда, вероятно, и появятся условия для массового перевода личных библиотек на небумажную основу (если, конечно, не учитывать улучшение жилищных условий в будущем). А пока в целом возможен перевод на небумажные носители максимум 4—5 процентов книг, находящихся в личных библиотеках.

Как видно из наших данных, книжный рынок имеет и сейчас и в перспективе огромную емкость. Его насыщение экономически очень выгодно. Так что не следует опасаться, что в будущем процесс информатизации общества или какие-то иные причины сведут на нет преимущества и возможности печатного слова.

В. СОМИНСКИЙ,
профессор, доктор
экономических наук,
Г. КОВАЛЕНКО,
кандидат экономических наук

ЛЕНИНГРАД



Слово 1989, № 11. 1—88. Индекс 70110. 90 коп.

СЕРГЕЙ СЕМАНОВ

ИЗ ЖИЗНИ ВЕЛИКОГО КОМБИНАТОРА



парадоксальные заметки

Вот уже более полувека пользуются громадным и не спадающим успехом романы И. Ильфа и Е. Петрова «Золотой теленок» и «Двенадцать стульев». При жизни авторов, да и позже, не раз появлялись в нашей литературе произведения, имевшие поначалу широчайший читательский успех, и что же? Давно и навсегда видимо, выветрились из круга чтения «Луна с левой стороны», «Дневник Кости Рябцева» и многие другие апельсины и бочкотары из Марокко. А вот «Стулья» и «Теленок» давно уже изданы миллионными тиражами, но их по-прежнему ненасытно поглощает книжный рынок.

Случайностей в явлениях такого рода не бывает. Только истинно даровитые произведения выдерживают подобное испытание. Читательский успех обоих романов несомненен и прочен — это факт бесспорный.

Нельзя не напомнить, что судьба этих романов оказалась извилистой. Громадный читательский успех в 30-х годах, перевод чуть ли не на все языки мира, экранизации и прочее, однако не сопровождались высокой оценкой романов тогдашней критикой. В одной из первых рецензии на «Двенадцать стульев» влиятельный тогда журнал «На литературном посту» писал о слабости композиции, заданности концовки, отсутствии «положительного противовеса», а затем вскользь отмечал достоинства: «...самые сильные страницы «Двенадцати стульев» относятся к характеристике московской газетной редакции, халтурщика-поэта..., превосходна Эллочка Щукина..., забавен Изнуренков...» (1929, № 18, с. 69). Подобные отзывы были довольно типичны для своего времени. Затем стало еще хуже. В первое послевоенное десятилетие их творчество замалчивалось, а порой и осуждалось — по обычаям той поры, в грубой и бездоказательной форме. Оба романа некоторое время не переиздавались. Новое широкое их издание предпринято было в знаменательное время: книга сдавалась в производство в октябре 1955 года, а вышла в свет в январе 1956 года, даты говорят сами за себя. Издание сопровождалось более чем благожелательным предисловием К. Симонова.

Во второй половине 50-х и первой половине 60-х популярность романов сделалась всеобъемлющей и безграничной. Словечки, выражения, всякого рода «хохмы» оттуда широко укоренились среди тогдашней молодой интеллигенции, студенчества, старшеклассников. Сыпать цитатами из Остапа Бендера считалось шиком. Но не только разговорный язык интеллигенции (и не только молодой) был заполнен образами Ильфа и Петрова, книгам их тогда придавалось некое общественное значение.

Ну, а критика? Достаточно ли объяснила она успех романов Ильфа и Петрова и растолковала читателям их образы и смысл? Однозначный ответ здесь дать было бы затруднительно. Нельзя, разумеется, сказать, что работ о творчестве Ильфа и Петрова нет; есть, и весьма основательные. Появились они, что характерно, тоже во время общественного пика популярности романов — в начале 60-х: очень хорошо составленный сборник воспоминаний об Ильфе и Петрове, ряд книг об их творчестве. Не место здесь разбирать подробно эти работы, ограничимся их общей положительной оценкой. Однако вот что интересно: за два последующих десятилетия о творчестве Ильфа и Петрова не появилось более ни одного сколько-нибудь обстоятельного исследования — и это при всех бесчисленных переизданиях, экранизациях, театральных постановках, после телевизионных сериалов и программы «Вокруг смеха»! Почему?

Как уже отмечалось исследователями, романы Ильфа и Петрова наполнены острыми, злободневными репортажами, точными зарисовками примет своего времени. Время это указано в самих произведениях вполне определенно: 1927—1931 годы. Эти пять лет — очень краткий срок в обыденном течении жизни — равнялись целой эпохе. Что это была за эпоха, ее перестройки, победы и трагедии — все это теперь достаточно известно и понятно. И вот, оглядываясь назад с расстояния полувека, можно сказать, что жизнь своей эпохи — в тех ее чертах, которые авторы взялись изображать, Ильф и Петров отразили в общем и целом реалистически и достоверно. Разумеется, можно отыскать там кое-какие натяжки и умолчания, особенно в «Золотом теленке», но... многие ли из их современников писали точнее?..

Ничего не будет обидного для Ильфа и Петрова, если признать, что ту же эпоху с несомненно большей глубиной изобразили М. Булгаков, Л. Леонов, П. Романов, А. Платонов, М. Шолохов, Е. Замятин, А. Толстой, а также ряд других художников слова. Почти у всех из перечисленных писателей немало смешных сцен и веселых героев, есть и произведения чисто комического жанра. Да, уморительно смешны некоторые сцены «Мастера и Маргариты» или похождения деда Щукаря в первой части «Поднятой целины». Вот Булгаков: изобразил же он тюрьму в виде концертного представления — очень смешно. Но чтобы целиком два романа из тогдашней жизни написать в юмористическом ключе, это... Это по любой мерке все же что-то очень необычное!

«Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» действительно выразили свою эпоху в веселой, причем непринужденно веселой форме. Авторы искренне восторгаются происходящим, оставаясь точными бытописателями времени, столь сложного для многих. Авторский оптимизм так непринужден, что не может не подкупать, особенно в сравнении с ходульным и неприкрыто лживым бодрячеством некоторых своих коллег. Эта вот неподдельная искренность во многом привлекала и привлекает читателей. «Ильф и Петров очень веселые люди», — отмечал А. В. Луначарский, имея на то все основания и как современник, и как читатель.

Еще характерно: Ильф и Петров не притворялись, не насиловали себя, не вели двойной жизни (здесь и далее речь идет только лишь о времени работы над романами и их публикацией). Они искренне признавали Советскую власть и в общем и целом — партийную линию на каждом ее тогдашнем этапе. Об этом сохранилось немало их собственных высказываний, есть и достоверные свидетельства друзей. Никаких расхождений тут не найти.

Е. Петров писал уже после кончины соавтора: «Для нас, беспартийных, не было выбора — с партией или без. Мы всегда шли с ней». Слова эти очень любят цитировать авторы произведений об их творчестве. Конечно, писалось это в пору, когда о всяком вольнодумстве в печати помышлять не приходилось, поэтому сказанное носит, быть может, несколько нарочитый характер. Но есть очень серьезное подтверждение, идущее непосредственно от творчества Ильфа и Петрова: они безоговорочно восторгались индустриализацией и коллективизацией, разоблачали вредителей и кулаков, презирали свергнутые классы и их культуру, охотно поносили «проклятое прошлое» России.

Соратник Ильфа и Петрова по «Гудку» М. Штих рассказал, как их тогдашний коллега М. Булгаков стал подписывать свои фельетоны псевдонимом весьма пикантным: «Г. П. Ухов». Это заметили руководители газеты Гутнер и Потоцкий и приструнили шутника; от имени всех своих прежних коллег М. Штих свидетельствует: «Мы были обескуражены, а Булгаков получил по заслугам...» И речь шла вовсе не о боязни грозного ГПУ, — нет — друзья наших сатириков обескуражились вполне искренно, такой псевдоним резал ухо.

Популярный писатель тридцатых годов Лев Славин, близко знавший и любивший Ильфа и Петрова, рассказал много лет спустя: «Уже будучи известным писателем, Ильф подарил свою книгу одному полюбившемуся ему офицеру войск МГБ и сделал при этом надпись: «Майору государственной безопасности от сержанта изящной словесности». Правда, у мемуариста есть здесь неточности, вызванные перепадом времени (слово «офицер» в те годы не употреблялось, а органы МГБ именовались НКВД), но это мелочи, главное в другом: пожилой и многоопытный мемуарист не увидел ничего особенного в дружбе «сержанта» с «майором» в те самые 30-е годы. В ней, судя по всему, и не было ничего особенного для людей общительных и веселых. Чего нельзя сказать, например, о Ман-

Заметки печатаются в сокращенном виде.

дельштаме, который не смог с юмором отнестись к «шуточке» начальника личной охраны Троцкого Блюмкина, когда тот стал заполнять в подобной же веселой компании ордера на расстрелы.

Впрочем, помимо благодушия и веселости, что называется, в своем кругу (а круг этот в ту пору был довольно широким, охватывал влиятельный мир печати, искусства, идеологии), можно отметить и другие черты. Петров, например, писал о себе, и этим его словам нельзя не верить, ибо в пору их написания (конец 30-х) подробностям такого рода не придавали очень уж большого значения: «Я переступал через трупы умерших от голода людей и проводил дознание по поводу семи убийств. Я вел следствия, так как следователей судебных не было. Дела сразу шли в трибунал. Кодексов не было и судили просто — «Именем революции...».

Краткое, но очень выразительное описание! Молодой человек, которому не исполнилось еще и двадцати лет, не имевший никакого понятия о юриспруденции, вел следствия по сложнейшим делам, а так как и законов-то не имелось да и судов не было («сразу в трибунал»), то ясно, каковы были полномочия у будущего юмориста. Напомним, что грозные слова: «Именем революции» произносились, как свидетельствуют источники, при расстрелах. Знаменитый писатель вспоминал о том спокойно, даже с оттенком гордости: что ж, таково было время, и личные оценки тут следует давать очень осмотрительно. Но вот Л. М. Яновская приводит справку (без ссылки, впрочем, на источник), что в указанное время в Одессе «бандитами становились главным образом кулаки, бывшие помещики, белые офицеры». Уважаемая исследовательница творчества Ильфа и Петрова убеждена, что с такой публикой не стоило особо церемониться..

Подобные взгляды были нормой — для многих друзей и соратников знаменитых сатириков — в «Золотом теленке» изображен очень милый журналист, о котором говорится: «Возможно, что и представитель христианских молодых людей схватился бы за сердце, выяснись, что веселый Пиламидов был председателем армейского трибунала». Можно послужить в трибунале, а потом написать веселенький фельетон. В кругу Ильфа и Петрова подобное считалось вполне естественным, от этого никто не хватался за сердце. С. Гехт рассказывал, как он вместе с Ильфом и Петровым путешествовал на пароходе по строящемуся Беломорканалу: пояснения по ходу дела давал им начальник лагеря, и Ильф и Петров с В. Ардовым «мастерили веселую газету». Как видим, эпитет «веселый» присутствует и здесь. На Беломорканале им тоже было весело.

Более того. Прогулка по беломорканальским лагерям настолько вдохновила авторов, что они задумали именно там поселить и «перековать», по выражению того времени, своего героя. Их статья в «Комсомольской правде» так и была озаглавлена: «Наш третий роман» (1933, 24 августа). «Нас часто спрашивают о том, что мы собираемся сделать с Остапом Бендером.. Мы сами этого не знали. И уже возникла необходимость писать третий роман, чтобы привести героя к оседлому образу жизни. Мы еще не знали, как это сделать. Останется ли он полубандитом или превратится в полезного члена общества, а если превратится, то поверит ли читатель в такую быструю перестройку? И пока мы обдумывали этот вопрос, оказалось, что роман уже написан, сделан и опубликован. Это произошло на Беломорском канале! Мы увидели своего героя и множество людей, куда более опасных в прошлом, чем он» и которые полностью изменились «всего только за полтора года великого строительства».

Конечно, сказанное выше было присуще не только Ильфу и Петрову (в бригаду, составлявшую книгу о Беломорканале, входило множество популярнейших тогда литераторов, а пресловутой «перековкой» печатно восхищались такие, например, крупные и разноликие писатели, как Максим Горький и Алексей Толстой). Подчеркнем лишь, что Ильф и Петров вполне разделяли такие настроения, а в их искренности не приходится сомневаться. Во всяком случае, до сих пор мы не имеем материалов, свидетельствующих об обратном.

Стараниями друзей и позднейших поклонников жизнь Ильфа и Петрова прослеживается достаточно полно, вся на виду. И видно, что будучи людьми способными, общительными и удачливыми, они жили весело и интересно, никакие бури их не задели и веселого настроения не затуманили. А почему бы и нет? «Всюду были товарищи, всюду были друзья». В 1933 году компания друзей совершила трехмесячную поездку вокруг Европы: Ильф и Петров, Бор. Ефимов, Ротов и Левин. В годы, когда о заграничном туризме и заикнуться-то было страшновато, друзья повидали Константинополь, Грецию, Италию, наконец прибыли во Францию. Тут следует предоставить слово другому очень интересному мемуаристу — Илье Эренбургу.

Писатель, прочно осевший тогда в Париже, рассказывал позже: «У меня была знакомая дама, по происхождению русская, работавшая в эфемерной кинофирме, женщина очень добрая; я ее убедил, что никто не может написать лучший сценарий кинокомедии, чем Ильф и Петров, и они получили аванс. Вечером приходили в «Куполь»... кроме двух авторов сценария... Савич, художник Альтман, польский архитектор Сеньор и я... Кинокомедия прогорела, но цель была достигнута: они пожили в Париже». К тому времени «Золотой теленок» был уже написан и издан, так что весь этот эпизод мог бы служить жизненной иллюстрацией к действиям Остапа Бендера на Черноморской киностудии. И если уж продолжить сравнение литературы с жизнью, то опять-таки нельзя не отметить: в Советской России — карточная система, перенаселенные бараки, борьба с кулаками, а тут... «Куполь», веселое, приятное общество... Да, воистину легко и беззаботно катилась тогда жизнь у авторов юмористических романов.

Опять же сделаем необходимую оговорку: никакой особенной уж исключительности в данном случае в судьбе Ильфа и Петрова не было. В те же годы в сходных условиях путешествовали по свету А. Фадеев и А. Гладков, И. Бабель и В. Катаев, Л. Никулин, К. Федин, Л. Киршон... Следует лишь помнить, что Ильф и Петров в ту пору принадлежали к высшим, наиболее привилегированным литературно-художественным кругам государства.

«Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» пронизаны весельем, причем колорит этого веселья отчетливо богемный; среда, откуда вышли авторы, заметна сразу, бросается в глаза. О стилистике романов написано уже немало. Установлена литературная вторичность некоторых сюжетов, стихия газетного фельетона и прочее. Обратим внимание еще на одно обстоятельство: во многом оба романа восходят к тому очень популярному, но не канонизированному жанру, который на богемном жаргоне называется «капустник». Такого термина, разумеется, нет ни в литературных энциклопедиях, ни в словаре литературных терминов, но это понятие живо — и в языке, и в повседневной реальности. «Капустник» — это пародия со смешением любых форм и жанров, основной тут прием — намек.

Прием «капустника» в изобилии применяется в романах Ильфа и Петрова, можно даже сказать, что это вообще «романы-капустники». Намеки на определенных лиц и обстоятельства заметны там буквально в каждом эпизоде. Когда-то, в момент издания, эти намеки были понятны довольно широкому кругу людей, сегодня очень многое требует расшифровок и пояснений. Такие пояснения уже сделаны, вот некоторые из них. По мнению Б. Галанова, спектакль «Женитьба» в театре Колумба — это намек на постановку С. Эйзенштейном «На всякого мудреца довольно простоты» в театре Пролеткульта. По А. Вулису, «поэт» Ляпис — намек на М. Зощенко, а журналист Гаргантюа — Эмиль Кроткий. В. Катаев сообщил, что княгиня Белорусско-Балтийская — намек на вторую жену М. Булгакова — Л. Е. Белозерскую, которая происходила из рода князей Белосельских-Белозерских. О пресловутом «гусаре-схимнике» есть даже две подробных публикации (М. Гельцера и В. Карташова). Вот Бендер рассуждает о сюжете картины «Большевики пишут письмо Чемберлену»: А. Старков заметил, что то была злободневная пародия на рисунок А. Глаголева в «Крокодиле», где соответствующим образом переиначивался репинский сюжет.

Намеки, намеки... Иногда они расшифровываются очень легко, разгадка лежит на поверхности. Например, о вымышленном городе Черноморске сказано, что он был основан в 1794 году и когда-то был «вольным городом» — несомненно, что это Одесса, родина авторов. Упоминаемая в «Двенадцати стульях» газета «Станок» — прозрачный намек на газету «Гудок», где долго работали авторы и их многочисленные друзья. Расшифровка некоторых других намеков потребовала уже более сложных изысканий.

Вот, скажем, известная телеграмма «Графиня изменившимся лицом бежит пруду»; друг авторов В. Ардов установил, что Ильф читал материалы о смерти Льва Толстого и обнаружил эту фразу в поспешной телеграмме одного корреспондента со станции Астапово. Изучая журнал «30 дней» за 1927 год, Б. Галанов выяснил, откуда взялся в «Двенадцати стульях» оркестр, игравший на кружках Эсмарха: оказывается, в Одессе врачи создали джаз, где в качестве «инструментов» использовались шприцы, стетоскопы, а также кружки, названные по имени знаменитого немецкого хирурга. Или вот «индийский гость», он же «великий философ и поэт» — обладатель «бархатной рясы и такого же колпака», с бородой «белой и широкой, как фрачная манишка». Это прозрачный намек на Рабиндраната Тагора, который в сентябре 1930 года посетил Москву. Как сообщала тогдашняя печать, он встречался с пионерами и «акынами» и толковал с посетителями о «смысле жизни» — все это изложено в «Золотом теленке» в остроумно пародийной форме. Или вот одно совсем недавнее и очень интересное уточнение: неловкий пройдоха из православных священников Федор Востриков во время своих скитаний отправил три письма жене, в тексте они приводятся полностью; два подписаны несколько необычно — «Твой вечно муж Федя». Бенедикт Сарнов подметил, что именно так подписывал Федор Михайлович Достоевский письма к своей жене Анне Григорьевне.

Как говорится, «и так далее»...

Требует основательных расшифровок комический образ «сына лейтенанта Шмидта». Речь идет, как прямо сказано в «Золотом теленке», о Николае Шмидте, сыне Петра Петровича Шмидта, лейтенанте, возглавившем революционных моряков в Севастополе в 1905 году. Да, он хорошо известен, но кто такой его сын? Действительно, в 20-е годы на революционной волне всплыло немало жуликов, пытавшихся спекулировать памятью известных лиц. Ильф и Петров дают точную фактическую справку по этому поводу: «По всей стране, вымогая и клянча, передвигаются фальшивые внуки Карла Маркса, несуществующие племянники Фридриха Энгельса, братья Луначарского, кузины Клары Цеткин или на худой конец потомки знаменитого анархиста князя Кропоткина». Все так, но почему среди этих знаменитых имен оказался безвестный «сын лейтенанта Шмидта», существовал ли он вообще или это плод воображения авторов?

Оказывается, существовал, и даже был одно время окружен немалой газетной шумихой. Но подлинного сына Шмидта звали не Николай, а Евгений.

Обратимся теперь к расшифровкам, касающимся главного героя дилогии — Остапа Бендера. Через все тридцать с лишним листов печатного текста проходит, как рефрен: «Мой папа был сын турецко-подданного», полное якобы его имя — «Остап-Сулейман-Берта-Мария Бендер-бей, отец которого был турецко-подданный», Паниковский даже называет его почтительно «Остап Ибрагимович», неоднократно обыгрывается выражение «потомок янычар» и т. п. К чему столь нарочитый намек? Что это значит? По языку, манерам и поведению на подлинного турка Бендер все же не похож. Портрет его, воспроизведенный неоднократно, тоже мало чего проясняет: «Атлет с точеным, словно выбитым на монете лицом», «голова его с высоким лбом и иссиня-черными волосами», «длинный, благородный нос», «красавец с черкесским лицом» и прочее. Опять же не похоже на турка; указание на «черкеса» говорит скорее о ярко восточном типе внешности — как известно, черкесы (адыги) к тюркским народам не принадлежат и входят в кавказскую семью. Остап любит рассказывать «еврейские анекдоты», но это тоже ровным счетом ничего не значит.

О происхождении и месте рождения Бендера в дилогии ничего не сообщается, можно лишь установить, что жизнь его была тесно связана с Одессой — «Всю контрабанду делают в Одессе на Малой Арнаутской улице», сообщает он при первом же знакомстве с Воробьяниновым. В начале XX века весь край, примыкавший к Одессе и называвшийся тогда Новороссией, отличался большой национальной пестротой. Помимо русских, украинцев и молдаван, составлявших коренное население и подавляющее большинство его, здесь, как свидетельствуют тогдашние переписи, проживали значительные группы немцев, греков, евреев, болгар, цыган.

Одесса была крупнейшим торговым портом на юге России, отсюда, еще с середины прошлого века, шел основной поток грандиозного хлебного вывоза. Одесса издавна сделалась крупнейшим центром торговцев, биржевиков, маклеров и т. п. Черноморская торговля была тесно связана с Турцией (соседство плюс необходимость проходить через проливы), вот почему в Одессе находилось турецкое консульство (точнее — консульство Османской империи). Краеведы, знатоки старого одесского быта, свидетельствуют, что коммерсанты всех мастей нередко принимали турецкое подданство, чтобы в случае различных неурядиц пользоваться привилегиями «иностранных граждан»; рассказывают, что в Одессе подобные случаи породили множество острот и анекдотов. Объяснение того, как отец Остапа Бендера стал «турецко-подданным», видимо, следует искать в этой версии.

Остап Бендер является главным и любимым героем дилогии Ильфа и Петрова. Он несет основную идейную нагрузку, вот почему здесь следует кое-что пояснить.

В поведении Бендера бросается в глаза любопытная черта его натуры, которая на первый взгляд может показаться противоречивой. С одной стороны, он профессиональный шантажист и вымогатель, причем никакими средствами не брезгающий: чего стоит, скажем, его угроза донести на Воробьянинова в ГПУ или все прочие приемы шантажа, запугивания, обмана и прочее.

Нельзя не заметить, что Бендер иногда вдруг совершает поступки, которые кажутся широкими и даже щедрыми. Так, он мог бы и в одиночку отыскать бриллианты в стульях, какой уж помощник ему, отпетому проходимцу, этот нерасторопный дворянин, вышвырнутый из родового имения? Но нет, Бендер оставляет Воробьянинова около себя, указывая недвусмысленно: «Без него не так смешно жить». Затем Бендер дарит неудачнику Балаганову 50 тысяч рублей — в те годы, когда инженер получал около 100 рублей в месяц, это была сказочная сумма. Он привез в подарок Козлевичу дорогостоящие запасные части к машине, искренне сожалел, что не может купить ему ни «линкольна», ни даже «форда».

Именно эти обстоятельства позволили некоторым поклонникам Остапа Бендера выдать ему восторженные характеристики. Вот К. Симонов в упомянутом предисловии оценил его, как «разностороннего и веселого жулика, не лишенного добродушия и даже своего рода принципов товарищества». Конечно, «разносторонний жулик» — это очень своеобразный комплимент, но гораздо важнее тут, что К. Симонов противопоставляет Бендеру других героев дилогии: «злобного тупицу» Воробьянинова, «злодея» Корейко, «мелкую спекулянтку» Грицацуеву. Правда, не совсем понятно, почему такую суровую оценку получает обворованная Бендером вдова, ибо в тексте нет ни малейших намеков, что она чем-то спекулировала, хотя бы и «мелко», но это не важно, главное тут — противопоставление «веселого» Бендера тупым злодеям Воробьянинову и Корейко.

Оценки К. Симонова оказались очень устойчивыми, примерно так же толкуется образ Бендера в работах А. Вулиса, Б. Галанова, А. Яновской и других. Во многих теле- и кинофильмах «великий комбинатор» рисуется, пожалуй, с еще большей теплотой, исполняли эту роль популярные актеры А. Миронов, С. Юрский и другие. Словом, в сознание телекинозрителей образ Бендера внедряется по давнишнему определению Ильи Эренбурга: «милый плут» — ударение здесь явно приходится на первое слово...

Впрочем, наиболее развернутую характеристику главному герою дилогии дал А. Вулис: «Сын турецко-подданного умен. Он способен найти выход из самой затруднительной ситуации. Он превосходно разбирается в людях. Он великолепный артист... человек, свободно оперирующий именами Заратустры, Леонардо да Винчи, шекспировских героев, цитирующий Пушкина, проверяющий французское произношение Кисы, сведущий в юриспруденции и цирюльном деле. Остап по-своему хороший товарищ... От природы незлопамятный и веселый малый...». Это уже не оценка, а ода! Особенно забавно стремление ученого филолога доказать «образованность» Бендера, ведь имена Заратустры и Леонардо знает любой разгадыватель кроссвордов!

Если внимательно присмотреться к широким, как это кому-то кажется, жестам Бендера, то отсюда последует удивительный вывод: мелкий жулик очень властолюбив, он страсть как обожает рабскую покорность и даже поклонение себе. Кажется очень неожиданным для расхожего представления об остряке-аферисте, но это именно так. Рассмотрим отношения Бендера с подручными, которые обслуживают «потомка янычар».

Вот убогий Воробьянинов. Говорится, что до революции он был предводителем дворянства своего уезда. Современному читателю приходится пояснить, что выборная должность эта (в уезде или губернии) была почетным званием и не давала никакой административной власти, обычно избирались самые родовитые и почтенные люди дворянского сословия, к тому же не бедные — звание было связано с немалыми расходами. Теперь волею обстоятельств Воробьянинов сделался подручным одесского жулика. В музее мебели Бендер обнаруживает местонахождение стульев, он кричит бывшему предводителю: «Молитесь на меня!», и вскоре повторяет этот призыв еще три раза.

После неудачи на мебельном аукционе он лупит этого пожилого человека, причем тот «во время экзекуции не издал ни звука» и даже «стоял, сложив руки по швам». Рукоприкладствует Бендер неоднократно: вот он «восторженно пнул Воробьянинова ногой в ляжку», а вот «ударил Воробьянинова медной ладонью по шее». Неудивительно, что бедняга постоянно унижается перед своим повелителем, в тексте следуют ремарки: «угодливо спросил», «робко спросил» и т. п. Будешь тут робким, когда тебя «медным кулаком» по шее... И вот авторы не без наблюдательности подмечают развитие отношений своих героев: «Ипполит Матвеевич постепенно становился подхалимом. Когда он смотрел на Остапа, глаза его приобретали голубой жандармский оттенок». «Жандармский» — это от преданности служения.

Гораздо проще, но по тому же порядку, строятся отношения Бендера с Балагановым. С первой же их беседы Бендер слушает Балаганова, «небрежно глядя перед собой», а потом с деловитостью биржевика заявляет: «Даром я вас питать не намерен. За каждый витамин, который я вам скормлю, я потребую от вас множество мелких услуг». Рыжий простофиля «хотел было пошутить, но подняв глаза на Остапа, сразу осекся», более того — «почувствовал вдруг неодолимое желание вытянуть руки по швам». Ничего себе, хорошенькое «товарищество», которым так дружно восторгались К. Симонов и А. Вулис!

Старого жулика и бродягу Паниковского Бендер сразу берет в качестве «прислуги за все», и перед наймом деликатно предлагает: «Встаньте на колени». Ужасно нравится коленопреклонение «потомку янычар»! Вот и другому жулику Берлаге он командует «голосом Николая I»: «На колени!» Здесь уже Бендер наделяется чертами повелителя, понятно, что его глаза «сверкали грозным весельем». Этой «грозной веселости» ужасно боялся и священник Востриков: при виде Остапа «великий испуг поразил сердце отца Федора». Когда же Паниковский на секунду вздумал взбунтоваться, Бендер пнул его «каучуковым кулаком» так, что старик заплакал. Неудивительно, что он, как и Воробьянинов, «льстиво заглядывал в глаза» своему ко-

зяину. Так же не стесняется Бендер ударить и другого старика — бывшего камергера Митрича: он что-то сказал Остапу, а тот в ответ «молча ткнул его в грудь».

Вот тебе и «добродушие». Нет, тут неуемная жажда властвовать, повелевать, даже унижать. Вот почему миллионер Бендер сует малую толику уворованных денег Балаганову — он покупает себе холуя, как недавно пытался пристроить себе в «секретари» родовитого русского дворянина.

Зато Остап Бендер очень мил и покладист с людьми, которых он по-своему уважает. Ильф и Петров подробно описали группу столичных писателей и журналистов, которые в 1930 году ездили в комфортабельном поезде на открытие Турксиба. Сцены эти тем более интересны, что одаренные юмористы явно создали здесь самопародию, хотя совершенно неожиданно для себя. Получилось так, что темный гешефтмахер Бендер оказался... ну, совершенно таким же, как и тогдашняя литературная элита!

Да, это действительно так: любимец авторов «горячий» журналист Лавеазьян восторженно объявляет «сыну турецко-подданного»: «Вы — профессионал пера!» И не удивительно тогда, что обитатели литературного поезда собирались по вечерам в купе не у кого-нибудь, а именно у Остапа Бендера, и профессиональный вымогатель не только чувствовал себя легко и свободно, но и вел с гостями беседы на равных. Рассказ его о судьбе Вечного жида в гражданскую войну перекупил корреспондент американской сионистской газеты (был и такой в веселом поезде) за немалую по тем временам сумму — 40 долларов. Более того: Бендер продал за двадцать пять советских рублей одному столичному журналисту самоучитель по писанию статей. Как видно, самозванный корреспондент «Черноморской правды» ни в чем не уступал своим «коллегам», даже превосходил многих! И тут самое время напомнить, что отрывок этот автобиографичен. Сходство «потомка янычар» с процветающими писателями и журналистами центральных изданий настолько многозначительно, что приходится удивляться, как сатира такого качества была тогда опубликована. Правда, значительно позже Надежда Мандельштам в своих «Воспоминаниях» писала как раз об этой встрече Остапа Бендера: «Кто знал, что мы встаем на гибельный путь, провозгласив, что нам «все дозволено»? Об этом помнила только кучка интеллигентов, но их никто не слушал ⟨...⟩. Первоочередная задача состояла в том, чтобы подвергнуть их осмеянию в литературе. За эту задачу взялись Ильф с Петровым и поселили «мягкотелых» на «Вороньих слободках» ⟨...⟩. Читатель 60-х годов, читая бессмертные произведения двух молодых дикарей, совершенно не сознает, куда направлена их сатира и над кем они издеваются» (Н. Мандельштам. Воспоминания. Нью-Йорк, 1970, с. 345)

Тем более не сознают этого читатели восьмидесятых и начала девяностых годов, для которых даже хрущевская «оттепель» — молодость моего поколения — далекая история. А осознать рано или поздно придется, такова неумолимая логика истории.

Через весь роман «Золотой теленок» проходит образ города Рио-де-Жанейро. Опять зашифровка, и весьма существенная для понимания образа Остапа Бендера. Сам экзотический город подается с точными приметами справочного характера: географическое положение, столько-то жителей, экспорт того-то и прочее. В том же стиле сообщается и одна несколько неожиданная подробность: «Полтора миллиона человек и все без исключения в белых штанах», — сообщает Бендер.

Население города, сплошь одетое в белые штаны — это образ. Образ прекрасной и далекой земли, где-то там, у теплого моря, за дымкой нежного тумана, где все прекрасно и радостно и где, разумеется, никто не собирается «строить социализм». Бендер грустит наяву: «Я хочу уехать... очень далеко, в Рио-де-Жанейро... Я с детства хочу в Рио-де-Жанейро... Рио-де-Жанейро — это хрустальная мечта моего детства».

Мечта эта — исключительно для себя. Когда простофиля Балаганов заикнулся, что «тоже хочет в белых штанах», Бендер «строго» указал, чтобы тот не смел даже прикасаться к его мечте «своими грязными лапами». Профану с шутовской кличкой Балаганов нет места «у теплого моря», он должен оставаться здесь, в стране, которая «хочет строить социализм». Впрочем, став миллионером, «строгий» Бендер несколько подобрел, он уже готов захватить с собой в Рио-де-Жанейро Балаганова «в качестве обезьяны». Примечательная подробность, если перевести шифрованный язык на обычный: на вожделенную землю мечтаний Остапа Бендера Балаганову возможен доступ только в качестве... животного.

Сама же страна, где приходится томиться Бендеру, вызывает у него сплошные огорчения. Его выразительные вздохи проходят через весь роман: «Нет, это не Рио-де-Жанейро»... Иногда эти вздохи переходят в трагический стон: «Я хочу отсюда уехать... А у нас... боже, боже! В какой холодной стране мы живем!» Очень характерен тут эпитет «холодная», и опять встает связка-противопоставление: теплое море... белые штаны... И вот, размечтавшись как-то, Бендер рисует развернутую картину этого рая: «Пальмы, девушки, голубые экспрессы, синее море, белый пароход, мало поношенный смокинг, лакей-японец, собственный биллиард, платиновые зубы, целые носки, обед на чистом животном масле и, главное, слава и власть, которую дают деньги»

Страна, из которой мечтает уехать Бендер, тоже описана в романах Ильфа и Петрова. Прямых оценок тут нет или почти нет, но если расшифровать многочисленные намеки и иносказания, то картина предстанет развернутой и полной. Теперь посмотрим, какие выдаются характеристики истории и культуре этой самой страны.

Уже в начале первого романа появляется развернутый рассказ о том, как в уездном русском городе был поставлен «бюстик» (так и сказано: «бюстик») поэту Жуковскому. Приводится точная дата открытия памятника, высеченные слова «Поэзия есть бог в святых местах земли», а затем сообщается анекдот, как на спине «бюстика» каждую ночь появлялось некое «краткое ругательство»... Ни царская полиция, ни советская милиция, сказано в романе, не могли ничего с этим поделать... Дикость и хамство населения русского уездного города приобретают прямо-таки мистический смысл: память чистейшего поэта глумливо оскорбляется (вот тебе и «святые места земли»!), и никто не в силах усмирить эту темную стихию, ни царь, ни Советы... Дескать, так было, так и быть суждено.

Заметим: выяснилось, что уездный город с карикатурно описанным бытом и «бюстиком» Жуковского — это древний Белев, основанный еще в 1147 году, центр Белевского княжества, просуществовавшего до середины XVI века. Местные краеведы, чтущие память Жуковского, были изумлены и смущены, когда узнали, что город в «Двенадцати стульях» и пошлый анекдот про «краткое ругательство» относится к их родному Белеву.

Из героев русской классической литературы упоминаются братья Карамазовы — в качестве авторов текста идиотской телеграммы: «Грузите апельсины бочках». Упоминается еще и Тарас Бульба, даже дважды. Как-то Бендеру приснился сон, где этот, по оценке Гоголя, «рыцарь» продает открытки с видами Днепрогэса. Так в видениях Бендера рыцарь превращается в мелкого торгаша, к тому же торгует он не чем-нибудь, а изображением бывшей столицы Запорожской Сечи, которая затопляется искусственным озером. В другом месте дилогии Бендер обращается к жулику Паниковскому со словами, которыми Тарас Бульба встретил своих сыновей: «А ну поворотись-ка, сынку!»

Военная история страны представлена следующими образами: слуга в доме инженера Брунса носит примечательное имя Багратион, Суворова Бендер вспоминает в связи с разграблением городов: «Даю вам двадцать рублей и три дня на разграбление города! Я — как Суворов!.. Грабьте город, Киса!» Идея ограбления городов вообще очень привлекала Бендера, в другом месте он наставляет присных: «Внизу на тарелочке лежал незнакомый город. — Райская долина, — сказал Остап. — Такие города приятно грабить утром, когда еще не печет солнце. Меньше устаешь».

Вот, пожалуйста, архитектура: Ярославский вокзал в Москве отмечен «псевдорусскими гребешками и геральдическими курочками», в Дарьяльском ущелье описывается замок царицы Тамары, «похожий на лошадиный зуб». В городе Арбатове Бендер «со снисходительным любопытством» взирает на «облезлое золото церковных куполов», а по поводу церкви, превращенной в картофелехранилище, роняет: «Храм спаса на картошке». В Черноморске (Одессе) описывает католический костел: «он врезался в небо, колючий и острый, как рыбья кость. Он застревал в горле». В среднеазиатском городке «темносиние, желтые и голубые изразцы мечетей блестели ж и д к и м стеклянным светом».

Вот живопись: как-то на дороге жуликами разыгрывается целая шутовская пантомима на сюжет известной картины «Три богатыря», Илью Муромца изображает Бендер, Паниковский — Алешу Поповича, Балаганов — Добрыню, Бендер командует: «Приложите ладони ко лбам и вглядывайтесь вперед».

А вот, так сказать, топонимика: город Удоев и Старгород (то есть: эту «устаревшую» страну могут «доить» все, кому не лень, так и пытается жить здесь «потомок янычар»). Спасо-Кооперативная площадь, храм Выявления Христа, Кресто-Выдвиженческая церковь и т. д. и т. п. везде, всюду. Тут следовало бы добавить разбросанные там и сям презрительные эпитеты: кондовый, посконный, черноземный, сермяжный. Вспомнить Бендера, обличающего «патриархальную тишину города Удоева». Наконец, русская природа рисуется в таких образах: дорожная пыль, «словно порошок для клопов», «в траве кричала мелкая птичья сволочь» — жаворонки, что ли?.. А вот как живописуется морская стихия: «белая пена прибоя, словно подол н и ж н е й юбки, выбившейся из-под платья н е р я ш л и в о й дамочки» — выделенные слова особенно характерны для описания того, что раньше оценивалось, как «земля светлей лазури» или «угрюмый океан». Кавказские горы рисуются через восприятие Бендера: «Слишком много шику. Дикая красота. Воображение идиота. Никчемная вещь». О Кавказе на русском языке написано очень много, но такого, кажется, не говорилось ни до, ни после... Развесистый, тенистый карагач представлен в виде «гигантского глобуса на деревянной ножке».

Понятно, что все эти глумливо-однообразные остроты, сведенные в плотный ряд, не очень-то приятно читать. Но только таким вот безоценочным перечнем можно воссоздать картину того, как в представлении Остапа Бендера выглядит наша история и культура. И здесь невольно возникает вопрос: а не являются ли все это «цветочками», из которых и выросли ядовитые «ягодки» русофобии наших дней...

Теперь рассмотрим, как освещается в романах Ильфа и Петрова тема «маленького человека». На первый взгляд это может показаться неожиданным, ибо героями там являются преимущественно проходимцы различных мастей, репортерско-художественная богема, администраторы различного уровня. Нет, «маленький человек» тоже изображен, но, по обыкновению, в зашифрованном виде. Это не что иное, как известный образ громадной коммунальной квартиры номер три, названной в «Золотом теленке» «Вороньей слободкой».

Изображаются люди, стиснутые, как шпроты, в ветхом домишке. Несчастное это обстоятельство вызывает у авторов взрыва смеха. Им забавно наблюдать, как множество людей толкутся в одной кухне, как вокруг царит грубость, бедность и разруха. Авторы настойчиво внушают читателям: тупые мещане, снующие в тесном пространстве, заслуживают только глумливой иронии. Кого же поселили авторы в этом своем смешном аду? «Отставной дворник», одинокая старушка, «бывший князь, а ныне трудящийся Востока» с похабно переиначенной грузинской фамилией, бывший камергер двора его величества», некая Дуня (видимо, работница, но авторы этого почтенного слова не решаются произнести), мелкая торговка и «русский интеллигент» с уважительным наименованием Лоханкин.

Обратимся к русской литературной традиции. Специалисты по обличению разного рода «свинцовых мерзостей жизни», от Щедрина до Горького, описали множество язв старой российской жизни — иногда реальных, а порой рожденных пристрастием. Однако среди всех этих красочных язв, реальных или воображаемых, нет в русской литературе ничего подобного «Вороньей слободке». Даже в горьковском «На дне» (тоже своего рода дореволюционной коммуналке) — не смех, а слезы, трагедия. Конечно, необходимо учитывать и законы жанра, в котором «все дозволено» ради «красного словца». Ильф и Петров в этой вседозволенности превзошли многих.

Наконец, осталось рассмотреть образ православного священника. Образ этот — нечастый в советской литературе, лишь изредка мелькающий на окраине сюжетов. Только у Ильфа и Петрова священник — один из главных героев «Двенадцати стульев».

Федор Иванович Востриков — приходский священник в небольшом уездном городе. Он являет собой целое скопище пороков: деляга, жулик и трус, лишенный чести и совести, и сан-то принял исключительно для того, чтобы не идти на фронт, и тайну исповеди использует в корыстных целях. В романе отмечается, что отец Федор не «обновленец», то есть не сторонник «живой церкви», которая пыталась тогда в России внедрить разного рода религиозный модерн; напомним, что в описываемое время «обновленцы» пользовались сочувствием и поддержкой властей, напротив — сторонники Патриархии подвергались всяческим утеснениям. Получается немножко нелогично: почему же пройдоха Востриков не примкнул к процветающим тогда «обновленцам»? Почему он подан ортодоксальным православным?..

Итак, отец Федор из храма Фрола и Лавра является типичным представителем православного духовенства. Кстати, святые Фрол и Лавр издавна были высоко чтимы на Руси и почитались покровителями скотоводства, в новейшее время особенно часто церкви этих святых встречались в сельской местности или в мелких городках. Тип сельского священника разносторонне и полно описан в русской литературе. Сравнивая этот известный тип с тем, что изображено в «Двенадцати стульях», обнаруживаются некоторые несоответствия, кажется, будто авторы спутали православного священника со служителем какого-то иного вероисповедания.

Речь не о личных качествах Вострикова, дурные личные качества могут быть у человека любого рода занятий. Удивляет другое: отец Федор то занимается мыловарением, превращая свой дом в пахучий склад, то внедряет промышленное кролиководство, то содержит гостевую столовую и организует рекламу ей и т. п. У русских священников имелись слабости, и они ревниво были отмечены прогрессивным искусством (вспомним картины Перова или тексты Щедрина), однако никому из самых грозных обличителей не доводилось все же изображать приходского священника в облике гешефтмахера. Тут Ильф и Петров что-то явно перепутали: коммерческим предпринимательством православная церковь не занималась никогда

Нельзя не сказать о языке знаменитых сатириков. Нисколько не преувеличивая, можно заключить, что дилогия оказала громадное воздействие на русский разговорный язык середины XX века. Ни одно художественное произведение любого жанра, созданное в текущем столетии, не может быть сопоставлено с ней в этом смысле. Бесчисленное количество словечек и выражений, всевозможных «хохм» вязко и неотрывно прилепилось к языку современного человека, особенно из средней интеллигенции и всей обширнейшей полуинтеллигенции.

Приведем лишь некоторые словесные блоки дилогии:

Гигант мысли, отец русской демократии. — Заседание продолжается! — Ключ от квартиры, где деньги лежат. — Союз меча и орала. — Лед тронулся, господа присяжные заседатели! — Голубой воришка. — Знойная женщина, мечта поэта. — Дышите глубже, вы взволнованы. — Статистика знает все. — Отделался легким испугом. — Не корысти ради, а токмо волею пославшей мя жены... — Служил Гаврила хлебопеком и т. д. — Все учтено могучим ураганом. — Дело помощи утопающим — дело рук самих утопающих. — Я человек, измученный нарзаном. — От мертвого осла уши. — Ближе к телу. — Надо чтить уголовный кодекс. — Сын лейтенанта Шмидта. — Автопробегом — по бездорожью и разгильдяйству. — Это не Рио-де-Жанейро. — Командовать парадом буду я. — Бывший князь, а ныне трудящийся Востока. — Рога и копыта. — Сбылась мечта идиота. — В детстве таких, как вы, я убивал из рогатки. — Нарушитель конвенции. — Пиво отпускается только членам профсоюза. — Бензин ваш — идеи наши! — Эх, прокачу! — Жалкие, ничтожные люди. — Нам грубиянов не надо. Мы сами грубияны. — Автомобиль не роскошь, а средство передвижения. — Не делайте из еды культа. — Кризис жанра. — Волчица ты, тебя я презираю и т. п. — А, может быть, так надо? — Великая сермяжная правда, она же посконная, домотканная и кондовая. — Кофе тебе будет, какава. — У всех жена ушла. — Меня девушки не любят. — Зицпредседатель. — Пикейные жилеты. — Тарелочка с голубой каемочкой. — Судьба играет с человеком, а человек играет на трубе.

Сорок с лишним словесных блоков... немало. Но это, наверное, список не полный, найдется, видимо, много охотников и до других словечек и выражений, нами не отмеченных. Надо добавить сюда и пародийный лексикон Людоедки Эллочки, который тоже целиком перетек в разговорный язык.

Романы Ильфа и Петрова будут издаваться еще не раз, и читательский их успех поколеблется не скоро.

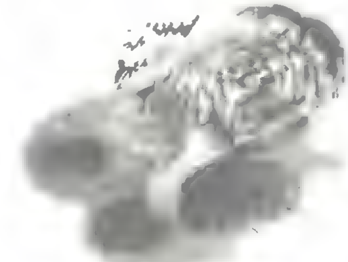
Нельзя не отметить и того, что в дилогии есть отличные образы, исполненные в комическом жанре. Чего стоит «голубой воришка» Альхен или осторожный плут Кислярский с его корзиной, идеально приспособленной для неизбежной ему тюрьмы. А Паниковский? Этот туповатый жулик представляет собой целое явление, тонко подмеченное Ильфом и Петровым в тогдашней жизни, он представлен даже с биографическими чертами, а его смерть на пустынной дороге прямо-таки трагична в своей никому не нужной нелепости.

Следует сделать вывод: там, где Ильф и Петров выступают, как неприхотливые юмористы, как объективные сатирики, и только, стиль их легок, юмор здоров, а обличения справедливы. Действительно, вот обезумевшее стадо поклонников шахмат, разве оно не достойно осмеяния? Ну, заменим шахматы фигурным катанием, майором Штирлицем, модной эстрадной группой — ничего не изменится, останется тот же массовый идиотизм, которым так легко пользоваться в корыстных целях разного рода «комбинаторам». Стегать, стегать надо дурней, пока не поумнеют, — вот почему осмеяние васюкинских оболдуев есть дело сугубо полезное.

Но получается нечто совсем иное, когда Ильф и Петров от сатиры переходят к глумлению, когда юмор подменяется натуженными «хохмами», а литературный русский язык — жаргоном одесской барахолки. Так появляется на страницах дилогии высокомерие, презрительность и пошлость. Природу всего этого мы пытались показать выше.

Пусть издаются, пусть читаются. Можно даже рекомендовать романы будущим читателям, но при одном условии: чтобы они научились понимать зашифрованные в смешных сценах иносказания и намеки, чтобы исторические явления в литературе, как и в самой истории, воспринимались исторически, во всей их сложности и противоречивости.

●



ВЛАДИМИР КАРПОВ

КРИЧАЩИЙ НА ПУСТЫРЕ

Белая горячка началась у него с вечера: несколько мужиков упросили горожанина-пчеловода свозить их на «жигулях» в Михайловское, что в тридцати километрах, за водкой. Понятно, коли выдался случай, взяли «с запасом»... По телевизору показывали «До и после полуночи», когда я услышал ругань за окном, удары в дерево. Выключил свет, посмотрел в окно — бегает Петька, размахивает палкой. Я понял дело так, что Петька или злится на какого-то дружка своего, который упал там и не может идти, или меня явился громить!.. Вышел для ясности. И увидел — в руках у него вовсе не палка, а настоящий топор. И пластается он не из-за меня или дружка, а из-за кого-то, кто, по его мнению, находится внутри фургона, в котором пчеловод перевозит ульи. Находиться там никто не мог: на двери фургона, обделанной железной решеткой, висел надежный замок.

«Взять» Петьку в деревне было некому: ни милиции, ни больницы... На протяжении трех-четырех километров вдоль реки жили в разрозненных пустырями и полуразрушенными строениями домах, которые «еще барин строил», двадцать шесть человек. А прежде — «с крыши на крышу переходили!». Запустение началось недавно: еще лет двенадцать назад была в селе школа, клуб и сельсовет.. Когда-то очередной новый директор круто взялся за дело: «Нужна вам дорога?» — сказал. Давайте возведем сад! Фрукты — дороже зерна! Продадим осенью яблоки — и построим дорогу». Чем не замечательно?! Разбили сад, и дождались урожая, и собрали его... Но как вывозить? Дороги размыло! Раньше-то хлебушек на лошадях возили, и далекие края обозы снаряжали. А нынче-то где они, лошади?.. Выкопали хранилище, в нем все фрукты и схоронили. Директор по весне так и объявил: «Сгнила ваша дорога...» Сад, впрочем, до сих пор плодоносит: городские жители, кому не лень, совершают набеги, уносят яблоки на горбах, сколько сил хватает..

Петька все носился с топором в лунном свете, и я — от греха подальше — вернулся в дом, заперев понадежнее двери. Квадратик экрана транзисторного телевизора казался нереальным, каким-то чудесным способом вырезанным из вертикальной плоскости оконцем — не в другую жизнь — в параллельный мир с иными пространственными измерениями! Здесь, в деревне, брошенной на выживание, затравленно вопил человек — скотник Петька, одетый в ватник и брюки-клеш моды начала семидесятых, с мужицким остроскулым лицом землистого цвета и битловой прической!.. И затравленность его проистекала, увы, далеко не от собственных сиюминутных галлюцинаций! В это время на экране благородного облика светило науки, ректор института, историк рассуждал вовсе не об исторических, не о социальных причинах, доведших соплеменников до жизни такой, а совершенно серьезно, даже как бы озабоченно предупреждал об опасности в русском народе «ложного патриотизма».

Это было год назад. С того момента я постоянно, на собрании или в бане, среди уличного митинга или в застольном разговоре встречаю и «кричащего Петьку», и проповедника, вещающего через средства массовой информации о тех или иных опасностях, таящихся в самом корневом устройстве нашего характера.

Свое интернациональное чувство я, можно сказать, доказал и выстрадал всей жизнью: у меня нерусская жена, соответственно тесть, теща и множество родни. За годы совместной жизни у нас с женой случались иногда конфликты, но никогда на национальной основе. Но в минувшем году, поддавшись общему ажиотажу, ну и в стремлении к новому знанию, я подписался на десять центральных журналов и несколько газет. И вот недавно мне родная жена, заполучив привычку прочитывать во всем этом ворохе периодики все самые бойкие и разносные статьи, объяснила в порыве чувства какие-то мои нехорошие качества... ничем иным, как моей русскостью. При этом использовала набор теперь уже ставших расхожими журналистских выражений. И я тоже — обидно за нар-р-род! — стал подыскивать в памяти что-нибудь такое, чем бы можно было вдарить по ее национальности! И что-то пришло на ум, да вдруг узрел все величие просветительской роли нашей прессы. «Давай подадим на развод, — оставалось только улыбнуться, — и напишем: на национальной почве».

А вспомнилось мне чувашское село — наломанные работой, вечно не разгибающиеся отец и мать жены, «пужьана́» свояк Юра, сельский учитель, у которого, конечно же, и хозяйство, и небольшая пасека..

Тогда, два года назад, еще в силе была антиалкогольная кампания — по телевизору показывали бизнесменов-самогонщиков, а в села набегали милицейские и общественные рейды, находили, отбирали, штрафовали... А с другой стороны вспыхнула волна публикаций о Сталине, так что только анализы его испражнений, по-моему, пока не подвергались гласности; ну, и в соответственном сталинизму страхе... И вот тогда, уже в другой чувашской деревне, более захудалой, где не осталось не только молодежи, но и людей среднего поколения, зазвали меня — уважить «вы́роса» (русского) — соседи родственников. Старик со старухой — дети, как и у всех тут, по городам и рабочим поселкам, наезжают на праздники или отгулять по своему обычаю свадьбу, напляшутся в кругу под гармошку, напоются протяжных плачевных песен, набьют сумки продуктами — и разъедутся. Ночь была. Зашли в лачугу — летнюю кухню. В подвешенном к низкому потолку на крючок закупоренном котле варево булькает, из трубочки струйка бежит... Хозяин тут же зачерпнул из банки, первым, как здесь водится, сам отпробовал, мне протянул: «Офка — давай». И я, памятуя, как в давний приезд хозяйка, чтоб угодить «выросу» лихо пела: «Я люпила лечика, потом пулемёчика...» — влупил в ответ, чтоб теперь угодить ей: «Я любила летчика...» «Тш-ш-ш, Офка, тш-ш... — зашикали старик со старухой, затрясли в переполохе указательными пальцами у губ, — услышат... Щас — о-о!..» Лес кругом! В деревушке не более пятнадцати дворов! Мы — в лачуге из почерневших тонких бревен, бьется пламя в первобытном очаге на земляном полу... Передо мной — приземистые, словно бы подраздавленные ношей люди, виновато улыбаются, желая всей душой принести мне какую-то радость... И потом, когда приглушенно простившись, я переходил сельскую улицу, ухая в глубокие, нарытые трактором колеи, хоть и было сухо; а звездное небо, не выгороженное высотками и не подернутое смогом, простиралось передо мной во весь размах — такая опять жуть нашла под необъятностью этой, такое ощущение зачумленности нашей общей, задолбленности... В голове, забитой телерадиоэфиром, все оживали захлебывающиеся в эйфории речи в страхе тридцатых и наконец-то наступившей свободе...

Не какой-то другой народ виноват, а общая длительная тотальная денационализация. Сколько десятилетий в угоду вере в новую жизнь клеймилось старое, бичевалось традиционное, осменвалось родное. Национальная рознь сегодня, националистический экстремизм — это уродливые плоды подавленного, изувеченного национального чувства. Казалось бы, надо и начинать с его оздоровления, с восстановления национальных святынь. Но кормило «борьбы за демократизацию общества» в очередной раз поворачивается таким образом, что копья и стрелы летят в то же изболевшее место, в пытающееся опамятоваться народное самосознание. Хитрость невелика: к понятию вековой традиции примешался ничего общего с тем не имеющий официоз соцреализма, к патриотизму самым откровенным фокусничеством приплелась выучка троцкистско-сталинского режима.. Дубину «царского гнета», десятилетиями нависавшую над нами из темного прошлого, сменил для пущей острастки окровавленный прут сталинизма. И опять завлекают — а как не завлечь при такой-то жизни земным раем, который оказывается — зарыдать охота! — давно уже существует! «Америка, Америка...» В самом деле, почему бы нам не зажить, как в США? Чего проще! Сдадим земли, леса, поля и реки, сдадим идеи и красавиц, нефть и газ, словом, сдадим все, крепко подзаймем — и заживем! Наиболее энергичный слой населения «за». Хотя по всей логике надо бы, — чтобы стать Америкой! — поступать наоборот, прибрать к рукам экономику, выкачивать природные ресурсы других стран. Стократ обманут человек наш, но стоит перед ним выказать противостояние существующему, а потом воскликнуть что-нибудь вроде: «Земля — крестьянам, заводы — рабочим!» — он опять верит, что это взаправду.

Примечательно: единение людей под национальными знаменами в союзных республиках бойкая демократическая паства мало сказать поощряет, пособляет ввергнуть в экстремизм — все эти слова о русском «национализме», «шовинизме», «тысячелетней рабе», «суке» и «подлости», о склонности русских к деспотическому режиму при современном положении вещей производят на взбудораженное сознание не какое-то иное действие, как подсовывание образа «врага». Не перенесешь ведь человека в миг смятения, положим, в Рязанскую область, где жизнь, следы разрухи и насилия того зримее. Где в обезлюдевших селах до сих пор исполински высятся величественные храмы — как строить умели, динамитом взорвать не могли! Стоит такой богатырь на пригорке — прямой, широкоплечий и, обязательно, без купола — как символ обезглавленной России.

При этом даже вздохи русского самосознания объявляются шовинизмом!.. Разница, видимо, в том, что националистические проявления на окраинах страны — это удар по целому, по большинству. Были бы большинством, предположим, эстонцы — в их истории и в их характере отыскивались бы сегодня темные начала. Большинство не отсоединишь, его можно только расколоть.

Претензии к некоему большинству звучат ныне повсеместно, даже в статьях о кооперации авторы взяли привычку штампованно укорять: «Привыкли считать деньги в чужом кармане». Никак народ у нас не может понять верно исторический момент! Не берусь судить, что в чьем кармане считает народ, когда у него в своем ничего не остается, но вот печать-то наша уж совершенно точно похотью изошла, подсчитывая богатства т а м.

Конечно, все это, может быть, историческая необходимость, когда одни не могут жить по старому, то бишь превращаясь в никого, а другие не могут управлять, придуриваясь никем... Но сколь не долби — Петька закричит! Или как раз то и нужно?

Недавно около стендов газеты «Московские новости» я обратил внимание на двух спорщиков: русского и еврея. Были они оба с виду из людей простых, трудовых, а потому, как повелось ныне у клана неимущих, горячо выясняли: какой из их народов более повинен в бедах наших. Беседовали мирно, не переставая распознавать человеческий взгляд напротив. Но если все более сближать полюса, унижая одну нацию, нагоняя страсти на другую?.. Да при нашей-то общей неустроенности и растерянности, при накопившемся у всех чувстве обманутости?.

Так может, как раз и нужны кому-то доведенные до белого каления петьки? Кричащие петьки разных народов?!

Мы всё видим в «Бесах» лжесоциалистов, узнаем реально существовавших впоследствии диктаторов, усматриваем признаки разбушевавшейся стихии темных народных сил... Но как-то мало задумываемся о том, что, на мой взгляд, — это трудно не заметить — было основным для самого Достоевского: об антинациональной природе «бесов». Ведь Петруша Верховенский — существо прежде всего оторванное, глубоко презревшее все то, среди чего появился на свет божий, родное. Отними у него это сладострастное презрение — ему и жить станет нечем, иссякнет весь источник разрушительной его энергии. Народный идеал — жить по совести, по чести, по правде — для Петруши Верховенского лишь низость сплошная. Суть действий его — низвержение идеала, разрушение национальных основ. А уж потом, когда подорвано объединяющее начало, спутано мирское чувство, связывавшее человека как с миром малым, общинным, так и с большим, вселенским, тогда конечно рвутся наружу пресловутые темные силы... Для Петруши Верховенского — это власть. Бесам легко притвориться кем угодно: в двадцатые-тридцатые Петруша Верховенский расказачивал бы, раскрестьянивал, заставлял доносить и расстреливал, а ныне тыкал бы гневным перстом в то жестокое время, обвиняя народ в нем, и безусловно, с мертвящим пылом в очах искал «врагов перестройки» среди лучших сынов Отечества. Бесы есть в любом народе. Хотя по существу — вненациональны.

Положение наше таково, что мы, как в чудо исцеления, готовы верить в каждого, кто обещает коренные преобразования. И чем неожиданнее, сокрушительнее прожект — тем активнее голос поддержки! Я не беру



КАРПОВ Владимир Александрович, родился в г. Бийске Алтайского края в 1951 г. Детство прошло там же, юность — в Киргизии. После школы учился во Фрунзенском политехническом институте, потом в Уфимском институте искусств, а 1972 г. поступил в Ленинградский театральный институт — сразу на второй курс. Окончив его, проработал чуть более сезона актером в Челябинске, бросил театр, уехал в деревню и стал писать.
Автор книг «Федина история» «Плач по Марии», «Нехитрые праздники» и других. По повести «Двое на голой земле» на киностудии имени М. Горького недавно завершена постановка фильма — на широкий экран фильм выйдет в начале 1990 г. Член СП СССР.

взгляд публициста

сейчас во внимание силы, преследующие выгоду, положим, стремление легализовать потайные капиталы и установить диктатуру имеющегося у них вида банкнот. Я о людях с чистыми намерениями: значительная часть населения, как-то уж было привыкшая жить не подавая голоса вообще, с накопившимся запалом принялась вскидывать руки за что угодно, лишь бы против.

Благодатно возделана почва наша для сеятелей раздора!

Если продолжить разговор о страхе, то, думаю, по крайней мере в рабочей среде тридцатых годов царил не столько страх, сколько не остывающее чувство борьбы, суровая настороженная бдительность. Признаются же старики: смерти так не боялись, как боялись поддаться вредительской агитации! Тут скорее жажда предстать чистыми перед новым божеством — будущей светлой жизнью, перед судом всевидящих потомков из лучезарного коммунизма, — святая простота, того же, впрочем, характера, что и самозабвенно вздымающиеся ныне руки за любого бесноватого глашатая... Мое же поколение, детство которого мелькнуло и растаяло вместе с веселым журчанием времен «оттепели», а все отрочество, юность и молодость остались всосанные по лысеющие макушки в годах «застоя», мое поколение жило в удивительном бесстрашии. Мы не боялись потерять ни работу, ни семью, ни родину. Мой престарелый отец, когда хочет сказать что-либо хорошее о человеке, по сей день рекомендует: «Активист». Для меня же лично слово «активист» с детских лет звучало ругательством. Ибо ничего наши управители — чья ж уж там владычья рука повелевала? — не могли придумать глупее того, что сделали: даровав нам с первыми шагами критический свободный взгляд, стали потом умалчивать, на открытом глазу вещать с высоких трибун о процветании, о «чувстве глубокого удовлетворения» советского народа. Может быть, они сами и были удовлетворены, но мое поколение стало «шизовать»: сорванное с мест, скучившееся в городах, лишенное народной памяти, оно распалось на элиты, компашки, собутыльников — крохотные миры со своим уставом, своими страстями и песнями. Объединяло одно: неприятие официального, а подчас и всего того, что существует за пределами своего круга. Не веруя в дела масштабные, общественные, автор этих строк открывал для себя: «Нам только кажется, что мы живем в большом мире. Мир узок — мир состоит из трех-четырех человеческих связей». Полагаю, не один я приходил к подобному выводу. Участие в общественной жизни многими рассматривалось как духовная нечистоплотность. Молодые силы, не находя реализации, выхлестывались бесплодными разговорами, внутримирковыми забавами, неприкаянностью, маетой и водкой. В упоении собственной отверженностью, противостоянием люди губили себя стремительно, добровольно, как выбрасывающиеся киты. Те же, в ком взяла верх практическая жилка, ринулись в торговлю, со всей энергией перенятого у власть имущих цинизма образовывая торговую мафию. Словом, мое поколение *всей своей жизнью* бойкотировало официально объявляемую жизнь!

Сейчас можно часто услышать, мол, человек наш потому такой серый, посредственный, унифицированный, что воспитание получил коллективное, подконтрольное, обобществленное. Ну, хорошо: возьмем одного очень одаренного ребенка, приставим к нему шестнадцать воспитателей — кроме того, что все писатели, все литературные герои, все исторические личности были лучом света в темном царстве, не принимали существующий строй, ничего они по нашим учебникам иного ему не скажут. Скучал Печорин или поднял топор Раскольников — виноват строй. Бунтовал Стенька Разин, брил бороды, снимал колокола с церквей Петр Первый — наши люди, революционеры! Что еще можно вынести из современного гуманитарного образования, кроме заряда отрицания? Кроме склонности к разрушению? Какие животворящие силы, укрепляющие дух?.. Мне представляется другая сказочная ситуация: группу детсадика растит Арина Родионовна... Ну не такую, конечно, в тридцать гавриков, да и еще рожденных инертным «подпольным» поколением, а скажем так: Арина Родионовна нянчит десять-двенадцать ребятишек... Толку, полагаю, будет больше. Мы серая масса не столько потому, что жили под колпаком обобществленности, сколько потому, что разобщились, отлученные от света народного идеала.

Потому податливы на воззвания, спешно хватаемся в сутолоке за первое попавшееся знамя, начинаем неистово им размахивать, не замечая, что другим концом опять бьем по головам соотечественников.

Слушаю героев фильма «Дети XX съезда». Все верно, искренне. Но... Хоть и более раннее поколение, узнаю все те же «приметы формирования». Прекрасно, что люди способны выявить личностное критическое отношение к тем или иным событиям. Но одно дело — указать темень, другое — осветить путь. Ничего, кроме известной борьбы с социальными условиями, они не предлагают. Умиляет и непременное — характерное времени — стремление предстать гонимыми. «Мы, — оповещает известный телекомментатор, — сейчас допеваем свою песню». В этих словах есть своя грусть, однако со стороны берет недоумение: телекомментатора, как и не менее известного поэта, который, поспешая за обгоняющей славой, кажется, задался целью посостязаться с природой и сокрушить свой божий дар, — и постоянно наблюдал на экране, читал их опусы в печати во все междуперестроечные годы, даже кое-что грешным делом выучил наизусть... В моем восприятии они и были нашими духовными вождями. Так что же, спрашивается, они нам пели?..

Свободомыслие бьет ключом: еще недавно редакторы возвращали рукописи со словами сожаления по поводу «мрачности», «негативщины», «темных сторон...» И вот уже сам главный редактор, приобретая все большую популярность, сетует на обвинение в очернительстве, не желая закрывать глаза на негативные явления! Правда, внутри-то редакций появился совсем иной путь претензий: «антиперестроечные настроения». «Это не антиперестроечные! — восклицает автор, — это против наносного, губящего перестройку!» Далее следует хорошо знакомое: «Да мы-то понимаем, но...» Пусть бросят в меня камень, если кому-то приходилось читать в наши дни публикацию, не отражающую негативных явлений. Вопрос — что есть истина?

На Шукшинских чтениях в Бийском драмтеатре разгорелся спор: чего же у Василия Макаровича от народа больше — христианского мировоззрения или языческой стихии? Послушал его известный кинорежиссер, а точнее, припозднившись где-то, уловил направление одной волны и возмущенно обратился к залу: «Да читали ли вы Шукшина?! Шукшин выразил распад...» Зал сначала притих, настороженно, болезненно реагируя на это разделяющее «вы», а потом стал глушить оратора аплодисментами. Люди не приняли «распада». В самом деле, не могли же они полюбить художника за песнь о собственном вырождении!

В определенном смысле Шукшин выразил распад — ломается уклад, рушатся представления. Но в том-то и дело, что в душе шукшинского героя распада нет. Под натиском надвигающейся новой жизни душа его заболевает, мечется, полнится надрывным криком именно потому, что жаждет полнокровной реализации духовных сил, пусть на пределе, но сопротивляется, рвется к жизни по тому разумению, которое было даровано человеку от роду!

Не просто вызволить из оков быта нашего силы духовные. А сработать на недовольство, вызвать озлобление, для пущих терзаний набальзамировав воздух сладкими запахами закордонной жизни, дело нехитрое — ни ума не надо, ни сердца, ни таланта. Один из наших, по-своему одаренный и конечно же преуспевающий, творец иронии и развенчивания спросил на встрече с молодыми монгольскими писателями: «Почему великий монгольский народ живет бедно?! Почему в Улан-Баторе до сих пор стоят два памятника Сталину?!» Он ориентировался на нашу, раззадоренную, всегда готовую поддержать возмущенный голос аудиторию. Но ответ был таков:

«Наше богатство — наши степи. Мы плевали на Сталина тогда, когда вы ему поклонялись. А теперь — пусть стоит. Как напоминание. Мы не разрушаем могил». «Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с места они не сойдут», — сказано было Р. Киплингом.

Однако самое любопытное в потоке сегодняшней «негативщины» — это сталинско-брежневский времяутверждающий тон! В двадцатые годы — мы верили, что умнее, чем во все предыдущие столетия; в тридцатые — верили, что стали умнее, чем в двадцатые, в пятидесятые — чем в тридцатые; в шестидесятые-семидесятые — посмеивались над приверженцем кукурузы, ну а сегодня — просто захлебываемся в эйфории своей правоты! И не смей усомниться, притаившийся враг перестройки! Как бы нам, многонациональному государству, выбраться из этого младенческого восприятия жизни. И не ломать человека под устройством нового разумного общества, а как-то приспосабливать его устройство под характер народа. Японцы, если уж оглядываться на других, ни императора не свергали во имя прогресса, и уж тем более не отказывались от традиций.

К концу семидесятых немало людей, намаявшись неприкаянностью, поистерзав души в тенетах мистики, притомившись богемными играми, словом, вогнав социальную болезнь внутрь психики своей, стали искать исцеления, обретать духовную опору в движении к вековому, в постижении самих себя, как представителей людской общности, существующей во времени, в связи со всею судьбою народа и мудростью его. Не без помощи живого потока литературы, рожденной скорбью по утраченной силе, пробившейся также в открывшиеся шлюзы двадцатого съезда, это происходило. И вот именно эту-то мысль, выстраданную в безверии, явленную как сопротивление давящему бюрократическому взгляду и растаскивающим подспудным поветриям, сегодня наиболее активно уминают в застойную плесень умельцы перевертышей.

Но это не та страна, не те народы, которые можно объединить, развив предприимчивость и подняв работоспособность одной лишь жаждой обогащения. Как бы ни казались в суматохе излишними хлопоты об идеале, но без его возрождения не станет конвертируемым и рубль. Слишком трудным и жертвенным был путь наш, чтобы жизнь могла уткнуться в плотскую дилемму: рубль или сила? А потому уже платим, и можем заплатить еще более дорогой ценой за то, что начали общее дело с рубля и заботы об абстрактной свободе. Убежден, если бы перемены были изначально ориентированы на возрождение, восстановление духа с его полнокровной исторической памятью, национального достоинства, чести, — не имели бы мы сегодня в среде подрастающего поколения столь повального проявления жестокости, патологического непонимания разницы между добром и злом. Товарная фото-кинопродукция усугубила положение: Запад привыкал к ней постепенно, научился относиться как к чему-то отвлеченному, как к душещипательной забаве. На нас же она обрушилась лавиной. Но самое-то худое даже не в этом — не имея иного направления, кроме зачарованности всем иностранным, молодые люди воспринимают ее как основной признак жизни *развитых стран*. Силу, изъяв дух, не подомнешь рублем; она дает о себе знать самым уродливым образом.

Сын смеется над отцом, элиту не устраивают массы, бедные точат зуб на разбогатевших, один народ сгоняет с земли другой... Вон армянские беженцы рядом поселились — ладно бы толстосумы какие, хоть как-то можно понять, так ведь нет, самые слабые, самые беззащитные... (Может, американцам предложить столь передовой наш опыт — пусть разъедутся, оставят земли коренному населению!..) «Место, которое покинул друг, занимает враг», — гласит горская пословица. В ситуации подобного разобщения, как показывает история и все нашептывает в апокалипсическом страхе сердце, у руля должны оказаться те, кто готов к крайности, к краху. Петруша Верховенский, действуя от имени высших интересов, играл на слабостях людских, на обиженности и бесправности. Сегодня, как представляется мне, ему было бы удобно зазывать на борьбу — с чиновниками ли, не беда, что сам при должности; со своим ли собственным народом или с народом иным... Лишь бы глох в оре здравый смысл, лишь бы теряли люди изначальную цель, лишь бы властвовать.

Говорят, уничтожен генофонд. Да, конечно, во многом это так. Но война показала, когда народ сплочен, а люди, подобные герою «Бесов», не в силах помешать общему делу, нарождаются личности.

«Алтай» — не только созвучное, но и в переводе с тюркских языков имеющее то же значение слово, что и «алтарь». Возвышение, соединение.

Когда в заключительный день Шукшинских чтений на Алтае, я подъезжал к Сросткам, родине Василия Макаровича, гора Пикет настолько была заполнена людьми, что казалась громадным распустившимся бутоном — тысяч сорок, говорят, было!..

Болгарский писатель признавал влияние Шукшина на собственное творчество, литературовед из США размышлял о связующей силе его фольклорных корней с жизнью современной, определившей Шукшина как явление литературы мировой... (А нас-то всё уверяют, что наших писателей *там* не знают: видимо, с кем поведешься...) А мне думалось, что люди пришли помянуть уже не писателя, режиссера и актера — пришли поклониться национальному герою. Хоть на миг утолить спасительную для себя потребность в духовном единении.

Я не знаю, что может принести нам мир и покой. Правовое государство, восстановление религиозного чувства, налаженный бизнес или в очередной раз пущенная кровь. Силы небесные, если таковые есть, думаю, простят нам сегодня наше незнание. Но не простят притворства, шельмования, презрения, как не простят и податливости на голос унижающий, стравливающий, не простят глухоты, повернутого к людям затылка.

Если бы упомянутый режиссер, только что объявив себя верующим христианином, не ушел, обидевшись на народ, то увидел бы молодого ученого из Новосибирска с шукшинским напряжением в надбровьях и страдальчески подрагивающими желваками. Зная, что слова больше не дадут, а кичащимся смелостью журналам не до его мыслей, он с чрезмерной горячностью заговорил о развитии электроэнергетики в стране. Не только с точки зрения экологии, почти кричал ученый, мы экономически задохнемся, осуществляя непосильный план развития, ибо по-прежнему нацелены наращивать и обгонять... Но, увы, для большинства в зале он был тем же, кем для меня был год назад кричащий на пустыре под Рязанью Петька.

Тогда я еще не видел того, что открылось воспаленному Петькиному сознанию.

А примнилось ему, как потом он поведал, что черти, среди которых оказались и бывшие односельчане, вытаскивали из подполья картошку и сжигали на пустыре... Петька, оказывается, не просто носился, а пытался отстоять родную деревню. И вот, когда нечисть покончила с картошкой и запалила дома, Петька сквозь огни увидел идущего по реке, по поверхности воды священника. «Как бросится в реку, — рассказывал старик, оказавшийся на берегу, — бредет, руку вытянул, голову так запрокинул и орет, вот скажи, прямо дрожь пробирает: «Возроди! Возроди!..»

Тогда это «возроди» меня поразило. А теперь тоже хочется взмолиться: не как верующему или атеисту, а как человеку, любившему мать, выросшему среди большой родни, имеющему детей. Не надо жечь, раздувать пламя — там, где полыхали пожарища, можно лишь, воззвав к отчему духу, возродиться из пепла.

●

ЛЕВ СКВОРЦОВ,
доктор филологических наук

ИДЕИ НОВЫЕ — ШТАМПЫ СТАРЫЕ

ШТАМП — заимств. из немецк. Stampfe, итальян. stampa «печать» (буквально «оттиск, штемпель»). Первоначально орудие для тиснения, чеканки.

Краткий этимологический словарь русского языка.

В этой статье речь пойдет о штампах, клише и фразах (фразеологизмах). Что же их объединяет? В одном из значений всё это — избитые, шаблонные, стереотипные выражения.

Мы поговорим о природе речевых штампов, условиях их появления, а также о том стилевом и смысловом омертвении, которое они вносят в наше общение, о подмене живых дел и понятий закостенелой фразеологией, опустошенными по существу и не всегда правильными по форме лозунгами.

Одна из самых существенных внутренних черт механизма языка состоит в **п о в т о р я е м о с т и**, воспроизводимости готового лингвистического материала. Да иначе и не может быть. В самом деле. Как мы могли бы общаться, быстро и точно понимать друг друга, если бы творили свою речь «заново» (и «по-своему»!) всякий раз и если бы не опирались на уже созданное до нас? Вряд ли было бы возможно такое «творческое» взаимообщение и взаимопонимание.

Но тут есть, однако, и свои опасности. Повторяемость — как чисто языковое свойство — оборачивается своей дурной стороной. Слово теряет свою содержательную наполненность, тускнеет, как медная монетка от частого употребления, превращается в название, в простую этикетку. Фиксированные лозунги и формулы теряют идеологическое содержание; их постоянное повторение автоматизирует наши ассоциации и, значит, ослабляет силу впечатлений. Они «скользят» на слуху, ибо в них затухает мысль. Такие черты расхожих лозунгов, как их настойчивость, упорство, надоедливость, были отмечены языковедами еще в начале 20-х годов. Все эти призывы *«Долой* (то-то и то-то)!», *«Даёшь* (то-то)!», *«Да здравствует...!»* и т. п. По поводу последней формулы проф. А. М. Селищев рассказывает в книге «Язык революционной эпохи» (М., 1928) следующий эпизод. На одном из рабочих собраний (дело происходило в марте 1925 года) выступавшая закончила свое приветствие так: *«Да здравствует* наш вождь Владимир Ильич Ленин!» И слушатели тех лет восприняли эту нелепую «здравицу» как должное, настолько въелись в их сознание повторяемые повсюду призывы и воззвания.

А чем лучше наши сегодняшние бесконечные *«Больше внимания...* (чему-то или кому-то)!», *«Крепить* (трудом)...», *«Рубежи...»*, *«Приоритеты...»*, *«Все силы делу...»* и мн. др.? Ими пестрят страницы наших газет, без них не обходятся доклады, лекции, выступления, тексты массовой (наглядной) агитации. Образ (если он когда-то и был) превращается в погремушку, за высокими или даже высокопарными словами нет уже мысли и чувства, и сама агитация грозит превратиться в политическое пустозвонство. И не случайно В. И. Ленин был яростным врагом революционной фразы и пустословия. «Рыцари революционного краснобайства», «господа герои фразы» были его постоянной мишенью. Владимир Ильич обрушивал на них всю мощь своей разящей иронии и справедливого гнева.

Статья продолжает разговор, начатый в № 10 за 1989 год.

Вопрос о штампах и стереотипах надо ставить в связь с общей проблемой культуры речи. Но и не только с этим. Находясь в постоянной атмосфере лозунгов, плакатов, призывов, мы можем в конечном счете перестать на них реагировать. Значит, происходит девальвация слова, падение «курса языка», а за ними кроется большая социально-нравственная, идеологическая опасность. Принижается и подрывается роль слова как могучего фактора жизненной борьбы.

Нельзя подолгу играть на психике человека одним и тем же смычком. В штампованной речи происходит утрата реальных коммуникативных функций. В призывах и расхожих штампах остаются их «призывность» и штампованность. А все смысловые ассоциации или живые эмоции из них уходят. Отсюда — желание заменить штамп, обновить лозунг. Да вот парадокс: на смену старым, отжившим штампам... приходят штампы «новые»! Такова природа «лозунговости», отсюда и причина живучести языковых трафаретов.

Вот лишь несколько примеров наиболее частотных «формул злободневности», которые еще несколько лет назад казались такими свежими и полными нового смысла, а ныне во многом навязли в зубах:

«Энергичнее перестраивать экономику»,

«Резервы экономики — *делу перестройки»*,

«Ускорять перестройку *делами»*,

«Практическими *делами углублять* перестройку»,

«Быть в авангарде перестройки»,

«Крепкая дисциплина труда — ***активная помощница*** перестройки».

Лозунги сами по себе, конечно же, правильные. Каждый в отдельности. Но ведь они сосуществуют в широких контекстах и как бы «сталкиваются» в них. Вот и получается, что рядом просто с «делом» появляется «дело перестройки», и это «дело» или «дела» одновременно и «ускоряют» и «углубляют» перестройку (или «дело перестройки»?). *«Ключевым фактором* успеха» (тоже излюбленная формула наших дней) может быть объявлено то одно, то другое — в зависимости от желания автора. Конструкция со словом «экзамен» («стать экзаменом») в одной и той же центральной газете применяется — в одно и то же время — к таким несопоставимым вещам, как национальные отношения и... уборочная страда:

«Национальный вопрос *стал* серьезнейшим *экзаменом* на зрелость партийных организаций»;

«Страда, вступившая в свои права (а уж эти «права» тоже обязательны и незаменимы!), *становится экзаменом* для всех».

И там же вскоре: «Сегодня партия *держит* своего рода *экзамен* перед народом».

В большой моде и в большом, следовательно, ходу у многих современных авторов слово «приоритет» с его производными. Например:

«Чему отдать *приоритет*»,

«Приоритет — решению экономических проблем»,

«О *приоритетности* заказов агропрома»,

«Приоритетное развитие производства»,

«Приоритетные газетные темы»,

«Определить *приоритеты* репрессий, исходя из реальности»,

«Главным приоритетом на ближайшие месяцы и годы должно стать решение проблемы продовольствия»...

Как видим, самых разных «приоритетов» в наши дни становится так много, что я не удивлюсь, если наряду

с «главным приоритетом» появятся «первый приоритет», «основной приоритет» и другие подобные им избыточно-опустошенные конструкции. Ведь согласно словарям, «приоритет» и есть «первенство, главенство» (от лат. prior «первый»).

Одна из последних «новинок» в области новомодных штампов — конструкция «в контексте» (обычно со словом «перестройка», но и не только с ним):

«В контексте перестройки»,

«В контексте развития перестройки»,

«Надо не подавлять национальное, а включать его *в контекст* перестройки»,

«В контексте общей ситуации»,

«В контексте укрепления суверенности республик» и т. п.

Скажем прямо, что за такими словами, как «альтернатива» и «альтернативность», «взвешенность», «плюрализм» (мнений), «консенсус», «диалог», «переломный», «судьбоносность», «неоднозначность», «подвижки», «прорывы (во что, куда-нибудь)», «определиться», «конверсия» и т. п. сохраняется определенная новизна и актуальность: в отражении новых подходов и принципов, современного мышления и понимания, новых задач и т. п. И как знать, не станут ли многие из них символами нашей эпохи — наряду с такими явными лидерами по этой части, как «гласность», «демократизация» и сама «перестройка»?

К сожалению, новый политический лексикон (а следовательно, и новое политическое мышление!) с большим трудом осваивается в нашей текущей партийной работе, где предпочтение отдается «проверенным» оборотам и формулировкам. Журналист «Известий» А. Соловьев в статье, которая так и называется — «Неувядающие штампы» (речь в ней идет о работе одного сибирского обкома партии), рассказывает:

«Беру в руки проект постановления и читаю то же, что и пять лет назад: «Активно формировать»... «Повышать уровень...» «Принять решительные меры...». Широкие абзацы неувядающих штампов. Бог бы с ними, но как раз решительных мер-то и нет». Прав журналист: не сами по себе штампы плохи (хотя ясно, что их обилие вредит речевой культуре), а то, что они своей пустотой заменяют такие же пустые дела, а то и прикрывают отсутствие каких бы то ни было дел.

Штампы бывают разные. Прежде всего, это разного рода устойчивые словосочетания типа «включиться в борьбу», «принять меры», «проявить инициативу», «усилить внимание», «держать в поле зрения», «на сегодняшний день» и т. п. Затем — это так называемые постоянные определения: если *мероприятия* — то непременно «практические», если *меры* — то обязательно «действенные» или «решительные», *внимание* — «неослабное» или «постоянное», *поддержка* — «активная», *массы* — «широкие» или «широчайшие» и т. п.

У чешского писателя-сатирика К. Чапека на расхожих штампах газетного репортера построен целый рассказ «Эксперимент профессора Роусса». В нем старый волк-репортер Вашатко посрамляет модного психоаналитика (определявшего по словесным ассоциациям характер человека и его самые сокровенные мысли). После блестящего опыта над убийцей, профессор Роусс начинает опрос репортера, не зная, кто он такой: «Дуб, — бросил профессор. — Могучий, — прошептал испытуемый; — Торговля? — Процветающая; — Рука? Братская рука помощи. Рука, держащая знамя. Крепко сжатый кулак. Не чист на руку. Дать по рукам» и т. д. Наконец: «Стихия? — Разбушевавшаяся. Стихийный отпор. В своей стихии.. — Довольно! остановил его профессор. — Вы журналист, а? — Совершенно верно, — учтиво отозвался испытуемый»... Продолжать эксперимент с таким «трудным» испытуемым было невозможно, и профессор-психоаналитик прекратил свои расспросы и извинился перед собравшимися.

К штампам можно отнести и нарочитое употребление одних и тех же слов, их повторение в различных текстах и разных жанрах: «труженик» и «труженики» (полей), «довелось», «осуществлять» и «осуществление», «завоевания» и мн. др. Или избыточность предлогов и предложных оборотов: «в деле», «в связи», «в этой связи», «в разрезе», «по линии», «по части», «в целях» и т. п.

Надо заметить, что многие из словесных шаблонов и трафаретов в своих первых употреблениях могли отличаться известной образностью и эмоциональной силой. Однако от времени (и от частого употребления по разным поводам и в разных стилевых «регистрах») они стерлись и выветрились, стали не только безликими, но подчас и бессмысленными. Например: «в эпицентре (события)», «проходить красной нитью», «форум (свекловодов)», «получить (постоянную) прописку», «выйти на рубеж (чего-нибудь)», «быть в (постоянном) поиске», «горячая точка» и «болевая точка», «держать руку на пульсе (чего-нибудь)», «пульс планеты» и т. п.

Штампы существуют не только «на уровне единиц речи», но и «на уровне текста», то есть при его построении, композиционном оформлении. Яркий пример последнего — сцена торжественного митинга в Старгороде по случаю открытия трамвайной линии (в романе И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев»). Все выступающие на митинге — как один — с трамвайных рельсов неминуемо сбиваются на... международные темы (в соответствии с тогдашней манерой говорить «глобально», «в масштабе эпохи»). И даже уставший к вечеру от всего этого инженер Треухов, решив рассказать о своих конкретных строительных делах, начал и кончил свою речь... анализом международного положения!..

Конечно, штамп штампу рознь. И далеко не всякие слова и выражения автоматически «стираются» от постоянного или частого употребления. Возьмите формулы вежливости («спасибо», «пожалуйста», «будьте добры» и др.), этикетные фразы обращения, прощания и др. Они ситуационно оправданны, исполнены искреннего чувства и живого смысла. Не тускнеют от употребления слова-символы и крылатые слова, пословицы, поговорки и присловья, несущие частичку многовекового опыта или ироничную усмешку народного гения.

Точно так же не стираются от употребления и не теряют своего грязного смысла грубые ругательства, матерщина и брань, — словесно оскорбляющие тех, к кому обращены, и нравственно характеризующие тех, кто их произносит.

В теории и на практике нередко разграничивают **ш т а м п ы**, с одной стороны, и **с т е р е о т и п ы** (или **с т а н д а р т ы**) - с другой. Разграничение это во многом условное, не строгое, но оно помогает выявить некоторые механизмы бытования словесных трафаретов или блоков разных типов. Понятно, конечно, что они могут переходить друг в друга. Всё зависит от функциональной (стилистической, структурно-текстологической, содержательной и т. п.) оправданности выбора и применения речевых единиц.

Объективно устойчивые элементы языка выступают в двух ролях, или функциях.

В первой — это необходимый в ряде жанров и стилей элемент речи (**с т е р е о т и п**). Там, где необходимо обращение к точным формулировкам, речевым клише, которые обеспечивают однозначность и быстроту понимания. Прежде всего и по преимуществу это область официального общения: канцелярская, деловая речь, юридическая сфера (язык законов, декретов и распоряжений), дипломатическая деятельность (язык соглашений, договоров, коммюнике и т. п.), общественно-политическая область (язык резолюций, решений, постановлений, обращений и т. п.).

Взять, например, формулы документоведения. Их структуры складывались веками и по традиции сохраняют принятую композицию — специфические «зачины», переходы, концовки и т. п. Для жанра документов характерны сугубо письменные обороты речи, отвлеченные слова, глагольные конструкции: «вышеуказанный», «вышеозначенный», «данный», «настоящим сообщаем», «высокие договаривающиеся стороны», «поставить вопрос», «уполномочен заявить», «сего числа» и мн. др.

Во второй функции те же самые официальные обороты

и формулы, выходя за пределы специального употребления и органичного для них жанра, воспринимаются именно как штампы в собственном смысле слова, как стилистический дефект речи.

Так, употребляемые вне официально-делового стиля канцеляризмы — тоже часть словесных штампов, при этом весьма заметная и стилистически ярко окрашенная. На уровне текста — это утяжеленные конструкции, «цепочки» зависимых друг от друга косвенных падежей, особая интонация модальности, или долженствования («необходимо», «надлежит», «считать», «в этих целях» и под.). А на уровне единиц речи — слова и конструкции типа «иметься», «вследствие», «в силу», «по причине», «в разрезе», «по вопросу» и мн. др.

Канцелярский стиль дореволюционных царских циркуляров жестоко высмеян В. И. Лениным на примере документа, составленного в ведомстве министра внутренних дел Д. С. Сипягина: «...на девять десятых — циркуляр наполнен обычным казенным пустословием... великолепный канцелярский стиль с периодом в 36 строк и с «речениями», от которых больно становится за родную русскую речь» (статья «Борьба с голодающими», ПСС, т. 5, с. 277—278).

Канцелярский, чиновничий язык был настолько ненавистен А. П. Чехову, что он даже в частном письме отмечал: «Какая гадость чиновничий язык! «Исходя из того положения»... «с одной стороны»... «с другой же стороны» - и все это без всякой надобности. «Тем не менее» и «по мере того» чиновники сочинили. Я читаю и отплевываюсь»... (письмо А. С. Суворину, 24 августа 1893 года).

Но разве только прошлым периодам нашей письменной речи были присущи запутанные канцелярские фразы? Отнюдь нет. Вот лишь некоторые образчики из газет лета-осени 1989 года:

«...*решительно взяли курс* на *оздоровление* национальных *отношений*»,

«создание *реальных условий*, способствующих *усилению* их (Советов) *внимания* к насущным *вопросам жизни* людей»,

«*безотлагательно* сосредоточить *внимание на решении* самых неотложных *проблем*».

Последняя из приведенных фраз весьма характерна для штампованно-канцелярской речи: не говоря уже о повторении «безотлагательно» и «неотложных», в ней не очень-то ясно, что же нужно делать — «сосредоточить внимание» и этим ограничиться или все-таки «решить проблемы», раз уж они такие «неотложные»?

Или еще подобный период: «...*ускорение проведения* в жизнь *мер по расширению* прав (местных Советов), *усилению* их *внимания к решению*... вопросов...» и т. д.

Опять-таки не «решение вопросов», а всего лишь «усиление внимания» к их решению! Обычная для штампованной речи «распространительность», уводящая от существа дела и от конкретности действий, их результативности. «В осенний период времени» — вместо «осенью», «принять меры по проверке» — вместо «проверить», «внести вклад в борьбу за комплексную механизацию» — вместо «механизировать» и т. д. Все это — типичный «упаковочный» материал, где и слово обесценено, и сама мысль-то в сущности убита. Иначе, впрочем, и быть не может: стереотип слова или выражения приводит к стереотипу мышления, следовательно, к отсутствию работы мысли, к ее остановке, гибели. Значит, не так-то уж и безобидны штампы речи, раз в них борются и побеждают (а возможно, и терпят поражение — причем не без нашей помощи!) элементы очень значимой триады: Слово — Мысль — Дело.

●

МИКРОРЕЦЕНЗИИ

УТОПИЯ УЧЕНОГО

После многолетнего замалчивания вернулось к нам «из глубины» и это имя — Александр Васильевич Чаянов. Труды крупнейшего русского экономиста, аграрника 20-х годов, в том числе и литературные его труды, подтверждают несомненный факт, что Ломоносовы были у русского народа и в XX веке, только этот век оказался куда более беспощадным к ним.

Чаянов, конечно, был человеком, намного опередившим не только свое, но и наше время. Во всяком случае, одна из его повестей «Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии» переносит читателя в ирреальный 1984 год (оказавшийся мистически притягательным для утопистов), когда победившие крестьянские партии давно превратили страну в огромный сад, в оазис изобилия, расцвета искусств и личности. Утопия Чаянова разительно отличается от жанра мрачных и зловещих утопий, точнее, антиутопий-предостережений живой человеческой душе, погибающей в насильственном «казарменном раю». В своей едва ли не самой гуманизированной утопии, какую только знает литература, так как в этой повести главенствует авторская мысль о ценности отдельной личности, Чаянов оказался более «романтиком» и менее «реалистом», нежели Е. Замятин, А. Платонов, Дж. Оруэлл или О. Хаксли, ибо полагал возможным скорое усовершенствование природы человека. Люди в повести Чаянова лишены жажды власти над себе подобными, жестокости, а альтруизм предстает там самым естественным и обычным человеческим свойством. В их жизни, кстати, вполне находится место и «плюралистическому миропредставлению». Но во всем этом, разумеется, есть и немало горечи автора, писавшего свою повесть в 20-е годы, видевшего пагубность и агрессивность многих разрушительных идей и действий, которые «раскультуривали» и бесконечно опошляли жизнь человека.

И как литератор, и как ученый Чаянов верил, знал, убеждал в том, что основа благополучия государства — процветающее сельское хозяйство. Поэтому огромное внимание уделял он «аграрному устроению» русской деревни и свободной крестьянской кооперации. Есть, наверное, в работах ученого и уязвимые места. Но совсем не это важно для нас, а другое. Он предлагал формы не натужной, не насильственной, а естественной, удобной для крестьянина и добровольной кооперации. Если бы у нас получила развитие крестьянская кооперация, изначально свободная от административного и бюрократического диктата и подавления любой инициативы, если бы не страх, не желание отрапортовать начальству двигало сельским тружеником, то никогда такая кооперация не привела бы к тяжелейшему кризису.

Чаяновская идея крестьянской кооперации обновила, вобрав в себя все лучшее из того, что складывалось веками, форму крестьянской общины. Ученый верил в то, что кооперация в его понимании, то есть самостоятельность и организованная местная инициатива, — единственный для русского крестьянина путь, сбившись с которого, он погибнет. Не удивительно, что идеи Чаянова не получили развития при том отношении к «дикой», «отсталой» русской деревне, которое утверждалось в 20-е годы. Горько сознавать, как далеки оказались здравые убеждения ученого от реальной действительности, от волюнтаризма разного рода перекройщиков крестьянских жизней и судеб.

Л. МЕШКОВА

Чаянов А. В. ИЗБРАННЫЕ ПОВЕСТИ. — М.: Прометей, 1989.
Чаянов А. В. КРАТКИЙ КУРС КООПЕРАЦИИ. — Томское кн. изд-во, 1988.

КНИГОЧЕЮ НА ЗАМЕТКУ

Аллилуева С. И. ДВАДЦАТЬ ПИСЕМ К ДРУГУ: Репринтное воспроизведение изд. 1967 г. — М.: СП «Вся Москва», 1989. — 111, 216 с. — 5 р. 100 000 экз. — При участии изд-ва «Книга» и Моск. типографии № 7 «Искра революции».

Пархомовский М. СЫН РОССИИ, ГЕНЕРАЛ ФРАНЦИИ: Об удивительной жизни З. А. Пешкова и необыкновенных людях, с которыми он встречался. — М.: Моск. рабочий, 1989. — 270 с., ил. — 75 к. 15 000 экз.

Белозерская-Булгакова Л. Е. ВОСПОМИНАНИЯ Сост., послесл. И. В. Белозерского. — М.. Худож. лит., 1989. — 223 с., ил. — 1 р. 50 к. 100 000 экз.

Молева Н. МАНЕЖ. ГОД 1962: Хроника-размышление — М.: Сов. писатель, 1989. — 270 с. — 3 р. 5000 экз.

Одоевцева И. НА БЕРЕГАХ НЕВЫ: Лит. мемуары. — М. Худож. лит., 1989. — 334 с. — 2 р. 250 000 экз.

Одоевцева И. НА БЕРЕГАХ СЕНЫ. — М.: Худож. лит., 1989. — 333 с. — 2 р. 500 000 экз

ИСКУССТВО

Графика. Живопись. Скульптура.



Ландшафтная архитектура — особый род человеческой деятельности, направленный на организацию открытого пространства, его эстетического оформления, облагораживания, воссоздания образа родного края. Средства ландшафтной архитектуры — природные материалы — камень, вода, растительность... Много надо знать, чтобы создать благоприятные, комфортные условия для жизнедеятельности человека, удовлетворить его насущные потребности в отдыхе на открытом воздухе, способствовать духовному обогащению личности. Незабываемы русские ландшафты усадебных резиденций и парков Петродворца, Ораниенбаума, Пушкина под Ленинградом, Кускова и Архангельского под Москвой... Их построили в свое время выдающиеся мастера-паркостроители — гордость русского зодчества.

Профессия ландшафтного архитектора, к сожалению, мало популярна у нас. Утрачиваются традиции. Разрушается образ родного края. Деформируется природная среда. Некому восстанавливать обезображенный до неузнаваемости русский пейзаж...

Анатолий Анатольевич Анненков — один из немногих специалистов в области ландшафтного проектирования и строительства. Он окончил Московский лесотехнический институт в 1960 году. А на год раньше в этом институте (а также в Ленинградской лесотехнической академии им. С. М. Кирова) были закрыты факультеты зеленого строительства, где готовили «зеленых зодчих» для работы по восполнению природных ресурсов страны, созданию объектов озеленения. Закрыли факультеты по недомыслию высоких чинов в министерствах, мало сознавая, чем это грозит и каков будет результат. Анатолий Анатольевич успел получить профессиональную подготовку на «зеленом» факультете. Как выпускник он был распределен на юг страны, сначала попал на Кавказ, а затем прочно осел в Крыму, на Южном берегу в Никитском ботаническом саду. Начало деятельности было нелегким, но плодотворным. Работая в степном отделении Никитского сада, Анатолий Анатольевич не только много проектировал, но и самолично воплощал проекты в натуре — строил, разбивал дороги, площадки, высаживал деревья и кустарники по проекту, следил за работами по уходу за растительностью. Сейчас уже шумят листвой парки, созданные в тяжелых засушливых условиях степного Крыма. Это парки совхозов и колхозов — «Золотое поле», «Россия» Красногвардейского района и др.

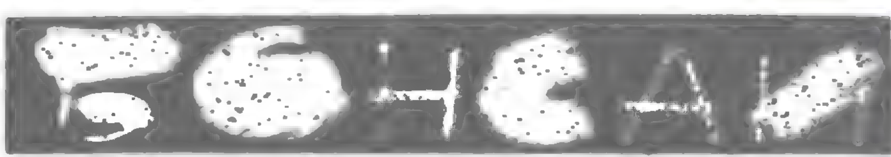
С 1964 года Анненков работает непосредственно в Никитском ботаническом саду, в отделе дендрологии, а затем в специализированной мастерской ландшафтного проектирования. Надо сказать, что на Украине в те годы ландшафтная архитектура была на подъеме. Анатолий Анатольевич проектирует парки Южного берега Крыма. Сначала это парк на мысе Монтадор с верхней и нижней частью, с розарием, прудами-каскадами, водотоками. Затем, более крупные работы: санаторные парки «Крым», «Россия», «Южный» и др. Со временем накапливался опыт работы в сложных экологических условиях, возникали мысли о новом подходе проектирования, проведения изыскательных работ. В конечном итоге был разработан и предложен новый метод, который позволил учитывать комплекс действующих природных факторов при формировании парковой среды. Детальное обследование территории парка, анализ и оценка ландшафтных особенностей местности позволили решить сложные вопросы пространственной структуры объекта, подобрать устойчивый ассортимент растений, спроектировать выразительные композиции, включающие рельеф, растительность, водоемы, сооружения. Дальнейшее осмысливание привело к идее организации всей территории Южного берега Крыма как неповторимого ландшафтного комплекса. А. А. Анненков участвовал в разработке схемы природоохранительных мероприятий по корректировке Генерального плана Большой Ялты; рекомендации ученого легли в основу проекта.

А. А. Анненков — человек разносторонних способностей. Он проектирует и озеленение интерьеров. Еще в 1965 году им создан уникальный зимний сад на ВДНХ, за что он был награжден серебряной медалью выставки. Выдающийся мастер-паркостроитель, он автор многочисленных работ по оформлению внутренних пространств различных типов зданий. Последняя по времени крупная работа Анненкова — парковый комплекс «Заря» в Форосе.

ВЛАДИМИР ТЕОДОРОНСКИЙ,
профессор, доктор наук

ЕЛЕНА ПЛАХОВА

ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР



беседа в Никитском саду

Они покоряют, я это знаю. Я вижу, как медленно отрывают от них взгляд люди. Всматриваются в них. Любуются ими. Очарованы? Стараются постичь их суть? И не постигают ее, конечно, за те минуты, которые отпущены на созерцание. Законы выставки в небольшом зале жестоки: толпа медленно движется, как вода в лесной речке, но течет неустанно. Так Москва ходила на свидание с Моной Лизой великого Леонардо. Взгляд застывает на мгновение — и тебя подталкивают сзади. Ты идешь — и уже другой экспонат в поле зрения попадает. В данном случае другой бонсаи — дерево в плошке. Можно ли, скользя, постичь его символику? Можно ли «посредством малого увидеть великое», постичь искусство человека, на небольшом пространстве отразившего бесконечность природы, Вселенной?.. Но как трудно отвести глаза!.. Потрясение, близкое удару током.

Впрочем, не все однозначно. Кому-то деревца — цветущие или как бы изломанные ветром, выросшие на камне — с полым стволом, взлохмаченной кроной, но все они — карлики, карлики, карлики! — покажутся некими болезненными плодами изощренной фантазии естествоиспытателя. Чем-то вроде крошечных ступней китаянок средневековья. Явлениями одного порядка. Эта особая эстетика, изящество маленьких шажков, женственной походки достигались разными ухищрениями — увы, очень мучительными физически. Насколько мучительно для дерева все, что проделывает над ним человек, стремясь придать нужную форму, замедлить рост, вызвать плодоношение? Любовь ли им руководит, и не лучше ли оставить все таким, как сотворила природа?..

Так что ж такое бонсаи?.. Посвященные говорят, что искусство выращивания деревьев в плошке пришло к нам из Японии. Это, несомненно, искусство, стóит лишь осознать красоту цветущих, шумящих на ветру листвой деревцев — трогательно-беззащитных, прелестных. Даже логически ясны его корни: бонсаи произошло от скудости площади, земли, но громадного желания во что бы то ни стало общаться с природой — ежедневно, ежечасно. Всегда. С любимым бонсаи путешествовали, как с другом. Любоваться на него приглашали в гости. Бонсаи — повод для задушевной беседы, для философских раздумий о смысле жизни, о месте человека в этом необъятном мире.

Конечно, бонсаи имеет сильное религиозное основание. Синтоистская религия предполагает общение — духовное, трепетное, возвышенное — с природой. Японцы начинают это с детства, почти с первого посещения храма. Иными словами: отношение к бонсаи, понимание его значения, его эстетики и философии закладывается в человеке чуть ли не генетически. И воспитывается также ежедневно, ежечасно. Всегда. Передается из поколения в поколение, из средневековья — в наши дни. Представьте себе, еще живы бонсаи — деревья трехсотлетнего возраста... Память о предках священна. Бонсаи — живые свидетели величия их души, их славы и поступков и, кажется, хранят тепло рук многих, многих людей.

Итак, первый срез информации. Стоит ли продолжать дальше? Еще более всего не ясно. Зачем? Зачем, с точки зрения современных людей, жителей необъятных просторов, уродовать дерево — чтобы почувствовать себя властелином природы, почти божеством? Но что заставляет некоторых из нас страстно любить бонсаи? Что, наконец, кроме благородного любопытства, заставляет меня, несмотря на толпу и выразительные взоры распорядителей, пристально разглядывать «то, что растет в плошке», существа настолько не похожие на деревья, насколько и в малейших деталях повторяющие изгибы тел своих обычных собратьев. Замечаю, что более всего меня притягивает крошечный, невыразимо изящный кедр. Его автор (владелец, бонсаист?) Анатолий Анненков. На выставке узнаю, что Анненков — лучший советский мастер бонсаи, живет в Ялте, работает в Никитском ботаническом саду. По профессии — ландшафтный архитектор.

...Солнце освещало дорогу сквозь кроны могучих деревьев, как керосиновая лампа с высокого потолка. Осень в Крыму хмурая, сырая. Впрочем, влага так славно «лакирует» стволы и листья, усиливает запахи хвои и плодов, ароматы трав. Начинаю задыхаться — и от быстрой ходьбы, и от летучих раздражителей — фитонцидов. Кого-то, быть может, запахи лечат, меня же, горожанку, с детства живущую в центре Москвы и свыкшуюся с воздухом, настоянном на выхлопных газах и пыли, они слегка душат. Мой собеседник замечает это и останавливается, дает «раздышаться». Для него быстрый ритм шагов привычен, как и ловкое, виртуозное лазание по горам, — туда-сюда — в поисках маленьких чахлых деревцев, будущих бонсаи. Ему, конечно, знаком «альфа и омега» бонсаистов, китайский толкователь «Сад горчичного зернышка», созданный еще в семнадцатом веке. Там есть такие слова: «На исходе зимы или в начале весны, в минуты покоя за чашкой чая вы можете начать представлять, какую форму придадите будущему деревцу...»

Вот так, в минуты покоя, бродя в одиночестве по горам, по дороге с работы, взбираясь по тысяче ступенек вверх, находит он очаровательные растеньица на камнях, в расселинах скал, в водостоках, куда ветер принес семена, влагу и немного земли. Деревца, которые смогли вырасти в таких условиях — «стойкие оловянные солдатики», самый лучший материал для бонсаи. Пересаживая их в плошку, бонсаист продлевает им жизнь. Некоторым, кто знает, дает бессмертие.

Не стоит, однако, думать, что Анатолий Анатольевич Анненков, с кем мне посчастливилось видеться, занимается бонсаи на ходу, между делом. Все, что предлагает испытать будущему бонсаисту «Горчичное зернышко», он познал сполна: и ожидание, и горечь утраты и радость от отзывчивости деревца на твое благорасположение к нему...

...Дорога меж тем идет в гору. Грейдер скользкий, из-под ног веером летят камешки, колючки, поднимая фонтанчики воды. Капли золотит прорвавшееся сквозь пухлые облака солнце, на секунду в воздухе повисает крошечная радуга... Впрочем, смотреть под ноги — значит, ничего не увидеть вокруг, а ведь там, за поворотом — море. Ощущение радости, счастья в душе. Совсем, как в детстве. Однако сейчас не до воспоминаний. Предстоит свидание с бонсаи Анненкова. Дорога, вьющаяся через всю громадную территорию Никитского ботанического сада, приводит нас на самую окраину зеленого заповедника. Здесь приютился поселок с каким-то экзотическим — как, впрочем, везде в Крыму, старо-татарским названием; в поселке — дача художника. Сей добрый человек — воистину меценат: он выкроил для сада бонсаи Анненкова небольшой участок — уступами, террасами, тенистый и одновременно пронизанный солнечными лучами, в своем саду, более похожем на первобытные дебри.

— Вот этот бонсаи — мой любимец, кедр, — Анатолий Анатольевич приподнимает плошку с деревцем, — он был на выставке, в Москве.

Да и я узнала его. Жаль, что не издали к выставке, первой советской выставке бонсаи, состоявшейся летом прошлого года в Ботаническом саду АН СССР, хороший цветной каталог, не закрепили это событие в памяти людей, как часто случается у нас. Только с проведением выставок на Крымском валу знаменитейших художников — русских и зарубежных, мы стали понемногу привыкать к тому, что сможем получить на память не только прекрасное впечатление... Впрочем, советский бонсаи-клуб только возник... Повсюду, оказывается, у нас живут люди, которые не считаясь со временем и затратами, колдуют над крошечными своими питомцами, но такой красивой коллекции деревцев, как у Анненкова, пока не составил никто. 30 лет отдано им бонсаи. 30 лет жизни. Я не сомневаюсь, что дело стóит трудов. И все-таки говорю об этом вслух...

— Руки делают, а мысли иногда далеко, иногда — близко, возле этого деревца вращаются, — похоже, Анненков говорит как бы сам с собой. — Бонсаи — живое существо. Не станет меня, а деревце будет жить и меня помнить. Мой сын, агроном, возьмет бонсаи и будет растить его, ухаживать за ним. Потом придет черед внука... — и без видимой связи, продолжает: — У китайцев и японцев есть две гравюры восемнадцатого века, одного содержания. Они свидетели любви к бонсаи, почету, каким «то, что растет в плошке», окружено в обществе, — Анненков поливает деревья, сбрызгивает крону, поправляет старинную черепицу, — ей он выложил террасы, на которых так хорошо расположились бонсаи. Здесь, под сводом деревьев, среди трав и цветов, не так уж много влаги, хотя дожди и висят над Крымом.

— Так вот, гравюры, — продолжает Анненков, — одна так и называется: «Иностранцы восхищаются бонсаи в японском доме». Другая — «Бонсаи в китайском доме». Я вам потом покажу, они у меня есть. А пока, на словах, это выглядит так: иностранцы-европейцы в куцых, по японским понятиям, одеждах — в сюртуках, чулках и башмаках, треугольных шляпах, застыли в оцепенении перед бонсаи. Меж них, никакого внимания на иностранцев не обращая, прохаживаются изысканные японские женщины, любуясь садом. О, японцам ведома таина бонсаи, и чужеземцы, созерцая чудесные деревья, завидуют им и восхищаются ими. На китайской гравюре — драматургия ситуации проще. Семья — за трапезой (если вы читали старинную книгу «Цветы сливы в золотой вазе», представьте себе такой ужин!), на почетном месте, на возвышении — красивое дерево, бонсаи, часть интерьера, доставляющая эстетическое наслаждение.

— Я слышала, что в Китае и в Японии любоваться бонсаи означает то же, что любоваться картинами старых мастеров — и европейских, и восточных.

— Именно любоваться, восхищаться, а не скользить равнодушным взглядом. Интересно, что колыбель бонсаи — Китай. На китайском «бонсаи» звучит так: «пхен-шинг». В иллюстрациях книг, датированных более ранними годами, чем японские книги, мы встречаем пейзажные сады, сады «пхен-шинг». Из этих же книг можно узнать, какую радость доставляло людям выращивание бонсаи, пхен-шинг.

— Тогда почему закрепилось слово «бонсаи», а не «пхен-шинг»?

— Видимо потому, что европейцы все-таки впервые «восхитились» бонсаи в Японии — и привезли в Европу. Первым бонсаистом стал в девятнадцатом веке барон Ротшильд...

— Конечно, такое занятие — дело весьма и весьма дорогое?

— Но все-таки как это чудесно: двумя-тремя цветками на цветущем растении, представить живую прелесть сада в цвету, выразить всю красоту весны!

...Мы опять в пути по горам, по долам. Так не хотелось уходить из «мира бонсаи»: какое-то невыразимое спокойствие, уверенность в себе, желание защитить слабого разлилось по всему существу. Но надо идти. Там, у подножья гор, у моря — парк Монтадор, частица Никитского ботанического, мир, созданный Анненковым в равной степени, как создан и самой природой. Разговор наш продолжается. Под горку идти совсем легко. Но, может быть, созерцание бонсаи сняло с меня жернов тяжести, накопившийся за год столичной суеты?

— Очень даже может быть! — легко соглашается Анненков. — Бонсаи даже для бонсаистов — стимул разговора о природе и смысле жизни. Никто и никогда не покажет деревце, пока еще не заплыли соком надрезы на нем, никто не продемонстрирует бонсаи, обернутое в лыко или веревкой. Оно должно быть совершенным!.. Созерцание бонсаи очищает душу — от злых помыслов, от суеты сует, от горестных мыслей. Помните: «Печаль моя светла»? Это — и о бонсаи, вернее, о чувствах, которые охватывают человека от общения с крошечным деревцем.

— Да вы поэт!

— Люблю поэзию, особенно восточную. Меня восхищает ее мудрость, ее лаконизм. Она дает простор воображению. Понимаете, в японской культуре даже существует такое действо (не знаю, как по-другому назвать): человек, рассматривающий старинную гравюру, современную картину, любуется, скорее, не самим изображением, а тем, что как бы вне его, за ним. Пустотой?!

— Быть может, «зазеркальем»? Говоря упрощенно: включает свое подсознание — и идет вслед за ним!..

— За воображением, за фантазией! Прочтите китайские юэфу. Японскую любовную лирику. Как мало слов — и как точны, емки они, вмещают в себя столько чувств, переживаний человека — и того, кто начертал иероглифы, и того, кто читает их..

— Или будет читать! Совсем, как бонсаи!..

...Спускаемся к парку Монтадор. Как много на пути сюда попадалось в горах пористых камней, на которых так хорошо приживаются бонсаи. Нет, колдовское это занятие, что ни говорите: на камне, символизирующем скалу, вырастить несколько растений, романтически спускающих ветви свои дóлу, создать целый пейзаж. Да возможно ли это?

Впрочем, для Анненкова, конечно, возможно. Вот он, Монтадор.

Искусственный пруд, заросший белой лилией, над ним — воздушный, похожий на бальное платье, болотный кипарис, у подножья дерева соткали ковер сиреневые звездочки мелких осенних астр, цветов, скорее сорных, чем культивированных, но от этого не потерявших свою прелесть. Ощущение праздника, гармонии — с миром, природой, с самим собой — вот, что такое парк Монтадор работы Анненкова.

— Есть такое понятие, Анатолий Анатольевич, — зеленая рука. За что человек ни возьмется, что ни посадит в землю — все приживается, хорошеет, растет. Посади он старую суковатую палку, на которую опирался при ходьбе — по весне она брызнет зеленым листом, засветится свежим цветом. Сказки?

— Быль... — неожиданно смеется Анненков. — Комплименты. Но, возможно, ландшафтному архитектору такое услышать — бальзам на душу. Многие годы нас не признавали. 48 лет существует международная ассоциация ландшафтных архитекторов — и все эти годы нам, советским архитекторам, запрещалось туда вступать, даже самим объединиться в собственной стране. А это необходимо. Ландшафтник очень уязвим. Его искусство иногда просто выкорчевывается безжалостной рукой — сколько чудесных парков, садов, рощ мы лишились. Мы — ландшафтные архитекторы, всегда за природу, за красоту. Кстати, вы знаете, что в переводе со староиндийского храм означает сад?

— Да, сад. Какой образ! А ведь культура ландшафтов, прекрасных видов — была нашей национальной гордостью на протяжении многих веков. Как проникновенно звучат строки былин и сказаний, воспевающих нашу природу. Я знаю, что старинный свод законов на Руси гласил: нельзя строить дом так, чтобы он загораживал вид из окна соседа — вид на храм, на улицу, на свет. Красивый вид.

— А восемнадцатый век стал венцом паркового искусства в России. Петергоф, Кусково, Останкино. Архангельское, Павловск...

— ...Царское Село, Середниково, Богородицк Андрея Тимофеевича Болотова, выдающегося русского паркостроителя.

— Да и все на Южном берегу Крыма — и волшебный по красоте парк воронцовского дворца в Алупке, парки в Ореанде, Гурзуфе, Мисхоре...

— И «романсовый» парк Чаир?..

— Да, и он тоже (сейчас Чаир где-то в плену у ведомственного санатория — и потому доступен, увы, не всем)... Так вот, прекрасные «виды» созданы здесь ру-

ками человека еще в веке восемнадцатом – первой трети девятнадцатого века.

— Как-то я листала превосходную книгу — альбом «Русская акварель в собрании Государственного Эрмитажа». Вот уже воистину книга ушедшей культуры, книга красивых «видов» прошлого, которое ведь живо и поныне, тысячью нитей связанное с нашим днем...

– Смотрите, вот он, наш день парка!.. Анненков указывает на беседку, «храм воздуха»; для того, чтобы поставить ее здесь, заставив как бы нависать над обрывом, среди роз и посаженных на камнях крымских сосен, понадобились и тонкий вкус, и точный инженерный расчет. — Место романтическое, «романическое», как говаривали в старину. Вот и пишут на стенках «романы», что попало, вплоть до отвратительных слов. Значит, не поняли красоты?

— Не научились понимать. В наших городах с течением лет парк стал местом массового отдыха, где тяжко взвывает репродуктор, воздух «напоен» ароматами шашлыка, качели, карусели, бег в мешках... Читальни же, дощатые павильоны с террасой, с белой деревянной решеткой вокруг — по ней так славно вьется хмель и дикий виноград — заколочены. В парке стало невозможно читать, в лучшем случае играют в домино и шашки.

— В былые годы развлекались иначе. Парк — место философского самоуглубления, зеленый кабинет. Для этого и ставились уединенные беседки. Парк – место, где разыгрывались галантные сценки в духе Ватто. Наконец, парк — для завтрака на траве, как в Париже, в Булонском лесу, на картинах импрессионистов... Парк социален и разнолик. У нас в ходу парки, где человек хочет и может эмоционально разгрузиться, показать свою удаль. И совсем не осталось тех мест, где он может быть наедине с собой. Только, как поют с эстрады, «наедине со всеми...»

— Грустно это, Анатолий Анатольевич, грустно. А вы знаете, что человек, чьи гравюры и акварели украшают собрания Эрмитажа, первый русский пейзажист Семен Федорович Щедрин, был почти ваш коллега? На рубеже восемнадцатого-девятнадцатого веков он возглавлял гравировально-ландшафтный класс, созданный для гравировки парковых «видов» окрестностей Санкт-Петербурга...

— Да, тогда понимали, насколько важно — остановить прекрасное мгновение — запечатлеть! - красоту и прелесть природы, быстротекущего живого дня. Как это важно для духовной жизни, деятельности человека — общение с природой. Прикосновение к ней. Очищение души при виде милой сердцу картины окружающего мира... Ученые установили, что унылый ландшафт угнетает человека, красота же природы возвышает душу...

Мы снова в пути. И то, что разговоры наши проходят по мере того, как мы с моим собеседником движемся во времени и пространстве, а не за чашкой чая при созерцании бонсаи, не должно смущать вас. Вот сейчас мы идем к смотровой площадке Никитского сада, откуда открывается изумительный вид и на его угодья, и на Ялту, и на горы, покрытые виноградниками и сосновыми рощами.

Пожалуй, только с этой точки и заметишь великолепное дерево с разветвленным розовым стволом, как бы обнимающее своими ветвями, покрытыми фисташковыми листьями, серый камень. Стояла бы и стояла подле. И вовсе не за тем, чтобы отдохнуть. Скорее, набраться здесь сил, терпения и даже мужества — у этого стойкого «оловянного солдатика», которого — еще ростком, семечком, забросил сюда ветер, исхлестал дождь. Но оно живет, цветет и плодоносит, растет — и не стареет, это дерево с нежным стволом, которое не выносит прикосновения человеческих рук.

— Сколько таких собратьев его живет у нас в саду, в Алупкинском парке...

— Я думаю, вы, Анатолий Анатольевич, знаете здесь каждое дерево, каждый куст...

— Просто я давно здесь работаю и живу. Я стараюсь сохранить прекрасный «вид», здешний ландшафт. Словом, «какой я мельник, я здешний ворон»...

— А что главное в вашем деле?

— Главное — выдвинуть на первый план природу. Подать ее так, будто бы это все само образовалось, создалось, чтобы вы, глядя окрест себя, не чувствовали, что природа умело отшлифована нами. Ведь и это изумительное земляничное дерево посажено когда-то садовником...

— Совсем как в мире бонсаи. Созерцая их, забываешь, что они растут благодаря воле человека.

— Растут сами. Мы просто направляем их. Помогаем людям понять их красоту и беззащитность, изящество и характер. Вот клен, который вам так понравился у входа в Монтадор. Искусство бонсаи дало мне решение задачи — как, не строя никаких входов, арок, заборов, только естественным путем, органично обозначить вход в парк. И я понял: клен, только клен. Светолюбивый, но хорошо растет он в тенистых местах. Переносит любую экологическую обстановку. В Японии существует такой красивый обычай — часть духовной культуры – любоваться осенью склонами гор, поросших кленами. Одно из излюбленных мест — окрестности города Никка.

— А весной японцы любуются цветущей вишней сакурой, даже справляют праздник цветения.

Да. Но и клен красив, клен дланевидный — особенно. И весной, когда раскрывает свои листики, похожие на детские ладошки, и осенью, когда графика листа еще более красива, живописна. Ведь существует живописная графика!

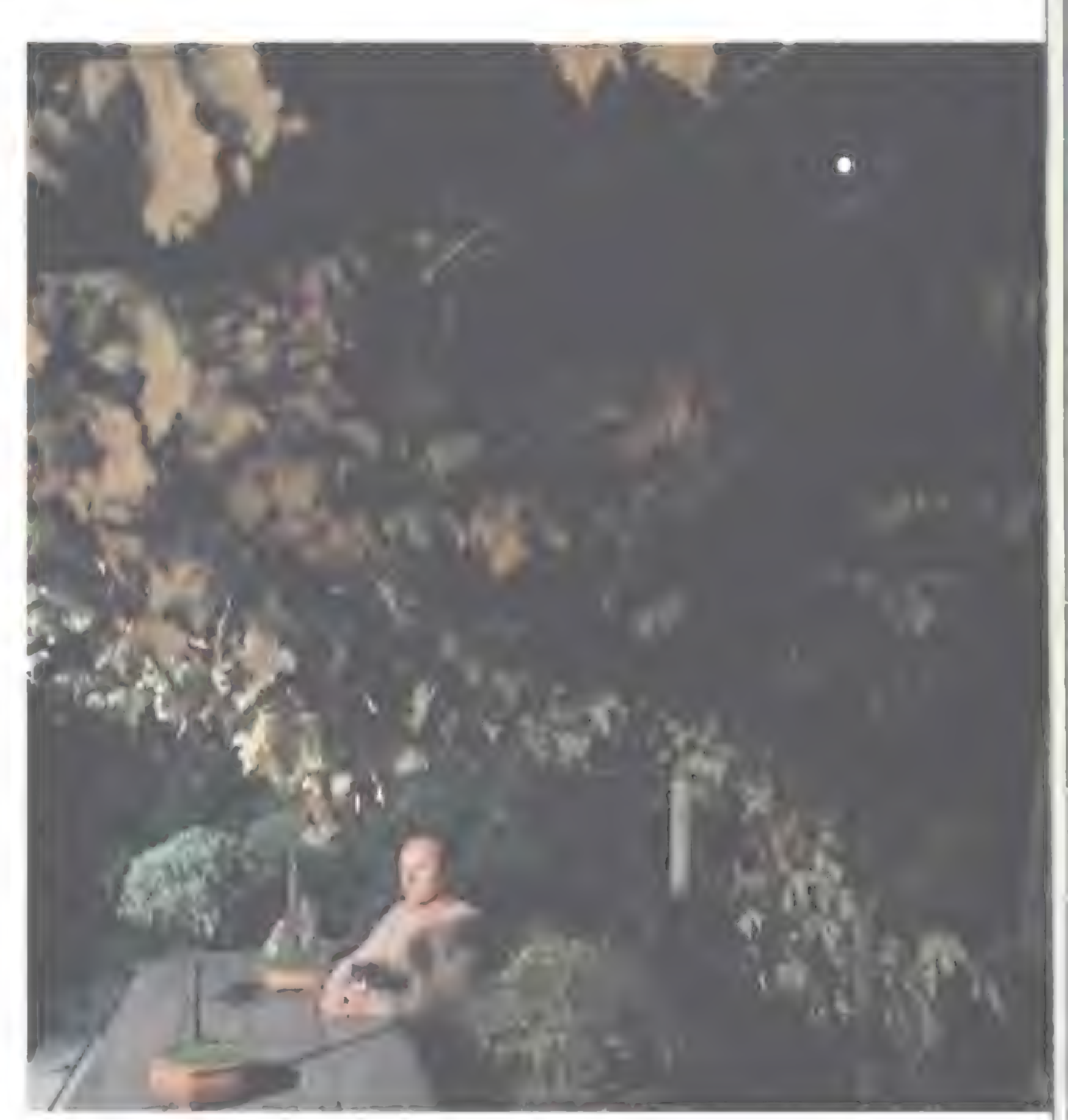
— Например, в работах московской художницы Татьяны Алексеевны Мавриной...

— Или у китайских художников, работающих в стиле го-хоа.

Наше путешествие окончено. Впереди — огни домов-башен поселка Никитского ботанического сада. В воздухе просто висит густой аромат лаванды, чабреца, розмарина — маленькая фабричка вырабатывает масла и эссенции. Прощаюсь со своим чудесным собеседником, и со ступеньки на ступеньку, вниз, вниз, вниз! иду к себе, в Дом аспиранта, что напротив белой колоннады, рядом с которой в пестрой клумбе львиного зева одноглазый кот утром ловил крылатых насекомых, трубочников. Что-то не договорила я, недовыяснила. Упустила?.. А вам знакомо чувство, когда говоришь, и не можешь наговориться с собеседником? Он только чуть-чуть приоткрыл дверь в свой внутренний мир, но щедро, щедро! — в природу, в светлый мир загадочного бонсаи. Чудесный мир, впечатление от которого может передать разве что современный сказитель. Но где они, сказители, сказочники?.. Впрочем, волшебники все же есть. Анатолий Анатольевич Анненков, например, который садами и парками украсил все вокруг, весь Южный берег Крыма, идя в своей неустанной деятельности рука об руку с бонсаи.

Пока у нашей культуры, у Крымского полуострова, у Никитского ботанического сада есть такие деятели, как ландшафтный архитектор, художник и естествоиспытатель Анатолий Анненков — дело наше не безнадежно. Он верит в то, что мир природы очищает и возвышает душу. Он читает ученые книги — знает восточную философию, любит китайскую и японскую лирику, русскую культуру, изучает немецкий, ибо лучшие труды по бонсаи присылает ему всемирно известный бонсаист из Швейцарии. Он учит добру и уверен, что это возможно — воспитать мэра города, любителя природы («Одна из основных наших задач — воспитать мэра!» — шутят английские ландшафтники, с которыми Анненков встречался на международных симпозиумах архитектуры красивых «видов» и встретится вновь). Он — труженик и «землям проходец», неустанно путешествующий по Крыму, а в бонсаи, кажется, по времени и пространству («Знаете, конфуцианство учит милосердию!» — слышу я его голос).

Недавно коллеги избрали Анненкова председателем Крымской ассоциации ландшафтных архитекторов. Из таких рук, уверена, не ускользнет, не исчезнет для потомков мастерство создавать красивые «виды» — часть отечественной культуры, национальной гордости... И японские бонсаи на нашей почве прижились. И мы еще придем любоваться ими и, созерцая, отогреем душу.



Анатолий Анатольевич Анненков.

Фоторепортаж из Никитского сада снял Николай Кулебякин.



Граб. Возраст около 40 лет, высота 70 см.

Сосна. Возраст 20 лет, высота 23 см.



Туя. Возраст 16 лет, высота 30 см.

Сосна. Возраст 60 лет, высота 43 см.

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ

РУМЕН ЛЕОНИДОВ



МИХАИЛ БУЛГАКОВ



ОСИП МАНДЕЛЬШТАМ

ФЕДОР ДОСТОЕВСКИЙ

Я, как литератор, да и как редактор журнала [illegible] в [illegible] [illegible] наблюдениями и точными обобщениями [illegible] болгарского живописца.

Его работы [illegible] В представленных [illegible] портретах русских и советских [illegible] очевидна эмоциональная [illegible] В импровизации [illegible] типа [illegible]

На первый взгляд его [illegible] образы [illegible] выражения кажутся [illegible] В его работах [illegible] изображения [illegible] условность восприятия [illegible] [illegible] Досподова [illegible] вызывает бесспорное [illegible] Мне все это кажется очень важным для молодого художника, ведь [illegible] в искусстве [illegible] импровизации, [illegible] движения. [illegible] к импровизации [illegible] типичная особенность людей [illegible] талантливых с сильным характером. У них всегда [illegible] взгляд на вещи [illegible] отношение ко всему на свете, в том [illegible] к литературе [illegible] вершинам, [illegible] гигантам. [illegible]

[illegible] портреты кисти Досподова [illegible] [illegible] этим личностям [illegible] [illegible] а через [illegible] в [illegible] дверь [illegible]

Мне импонирует в портретах Досподова [illegible] умиления, [illegible] подчеркнуть свою приверженность [illegible]

Портреты Досподова [illegible] психологизма, [illegible] в [illegible] изображаемых [illegible] отличают черты ими [illegible] героев. [illegible] переменить местами [illegible] [illegible] если смотреть на картину, не вникая в суть. Бросьте [illegible] на свет [illegible] образа Андрея Платонова, на [illegible] Булгакова на [illegible] мудрости и глубины Достоевского, [illegible] Маяковского, и перед нами [illegible] живые люди, отра[illegible] Не фотографии знаменитостей [illegible] символом высоких, трагических, жестоких страниц в истории России, Советского Союза, человечества. Но [illegible] лица [illegible] люди при[illegible]

Перевод с болгарского МАРИНЫ КОЛЕВОЙ



ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ

ИСТОКИ

Легенды.
Исследования.
Находки.



«Тайная вечеря».
Раннехристианская мозаика.

ЭРНЕСТ РЕНАН

ЖИЗНЬ ИИСУСА*

Итак, 4 или 5 больших деревень, расположенных в получасе ходьбы одна от другой, вот весь мирок Иисуса в наше время.

Кажется, что он никогда не входил в Тивериаду, совершенно «нечестивый» город, населенный по большей части язычниками и бывший обычной резиденцией Антипы. Однако, он иногда удалялся из своей любимой страны. Он ездил на барке на восточный берег, например, в Гергезу. На севере его встречают в Панее или Цезарее Филиппы, у подножья Термоны. Наконец, однажды он совершил поездку около Тира и Сидона, страны тогда необычайно цветущей. Во всех этих землях Иисус был среди полного язычества. В Цезарее он видел знаменитый грот *Паниум*, где помещали источник Иордана, и который народная фантазия окружила странными легендами; он мог удивляться мраморному храму, воздвигнутому Иродом близ этого места в честь Августа; он, вероятно, останавливался пред многочисленными статуями, посвященными Пану, нимфам, Эхо, гроту, которых собрало уже в этом прекрасном месте благочестие. Иудей эвгемерист, привыкший считать чужеземных богов за обоготворенных людей, или за демонов, должен был смотреть на все эти фигурные изображения, как на идолов. Иисус остался холоден к прельщениям натуралистических культов, очаровавших более чувственные расы. Он, несомненно, не знал о том, что старый алтарь Мелькарта в Тире мог еще заключать первобытный культ, более или менее похожий на еврейский. Язычество, воздвигшее на каждом холме в Финикии храм, священный лес и все это зрелище крупной промышленности и мирского богатства должно было ему мало нравиться. Монотеизм отнимает всякую способность понимания языческих религий; мусульманин, попавший в страну политеистов, как будто лишается глаз. Иисус конечно, ничего не узнал в этих путешествиях. Он постоянно возвращался к своему горячо любимому генисаретскому берегу; центр его мыслей был там; там он встречал веру и любовь.

ГЛАВА VIII

Ученики Иисуса

В этом земном рае, которого мало до сих пор касались великие исторические революции, жило в полной гармонии с природой энергичное, честное население, полное веселого и нежного чувства жизни. Тивериадское озеро представляет один из богатейших рыбой бассейнов воды в мире. Занятие рыболовством, практиковавшееся, особенно в Вифсаиде и Капернауме, создало некоторое благосостояние. Эти рыбачьи семейства составляли тихое и мирное общество, простиравшееся вследствие многочисленных родственных уз, по всему описанному нами озерному округу. Их необременительная жизнь предоставляла полную свободу их воображению. Идеи о царстве божием находили в этих дружеских собраниях добрых людей больше веры, чем где-либо в других местах. В их среду не проникло ничего из того, что называется цивилизацией в греческом и светском смысле слова. Это не была наша германская и кельтическая степенность; хотя, быть может, доброта их и была часто поверхностной и неглубокой, они были тихого нрава и обладали известною интеллигентностью и хитростью. Их можно представлять достаточно похожими на самое лучшее население Ливана, но с даром, которого лишено последнее, именно давать великих людей. Иисус нашел там свое настоящее семейство. Он поместился там, как один из своих: Капернаум стал «его городом», и среди небольшого, обожавшего его круга, он забыл своих скептических братьев, неблагодарный Назарет и его насмешливое неверие.

Особенно один дом в Капернауме доставил ему приятное убежище и преданных учеников. Это был дом двух братьев, сыновей некоего Ионы, которого, вероятно, уже не было в живых, когда Иисус поселился на берегах озера. Эти два брата были Симон, прозванный *Кифа* или *Петр*, и Андрей. Родом из Вифсаиды, они жили в Капернауме, когда Иисус начал свою общественную жизнь. Петр был женат и имел детей; его теща жила тоже у него. Иисус любил этот дом и обыкновенно жил в нем. Андрей, кажется, был учеником Иоанна Крестителя, и Иисус, пожалуй, узнал его на берегах Иордана. Оба брата не прекращали занятий рыбным промыслом даже в то время, когда они, по-видимому, должны были более всего быть заняты своим учителем. Иисус, любивший играть словами, говорил иногда, что он сделает их ловцами людей. В самом деле, между всеми его учениками у него не было более преданных. Другое семейство Забдии или Зеведея, зажиточного рыбака и хозяина нескольких барок тоже предложило Иисусу радушный прием Зеведей имел 2-х сыновей: Иакова-старшего, и молодого сына Иоанна, призванного впо-

* *Перевод с 69-го французского издания М. Синявского (Москва, 1906 г.).*

Продолжение. Начало в №№ 8- 10, 12/1989, 1 2 1990. Произведение публикуется полностью.

19

следствии играть столь решительную роль в истории зарождавшегося христианства. Оба они были ревностными учениками. Саломея, жена Зеведея, также была очень привязана к Иисусу и сопровождала его до самой его смерти.

В самом деле, женщины принимали Иисуса усердно. У него было с ними то сдержанное обхождение, которое делает возможным сладкое единение идей между двумя полами. Разделение мужчин и женщин, препятствовавшее у восточных народов всякому деликатному развитию, было, без сомнения, тогда, как и в наши дни, гораздо менее сурово в деревнях и селах, чем в больших городах. Три или четыре преданных галилеянки следовали постоянно за молодым учителем и оспаривали друг у друга удовольствие слушать Иисуса и поочередно ухаживать за ним. Они вносили в новую секту элемент энтузиазма и чудесного, важность которого уже становилась ясна. Одна из них, Мария Магдалина, сделавшая имя своего бедного села столь известным миру, по-видимому, была очень экзальтированной особой. Она была на языке того времени — одержима семью бесами, т. е. страдала нервными болезнями, которые казались непонятными. Иисус своею чистой и приятной красотой успокоил этот расстроенный организм. Магдалина была верна ему до Голгофы и играла на другой день смерти Иисуса первостепенную роль; ведь она была главным органом, благодаря которому утвердилась вера в воскресение Иисуса. Также постоянно сопровождали и служили Иисусу: Иоанна, жена Кузы, одного из управителей Антипы, Сусанна и другие, оставшиеся неизвестными. Некоторые были богаты и дали, благодаря своему имуществу, возможность молодому пророку существовать, не занимаясь тем ремеслом, которым он упражнялся до сих пор.

Еще некоторые следовали за Иисусом и признавали его своим учителем: известный Филипп из Вифсаиды, Нафанаил, сын Толмаи или Птоломея из Каны, пожалуй ученик первой эпохи; Матфей, вероятно, тот самый, который стал Ксенофонтом молодого христианства. Он был мытарем и, как таковой, располагал каламом более легко, чем другие. Пожалуй, он уже с тех пор задумывал написать мемуары, составляющие основание того, что мы знаем о поучениях Иисуса. Среди учеников Иисуса называют также Фому или Дидима, который иногда сомневается, но который, надо думать, был человеком сердечным и с великодушными увлечениями; Леввей или Фадей; Симон Зилот, быть может, ученик Иуды Голонита, принадлежавший к партии *канаимов*, существовавшей уже тогда и вскоре долженствовавшей играть очень крупную роль в движениях иудейского народа; наконец, Иуда, сын Симона, из города Кериот (Kerioth), бывший исключением в толпе правоверных и стяжавший себе такую ужасную славу. Это был единственный не галилеянин. Кериот был город крайнего юга в колене Иуды, на один день пути за Хевроном.

Мы видели, что семейство Иисуса было в общем мало расположено к нему. Однако, Иаков и Иуда, двоюродные братья Иисуса со стороны Марии Клеоповой находились с этого времени в числе учеников и сама Мария Клеопова принадлежала к подругам, последовавшим за ним на Голгофу. В эту эпоху подле Иисуса не видно его матери. Только после смерти Иисуса, Мария приобретает большое значение, и ученики стремятся присоединиться к ней. И тогда члены фамилии основателя образуют, под именем «братьев Господа», влиятельную группу, долго находившуюся во главе иерусалимской церкви и бежавшую после разграбления города в Батанею. Один только факт быть близким к ней, сделался решительным преимуществом, так же, как после смерти Магомета, жены и дочери пророка, не имевшие значения при его жизни, стали большим авторитетом.

В этой дружественной толпе Иисус, очевидно, имел избранных и в некотором роде более тесный круг. На первом месте у него, по-видимому, стояли два сына Зеведея, Иаков и Иоанн. Они были полны огня и страсти. Иисус остроумно дал им прозвище «сыны грома», благодаря их чрезмерной ревности, которая, располагай она молнией, слишком часто бы пускала бы ее в дело. Особенно Иоанн был, по-видимому, на короткую ногу с Иисусом. Хотя, быть может, многочисленная и деятельная школа, связанная с этим учеником и передавшая нам его воспоминания[1], преувеличила сердечную любовь, высказываемую учителем к Иоанну.

Что более важно, так это то, что, по так называемым синоптическим евангелиям, Симон Барьона (Barjona) или Петр, Иаков, сын Зеведея, и Иоанн, его брат, составляют род комитета, призываемого Иисусом в некоторые минуты, когда он не доверяет преданности и пониманию других. По-видимому, все они трое были товарищами по своим рыболовным тоням.

Любовь Иисуса к Петру была глубокой. Характер этого последнего — прямой, искренний, полный первоначального возбуждения, нравился Иисусу, позволившему себе иногда улыбаться над его решительными выражениями. Петр, совсем не мистик по натуре, сообщал учителю свои наивные сомнения, свои отвращения, свои вполне человеческие слабости, с честной откровенностью, напоминающей откровенность Жуанвиля, бывшего возле св. Людовика. Иисус возражал на это дружески, с полным доверием и уважением. Что касается Иоанна, то его молодость, его изысканная сердечная нежность, его живое воображение, должны были отличаться большою очаровательностью. Личность этого необыкновенного человека, сообщившего столь мощный поворот первоначальному христианству, развилась только впоследствии.

В зарождавшейся секте не было никакой иерархии, в собственном смысле. Все должны были называться «братьями», и Иисус абсолютно изгнал титулы превосходства, каковы равви, «учитель», или «отец»: ведь он один был учителем, и один Бог отцом. Первый должен был быть слугою других. Однако, Симон Барьона выдается среди равных себе совершенно особенным значением. Иисус был у него и учил на его барке; его дом был центром евангельской проповеди. В народе на него смотрели, как на главаря общины и податные сборщики обращались именно к нему за получением податей, относящихся к общине. Симон первый признал Иисуса за Мессию. В момент народного возбуждения против Иисуса, когда тот спросил своих учеников: «И вы тоже хотите уйти?» Симон ответил «К кому пойдем мы, о, Господи? Ты имеешь слова вечной жизни». Иисус неоднократно присуждал ему в своей церкви известное первенство и дал ему сирийское прозвище Кифа (камень), желая указать этим, что он делал из него краеугольный камень здания. Раз даже Иисус, по-видимому, обещает ему «ключи царства небесного» и жалует его правом постановлять на земле решения, которые всегда будут утверждены в вечности.

Несомненно, что это предпочтение Петру возбуждало в других некоторую зависть. Последняя особенно воспламенялась ввиду будущего, в виду того Царства Божия, где все ученики будут сидеть на тронах по правую и левую сторону учителя, чтобы судить 12 колен Израиля. Спрашивали друг друга, кто тогда будет ближе всех к «сыну человеческому», изображая в некотором роде его первого министра и секретаря. К этому положению стремились два сына Зеведея. Занятые сильно такою мыслию, они открыли ее своей матери Соломее... Последняя отвела раз Иисуса в сторону и домогалась от него 2-х почетных мест для своих сыновей. Иисус устранил просьбу, сказав, что тот, кто превозносится, будет унижен и что царство небесное принадлежит малым. Это произвело в общине некоторое смятение и создало большое недовольство против Иакова и Иоанна. То же соперничество проскальзывает, по-видимому и в евангелии Иоанна, где заметно, что рассказчик беспрестанно заявляет, что он был «любимый ученик», которому учитель, умирая, вверил свою мать; видно также, что он стремится поставить себя близ Симона Петра, а иногда выдвинуть себя впереди его, именно, в тех важных обстоятельствах, где более древние евангелисты пропустили его.

---

[1] Т. е. так называемое евангелие от Иоанна. Историческими исследованиями неоспоримо доказано, что оно не могло быть написано самим Иоанном. (*Перев.*)

Из вышеуказанных лиц все те, о ком известно что-либо, были сначала рыбаками. Во всяком случае, никто из них не принадлежал к благородному общественному классу. Один Матфей, или Леви, сын Алфея, был мытарем. Но носившие в Иудее это название не являлись главными откупщиками, т. е. людьми высокого ранга (всегда римские всадники), которых в Риме называли publicani. Это были агенты этих главных откупщиков, чиновники низшего разряда — простые таможенники. Большая дорога от Акр до Дамаска, одна из самых древних дорог в мире, пересекавшая Галилею и касавшаяся озера, очень способствовала увеличению этого рода чиновников. Капернаум, находившийся, быть может, при дороге, обладал многочисленным персоналом их. Эта профессия никогда не бывает популярна, а у иудеев она слыла прямо преступной. Подать — явление для них новое, была знаком их вассальства; одна школа, именно Иуды Голонита, утверждала, что платить ее было делом язычников. Сверх того, ревнители закона гнушались таможенниками. Их называли только в сообществе убийц, разбойников и людей позорной жизни. Иудеи, принимавшие такие должности, отлучались от церкви и лишались права делать завещание; их кассы были прокляты и казуисты запрещали ходить туда менять деньги. Среди учеников Иисуса находились и эти, изгнанные из общества, бедняки. Иисус принял предложенный Леви обед, на котором было на языке того времени - «много мытарей и рыбаков». Это было большим скандалом: ведь в этих, пользовавшихся дурною славой, домах, подвергались риску встретить «плохое» общество. Итак, мы будем часто видеть, как Иисус, мало заботясь о том, что шокирует предрассудки благонамеренных людей, будет стремиться к поднятию униженных ортодоксами классов и вследствие этого подвергаться самым жестоким упрекам ханжей.

Этими многочисленными завоеваниями Иисус был обязан бесконечной очаровательности своей личности и своего слова. Проницательное слово и взгляд, падающий на наивное сознание, которое нуждалось только в пробуждении, создавали ему пылких учеников. Иногда Иисус пускал в ход невинные средства, которыми пользовалась также Жанна д'Арк. Он показывал вид, что знает того, от кого он хотел выпытать какие-либо тайны, или же напоминал ему о дорогом для его сердца случае. Таким путем он тронул Нафанаила, Петра и Самарянку. Скрывая истинную причину своей силы — я хочу сказать своего превосходства над всеми его окружающими, он, для удовлетворения идей времени, бывших, впрочем, вполне его собственными, позволял думать, что ему раскрывало тайны и открывало сердца откровение свыше. Все думали, что Иисус жил в более высокой сфере, чем та, в которой жило человечество. Говорили, что он беседовал на горах с Моисеем и Илией; верили, что в минуты его уединения ангелы выражали ему свое благоговение и устанавливали сверхъестественную связь между ним и небом.

ГЛАВА IX

Проповедь на озере

Такова была группа, теснившаяся на берегах Тивериадского озера возле Иисуса. Аристократия была представлена там таможенником и женою управителя. Остальная часть состояла из рыбаков и простых юношей. Их невежество было чрезвычайно; они были малоразвиты и верили в привидения и в духов. К ним не проник ни один элемент греческой культуры. Иудейское образование тоже было у них очень неполно; но рвения и усердия было с излишком. Прекрасный климат Галилеи придавал существованию этих честных рыбаков вечное очарование. Они поистине приготовлялись к царству божию, простые, добрые, счастливые, тихо плававшие по своему восхитительному маленькому морю, или дремавшие вечером на его берегах. Трудно представить себе всю прелесть жизни, протекающей в таком виде, под открытым небом, весь этот страстный и сильный пыл от постоянного соприкосновения с природой, сны этих ночей, проведенных при блеске звезд под лазурным сводом бесконечной глубины. Во время такой ночи, Иаков, опершись головою на камень, видел в звездах обещание бесчисленного потомства и таинственную лестницу, по которой ходили взад и вперед, с неба на землю, элогимы. Во времена Иисуса небо еще не было закрыто, и земля еще не остыла. Облако еще открывалось над сыном человеческим, и ангелы поднимались и опускались над его головой; видения царства божия были везде: ведь человек носил их в своем сердце. Чистый и приятный взор этих простых людей созерцал вселенную в ее идеальном начале; быть может, мир открывал свою тайну божественно-ясному сознанию этих счастливых детей, которые за чистоту своего сердца удостоились однажды лицезреть Бога.

Иисус жил со своими учениками почти всегда под открытым небом. Он то всходил на барку и поучал своих слушателей, столпившихся на берегу, то уходил на окаймляющие озеро горы, где воздух так чист, и горизонт так светел. Верная толпа радостно скиталась, таким образом, со своим учителем, проникаясь его наставлениями в самом их расцвете. Иногда поднималось наивное сомнение и мягкий скептический вопрос; Иисус заставлял замолчать возражение одною улыбкою, или одним взглядом. На каждом шагу, в плывущем облаке, в прозябающем зерне, в желтеющем колосе видели знамение близкого наступления царства; верили, что скоро узреют Бога и будут учителями мира; слезы превращались в радость; это было пришествие на землю всеобщего утешения.

«Блаженны, — говорил учитель, — нищие духом, ибо их есть царство небесное!
«Блаженны плачущие, ибо они утешатся!
«Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю!
«Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся!
«Блаженны милостивые, ибо они будут помилованы!
«Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят!
«Блаженны миротворцы, ибо они нарекутся сынами божиими!
«Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть царство небесное!»

Продолжение следует.



Фото АЛЕКСАНДРА ШАТРОВА



Виктор Яковлевич ДЕРЯГИН. Доктор филологических наук, профессор, автор около 200 работ по истории русского языка, диалектологии, стилистике, культуре речи, один из составителей и редакторов «Словаря русского языка XI-XVII вв.», является одним из авторов радиопередачи «В мире слов». Заведующий отделом рукописей Государственной Библиотеки СССР имени В. И. Ленина, фонды которого хранят уникальные, большею частью не публиковавшиеся памятники истории и литературы. В 26-м выпуске «Альманаха библиофила» (М., 1989) опубликован перевод В. Я. Дерягина «Слова о Законе и Благодати» митрополита Илариона.

Опыт перевода

Азбучная молитва

Азбучная молитва — одно из самых ранних или даже первое из славянских стихотворений. Существуют две точки зрения на ее происхождение. Одни ученые считают, что ее написал сам создатель славянской азбуки Константин Философ, святой Кирилл. Эта точка зрения имеет главным основанием то обстоятельство, что во многих, правда, поздних списках молитвы Кирилл прямо назван ее автором. Другие исследователи приписывают авторство этого произведения ученику Мефодия, выдающемуся литератору и церковному деятелю Константину Преславскому, епископу Великого Преслава в конце IX — начале X века. Дело в том, что в древнейшем, XII века списке Государственного исторического музея молитва составляет «пролог», часть предисловия к «Учительному евангелию», которое было составлено в 894 году Константином Преславским.

В древнерусской письменной традиции Азбучная молитва имела широкое хождение, о чем свидетельствует обилие ее списков. К настоящему времени выявлено и опубликовано 40 списков XII—XVII вв. Как самостоятельное произведение молитва включалась в сборники различного содержания. Списки отличаются друг от друга, что сказывается на толковании оттенков ее смысла у различных исследователей.

Но общее содержание произведения — прославление славянской азбуки и славянских книг, подвига первоучителей славянских, воля их последователей к утверждению и распространению учения на славянском языке среди «новых» народов — славян.

Молитва представляла собой акростих (греческое «край строки»), в котором каждая строка начиналась с очередной буквы славянского алфавита. В реконструируемом тексте 12-сложный размер, в котором цезура чаще располагается после пятого слога, реже — после шестого. В греческом азбучный стих представлен у Григория Богослова. Начальная строка, переведенная из Григория, открывает прозаическую часть предисловия «Учительного евангелия» Константина Преславского, следуя сразу за текстом Азбучной молитвы: «Добро есть от Бога начинати и до Бога коньчавати, якоже рече етеръ Богословьць Григоръ».

Используя разные списки памятника, переводчик стремился держаться древнейших текстов.

В год 863 Константин Философ, названный Кириллом, создал грамоту славянским языкам, прозванную литицею, во дни Михаила, царя греческого, и в дни новгородского князя Рюрика, с него ж русская земля пошла. Греческую грамоту создавали семеро: Палимед, Пад, Милисий, Симонид, Эпихарий, Дионисий.
(Так сказал святой Кирилл:)

Аз, буки, азбука —
    этим словом молюсь я Богу:

Боже, всех тварей создатель,

видимых и невидимых!

Го́спода, духа после живущего,

да вдохнет мне в сердце Слово!

Его же Слово будет спасением всем,

живущим в заповедях Твоих.

Засветил светильник жизни,

закон Твой — свет пути моего.

И уж ищет евангельского слова

и просит дары Тебя принять,
    летит к Тебе славянское племя

К крещению обратились мы все,

людьми Твоими назваться хотим,

милости Твоей желаем, Боже!

Но мне теперь пространное Слово дай.

Отче, и Сын, и Святой Дух!

Просящим помощи у Тебя,

руки свои воздевающим, дай

силу принять и мудрость Твою.

Ты ведь даещь достойным силу,

убогого исцеляешь,

фараонову злобу от меня отводишь,

херувима мысль и ум его мне даешь,
    о, честная и пресвятая Троица,
    печаль мою в радость обрати!

Целомудренно буду писать

чудеса Твои предивные,

Шестокрылых образ приняв,
    восшествую ныне по следу Учителя,
    имени Его и делу Его следуя.

Явлю евангельское слово,
    хвалу воздавая Троице в Божестве.

Юный и старый, хвалят Тебя,
    поет хвалу Тебе все разумное.

Язык новый хвалу воздает

Отцу и Сыну и Святому Духу.
    Ему ж честь и слава от всякой твари
    и всякого дыхания во веки веков.
    Аминь.

РУССКАЯ МЫСЛЬ

Человек. Прогресс. Личность.

Все имманентно всему...

Это неожиданное открытие определило затем жизнь одного русского философа, человека поистине удивительного, заставило написать множество философских трудов, привело к мировому признанию и даже к славе.

Идея стала решающей для гносеологии и метафизики известного русского философа Николая Онуфриевича Лосского.

Для советского читателя, не имевшего возможности не только читать, но и слышать имя этого человека, оно прозвучало вновь в теперь уже далекие 1950-е годы, когда на страницах журнала «Вопросы философии» было сообщено о выходе в свет в Лондоне на английском языке его знаменитой «Истории русской философии».

Уже не было в живых Н. Бердяева и П. Струве, о. С. Булгакова и С. Франка, уже стали историей философские баталии между различными представителями русского религиозного ренессанса XX века, но еще продолжал жить и творить этот неуемный старик, свои первые главные книги выпустивший прожив почти полвека, а последние — у самого рубежа собственного столетия. Когда 25 января 1965 года в возрасте 94-х лет Н. О. Лосский ушел из жизни, то никому и в голову еще не могло придти то, что ушел в буквальном смысле «последний из могикан», последний из плеяды тех, кто создал выдающуюся мыслительную культуру, духовно-философское моросозерцание, переживаемое и осмысливаемое всем светом по сеи день.

С кончины Н. О. Лосского можно было исчислять конец периода, или, лучше сказать, первого исторического тома русской философской мысли, развивавшейся тогда в зарубежье. Новый период, точнее, новая книга, которая бы продолжила во втором томе эту традицию — пока еще не существует, она не написана.

Николай Онуфриевич Лосский.

Н. О. Лосский был настоящим, или, правильнее, «чистым» философом, в отличие, например, от философствовавших публициста Н. Бердяева или поэта В. Иванова. Его имя до революции было знакомо всем. Еще когда в Санкт-Петербургском университете он учился на физико-математическом и историко-филологическом факультетах, то стал известен после исключения за пропаганду атеизма. Поразительно, но уже после 1917 года, когда в советский период он станет преподавать в том же университете, то будет отстранен от работы за свои... христианские убеждения.

В 1922-м году Н. О. Лосский был выслан из России в числе тех, кто не был согласен с марксистским мировоззрением. Затем, в течение двух десятилетий, он живет в Праге, где преподает философию в Русском университете, переезжает в Братиславу, позднее, в 1945-м году — в Париж, а через год поселяется на долгое время в США у младшего сына Андрея.

Другой его сын — Владимир — для русской религиозной философии и богословия был человеком не менее известным. И по сию пору в выпущенных у нас и еще не «перестроившихся» изданиях его пренебрежительно называют «апологетом мистицизма». Однако не так отнеслась к нему Русская православная церковь. В 1972 году наследию В. Н. Лосского был отдан весь 8-й том «Богословских трудов», увидевших свет в издательском отделе Московского патриархата.

Владимир был выслан из России одновременно с отцом. Ему было тогда 19 лет. Затем он окончит Сорбонну, станет преподавать богословие в Париже и долгие годы, вплоть до кончины в 1958-м году, будет действенно руководить известным Содружеством преподобного Сергия Радонежского и почитаемого в англиканской церкви св Албания.

Незадолго до этого Владимир Николаевич держал в руках уже изданную новую книгу своего отца — «Характер русского народа». Выпущена она была во Франкфурте-на-Майне в 1957-м году.

Среди множества трудов Н. О. Лоссиого, а только книг у него почти два десятка, не считая сотен разных статей — таких, как «Логика» (1924), «Основы интуиции» (1927), «Ценность и бытие» (1931), «Типы мировоззрении» (1931), «Диалектический материализм в СССР» (1934), «Бог и мировое зло» (1941), «Достоевскии и его христианское миропонимание» (1953) — и уже упомянутой нами «Истории русской философии», книга с заинтриговывающим заголовиом «Характер русского народа» занимает особое место.

Этои теме посвящали свои работы многие мыслители. Словно бы наступал такой период в их жизни и творчестве, когда она требовала осмысления и, в первую очередь, с высоты немалого жизненного опыта. Так же как и Н. А. Бердяев, ставший писать свою «Русскую идею» в последние годы жизни, Н. О. Лосский начал работу над книгои о «русском», когда ему было уже за 80. Свою задачу он определил сам, исходя из собственнои персоналистической концепции:

«В своих заметках я буду иметь в виду душу отдельных русских людей, а не душу русской нации, как целого, или душу России, каи государства. Согласно метафизике иерархичвского персонализма, которой я придерживаюсь, каждое общественное целое, нация, государство и т п., есть личность высшего порядка: в основе его есть душа, организующая общественное целое так, что люди, входящие в него, служат целому, как органы его. Философ и историк Л. П. Карсавин называет такое существо с и м ф о н и ч е с к о ю л и ч н о с т ь ю... Конечно, некоторые свойства лиц, входящих в общественное целое, принадлежат также и самому этому целому. Поэтому иногда я буду говорить не только о характере русских, но и о характере России, как государства».

Н. О. Лосского интересует и религиозность русского народа и его способность к высшим формам опыта, он рассматривает такие категории, присущие человеку и нации, как чувство и воля, свободолюбие, народничество, доброта, даровитость, мессианизм и миссионизм, нигилизм, раскольничество и многие другие.

С гневом и болью автор отзывается о работах тех западных историков и философов, которые не только не видели в России и русских людях ничего интересного и особо выдающегося, но и с неприязнью говорили о них. Последовательно и точно, с присущей философу скрупулезностью прорабатывает он труды своих предшественников и современниов, пытается вычленить зерно своих основных выводов. А потому сегодня, когда русофобия приняла еще более уродливые формы, граничащие с человеконенавистничеством и расизмом, выводы Лосского звучат более чем актуально.

Какие они — авторские выводы? Каков же он — характер русского народа?

Книга Н. О. Лосского — это и вопрос и ответ одновременно. Размышляя, автор не убеждает и не утверждает. Ибо нет ничего более ошибочного по его мнению, как догматические аксиомы. Интуиция — вот его путеводный маяк. Вот почему заключительные строки труда, написанные более тридцати лет назад, адресованы прямо в день сегодняшний:

«Большевистская революция есть яркое подтверждение того, до каких крайностей могут доити русские люди в своем смелом искании новых форм жизни и безжалостном истреблении ценностей прошлого. Поистине Россия есть страна неограниченных возможностей... К тому же русские люди, заметив какои-либо свой недостаток и осудив его, начинают энергично бороться с ним и благодаря сипе своей воли, успешно преодолевают его»...

Николай Онуфриевич Лосский создал не только собственную законченную философскую систему, но и, осмелимся сказать — свой стиль изложения мыслей. К его работам даже применяли определение Шопенгауэра — «блестящая сухость». Суть же его системы сводилась по его словам к «органическому идеал-реализму», который Н. Бердяев называл «своеобразной формой интуитивизма» или «критическим восстановлением наивного реализма».

Конечно же, из однои главы его книги «Характер русского народа», публикуемой ниже, невозможно выявить его основные философские и историко-культурные взгляды. Но, думается, она как нельзя лучше представляет нам одного из замечательных представителей ныне столь заметного и возрождающегося у нас в стране направления в духовной культуре.

Предоставляем возможность читателю самому убедиться в этом.

КОНСТАНТИН КОВАЛЕВ

Н. О. ЛОССКИЙ

СВОБОДОЛЮБИЕ

черты характера

К числу первичных свойств русского народа, вместе с религиозностью, исканием абсолютного добра и силою воли, принадлежит любовь к свободе и высшее выражение ее свобода духа. Это свойство тесно связано с исканием абсолютного добра. В самом деле, совершенное добро существует только в царстве Божием, оно — сверхземное, следовательно, в нашем царстве эгоистических существ всегда осуществляется только полудобро, сочетание положительных ценностей с какими-либо несовершенствами, т. е. добро в соединении с каким-либо аспектом зла. Когда человек определяет, какои из возможных путеи поведения избрать, у него нет математически достоверного знания о наилучшем способе деиствий. Поэтому тот, кто обладает свободою духа, склонен подвергать испытанию всякую ценность не только мыслью, но даже и на опыте.

Аскольдов (псевдоним философа Сергея Алексеевича Алексеева, 1870-1945) в статье «Религиозное и этическое значение Достоевского»* говорит, что личность, как индивидуальное существо, требует, чтобы все нормы жизни получили ее личную санкцию, т. е. чтобы они были избраны и оценены или мышлением, или иррациональною нравственною интуициею, или опытом. Поэтому ярко выраженная личность часто вступает в конфликт с внешними условиями, может даже совершить преступление в своем искании более

* В сборнике статеи о Достоевском, под редакциеи Долинина, 1922.

высоких правил поведения или, по крайней мере, правил. «имеющих более глубокое основание». Достоевский действительно изображает характер русских людей, дерзновенно подвергающих испытанию ценности и нормы в своем личном поведении. Вспомним, напр., Раскольникова, Ставрогина, Ивана Карамазова.*

Достоевский говорит, что в Западной Европе есть прочно установившиеся правила и формы жизни, поддерживаемые во что бы то ни стало ради порядка, считаемые иногда, несмотря на их условность, «священными». А у нас у русских, «нет святынь quand même». Мы любим наши святыни, но потому лишь, что они в самом деле святы. Мы не потому только стоим за них, чтобы отстоять ими l'Ordre.** Вл. Соловьев настойчиво указывает на то, что свободное развитие личности есть существенное условие совершенствования ее. Поэтому, говорит он, право «дозволяет людям быть злыми, не вмешивается в их свободный выбор между добром и злом; оно только в интересах общего блага препятствует злому человеку стать злодеем, опасным для существования общества».***

Вследствие свободного искания правды и смелой критики ценностей русским людям трудно столковаться друг с другом для общего дела. Шутники говорят, что когда трое русских заспорят о каком-либо вопросе, в результате окажется даже и не три, а четыре мнения, потому что кто-либо из участников спора будет колебаться между двумя мнениями. В организациях, основанных для какого-либо общего дела, легко возникают расколы, образуются несколько партий, кружков; в политических партиях несколько фракций. Экардт в книге «Русское христианство» замечает, что в Православной церкви культ неизменен, но многие религиозные представления верующих не подчинены обязательным формулам. А русские, отколовшиеся от Церкви, старообрядцы и сектанты дробятся без конца на множество толков и сект.

В общественной жизни свободолюбие русских выражается в склонности к анархии, в отталкивании от государства. К. Аксаков выработал характерное для славянофилов учение о государстве. Он утверждает, что русский народ резко отличает «землю» и государство. «Земля» есть община; она живет согласно внутренней, нравственной правде, она предпочитает путь мира, согласный с учением Христа. Однако наличие воинственных соседей заставляет в конце концов образовать государство. Для этой цели русские призвали варягов и, отделив «землю» от государства, передали политическую власть выбранному государю. Государство живет внешнею правдою: оно создает внешние правила жизни и прибегает к принудительной силе. Преобладание внешней правды над внутреннею есть путь развития Западной Европы, где государство возникло путем завоевания. Наоборот, в России государство возникло вследствие добровольного призвания «землею» варягов. Итак, согласно Аксакову, грязное дело борьбы со злом путем принуждения, т. е. средствами «внешней правды» самоотверженно берет на себя государь и государственная власть, а «земля» живет по-христиански, внутреннею правдою. При таком отношении к государству понятно, что именно в России явились видные теоретики анархизма – Михаил Бакунин, князь Кропоткин, граф Лев Толстой. Многие толки старообрядцев и многие русские сектанты ненавидят государство и являются сторониками анархизма.

Казачество возникло, как результат бегства смелых предприимчивых людей, ищущих свободы от государства. Заселение севера Европейской России и Сибири совершалось в значительной мере деятельностью людей, старавшихся уйти подальше от государственной власти. Таким образом грандиозная территория Российской империи сложилась отчасти потому, что вольнолюбивые русские люди бежали от своего государства, но когда они заселяли новые земли, государство настигало их.

Даже крепостное право духовно не превратило русского крестьянина в раба. Пушкин рассказывает, как он, едучи в дилижансе из Москвы в Петербург, беседовал с англичанином. «Я обратился к нему с вопросом, что может быть несчастнее русского крестьянина. Англичанин ответил: «английский крестьянин». Пушкин удивился: «Как! свободный англичанин, по вашему мнению, несчастнее русского раба?.. Неужто вы русского крестьянина почитаете свободным?» – Англичанин сказал: «Взгляните на него: что может быть свободнее его обращения с вами? Есть ли тень рабского унижения в его поступи и речи?»*

В другом месте своих записок Пушкин повторяет все похвалы англичанина русскому простолюдину уже от себя.

«Взгляните на русского крестьянина: есть ли и тень рабского унижения в его поступи и речи? О его смелости и смышлености и говорить нечего. Переимчивость его известна; проворство и ловкость удивительны».*

Одна из причин, почему в России выработалась абсолютная монархия, иногда граничившая с деспотизмом, заключается в том, что трудно управлять народом с анархическими наклонностями. Такой народ предъявляет чрезмерные требования к государству. Б. Н. Чичерин в письме к Герцену, издателю «Колокола», указал в 1858 г., как вредно такое отношение к государству. «В обществе юном, которое не привыкло еще выдерживать внутренние бури и не успело приобрести мужественных добродетелей гражданской жизни, страстная политическая пропаганда вреднее, нежели где-либо. У нас общество должно купить себе право на свободу разумным самообладанием, а вы к чему его приучаете? К раздражительности, к нетерпению, к неустойчивым требованиям, к неразборчивости средств. Своими желчными выходами, своими не знающими меры шутками и сарказмами, которые носят на себе заманчивый покров независимости суждений, вы потакаете тому легкомысленному отношению к политическим вопросам, которое и так уже слишком у нас в ходу. Нам нужно независимое общественное мнение — это едва ли не первая наша потребность: но общественное мнение умудренное, стойкое, с серьезным взглядом на вещи, с крепким закалом политической мысли, общественное мнение, которое могло бы служить правительству и опорою в благих начинаниях, и благоразумною задержкою при ложном направлении.**

Существует характерный рассказ о поведении крестьянина, который сам признал, что государственная власть, встречая человека своевольного, должна бывает принудить его к порядку строгими, даже иногда деспотическими мерами. В Петербурге весною таял лед на Неве, и переходить через реку по льду стало опасно. Градоначальник распорядился поставить полицейских на берегу Невы и запрещать переход по льду. Какой-то крестьянин, несмотря на крики городового, пошел по льду, провалился и стал тонуть. Городовой спас его от гибели, а крестьянин вместо благодарности стал упрекать его: «Чего смотрите?» Городовой говорит ему: «Я же тебе кричал». – «Кричал! Надо было в морду дать!»

Великая Российская Империя с абсолютною монархическою властью создалась не только благодаря усилиям правителей ее, но и благодаря поддержке со стороны народа против анархии. Какие слои народа содействовали этому? Искание абсолютного добра и связанное с ним служение высшему началу побуждает целые слои русского народа подчинить свою свободу государству, как необходимому условию обуздания зла; таковы духовенство, купечество и военные люди. Было еще одно существенное условие возникновения сильного государства с абсолютною властью монарха. Ильин в своей книге «Сущность и своеобразие русской культуры» напоминает, что Россия в большей части своей истории была осажденною крепостью. Ссылаясь на С. Соловьева, он указывает следующие цифры: с 800 до 1237 г. каждые четыре года происходило военное нападение на Русь; в 1240-1462 годах было двести нашествий. Ильин подсчитывает, что от 1368 до 1893 г., т. е. в течении 525 лет было 329 лет войны, значит, два года войны и один год мира.

Духовенство самою сущностью служения Богу призвано к тому, чтобы наряду с государством бороться со злом: духовенство борется против зла духовными средствами, а государство средствами принуждения. Не удивительно, что духовенство, зная силу зла, ценит государство, как борца против зла. К тому же в анархических наклонностях народа оно умеет отличать подлинную свободу от подмены ее произволом русской вольницы. Патриотизм, т. е. естественная любовь к родине, и национальное чувство, т. е. любовь к русскому народу, как носителю великих духовных и исторических ценностей, сочетались у русского духовенства с любовью к государству в одно неразрывное целое. Государство мало заботилось о рядовом сельском духовенстве; жизнь его была крайне печальна. В какой нищете жило сельское духовенство, напр., в первой половине XIX века, можно узнать из воспоминаний, напечатанных в русских исторических журналах. Тем более надо поэтому ценить заслуги духовенства, как оплота русской государственности. Во время большевистской революции православное духовенство проявило великую силу духа мученическим исповеданием своей религиозности и патриотизма. Православие также и в русском народе тесно связано с патриотизмом и национализмом, как это отмечают даже иностранцы Леруа-Болье (т. III, кн. 1. гл. 4) и Бэринг (в книге «Русский народ», гл. 27)

Купечество отчасти в силу интересов своего сословия понимало ценность государства и в трудные дни истории приходило ему на помощь. Среди военных, особенно тех, которые избрали этот путь, как свою профессию, было много лиц, служивших государству и отечеству по чувству долга, поэтому без позы, самоотверженно и скромно, без духа милитаризма. Эти свойства их прекрасно изображены в нашей литературе Пушкиным, Лермонтовым, Л. Толстым. Вспомним в «Капитанской дочке» капитана Миронова, в «Герое нашего времени» штабс-капитана Максима Максимовича, в «Войне и мире» капитана Тушина.

Характер русского солдата Л. Толстой наблюдал, служа офицером на Кавказе. В рассказе «Рубка леса» он говорит: «В России есть три преобладающие типа солдат: 1, покорные; 2. начальствующие; 3. отчаянные. Покорные подразделяются на: а) покорных хладнокровных, б) покорных хлопотливых. Начальствующие подразделяются на: а) начальствующих суровых и б) начальствующих политичных. Отчаянные подразделяются на: а) отчаянных забавников и б) отчаянных развратных»

«Чаще других встречающийся тип, – тип более всего милый, симпатичный и большею частью соединенный с лучшими христианскими добродетелями: кротостью, набожностью, терпением и преданностью воле Божией, – есть тип покорного вообще. Отличительная черта покорного хладнокровного есть ничем не сокрушимое спокойствие и презрение ко всем превратностям судьбы, могущим постигнуть его».

Отличительные черты отчаянного забавника: «непоколебимая веселость, огромные способности ко всему, богатство натуры и удаль». Главные черты отчаянного развратного: «неверие и какое-то удальство в пороке. Нужно сказать к чести русского войска», что отчаянные развратники «встречаются весьма редко и, если встречаются, то бывают удаляемы от товарищества самим обществом солдатским» (гл. 2). «Дух русского солдата не основан так, как храбрость южных народов, на скоро воспламеняемом и остывающем энтузиазме: его так же трудно разжечь, как и заставить упасть духом. Для него не нужны эффекты, речи, воинственные крики, песни и барабаны; для него нужны, напротив, спокойствие, порядок и отсутствие всего натянутого. В русском, настоящем русском солдате никогда не заметите хвастовства, ухарства, желания отуманиться, разгорячиться во время опасности: напротив, скромность, простота и способность видеть в опасности совсем другое, чем опасность, составляют отличительные черты его характера» (гл. 13). В «Севастопольских рассказах» Толстой, участвовавший в обороне Севастополя, отмечает «спокойное исполнение долга среди опасностей» («Севастополь в декабре месяце»). Стойкость русского солдата оценил Наполеон, сказавший «Не достаточно убить русского солдата, надо еще его повалить»

В числе многих парадоксов русской жизни один из самых замечательных тот, что политически Россия была абсолютною монархиею, а в общественной жизни в ней была бытовая демократия, более свободная, чем в Западной Европе. Славянофил Хомяков говорил, что по своему характеру русские склонны к демократии. В русском обществе ярко выражена нелюбовь к условностям, иногда бьющая через край, напр., у нигилистов шестидесятых годов. Это заметно даже в религиозной жизни. Леруа-Болье отмечает, что у православных русских существует большая свобода от предписаний Церкви, чем у католиков (том III, кн. II, гл. 4). Шубарт пишет: «Русскому и вообще славянам свойственно стремление к свободе, не только свободе от ига иностранного народа, но и свободе от оков всего преходящего и бренного», «среди европейцев бедный никогда не смотрит на богатого без зависти, среди русских богатый часто смотрит на бедного со стыдом. В русском живо чувство, что собственность владеет нами, а не мы ею, что владение означает принадлежность чему-то, что в богатстве задыхается духовная свобода» (67).

Презрение к мещанству — в высшей степени характерная черта русского общества, именно презрение к буржуазной сосредоточенности на собственности, на земных благах, на том, чтобы «жить как все», иметь хорошую обстановку, платье, квартиру. Герцен, Достоевский, Л. Толстой, повидав жизнь Западной Европы, с отвращением описывают мещанский характер ее. Иванов-Разумник написал трехтомный, весьма обстоятельный труд «История русской общественной мысли. Индивидуализм и мещанство в русской литературе и жизни XIX века». Термин «мещанство», говорит Иванов-Разумник, идет от Герцена, который разумеет под ним коллективную посредственность, умеренность и аккуратность, ненависть к яркой индивидуальности.*

Лев Толстой в самом начале своей писательской деятельности в рассказе «Люцерн» с возмущением описал эгоистическую замкнутость в себе богатых людей, живущих в роскошной гостинице. В расцвете своего художественного творчества он метко заклеймил мещанство, изобразив в «Войне и мире» настойчивые старания Берга и его жены «жить как все».

Борьба против мещанства, т. е. против буржуазного умонастроения и строя жизни, ведется русскою интеллигенциею во имя достоинства индивидуальной личности, во имя свободы ее, против подавления ее государством или обществом, против всякого низведения ее на степень лишь средства. Михайловский был противником разделения труда в общественной жизни; он боялся крайней специализации и возникающего

* О Раскольникове, см. мою книгу «Условия абсолютного добра», («Des conditions de la morale absolue»), о Ставрогине и Карамазове книгу «Достоевский и его христианское миропонимание»

** Достоевский. Дневник писателя, 1876, февраль II 6

*** Вл. Соловьев. Оправдание добра, 466

* Собр. соч. Пушкина под ред. Морозова. 1903, т. 6. Мысли на дороге стр 365-368

* Собр. соч. Пушкина под ред. Морозова. 1903, т. 6. Русская изба, стр. 363

** Цитата, приведенная П. Б. Струве в его статье «Б. Н. Чичерин и его место в истории русской образованности и общественности», перепечатанной в его книге «Социальная и экономическая история России», стр. 331

* Иванов-Разумник, т. I, гл. VIII

вследствие нее обеднения личности; идеалом его была многосторонняя личность. В начале большевистского режима воспитание детей и юношей именно и руководилось этой целью, но впоследствии большевистское правительство вступило на противоположный путь поощрения крайней специализации, понимая, что в тоталитарном государстве подчинить личность коллективу легче всего, имея дело с узкими специалистами. Наоборот, Михайловский и с особенною силою Бердяев ставят индивидуальную, единственную, т. е. неповторимую и незаменимую по своей ценности личность выше общества.

Получение высшего образования в университетах и технологических институтах не было в России привилегиею богатых людей. Русский бытовой демократизм содействовал обилию стипендий и помощи студентам со стороны обществ при университетах. Поэтому русская интеллигенция была внесословною и внеклассовою. Не будь войны 1914 года и большевистской революции, Россия, благодаря сочетанию бытовой демократии с политическою, выработала бы режим правового государства с большею свободою, чем в Западной Европе.

Чуткость ко злу была причиною того, что в русской литературе подверглось решительному осуждению дарвинистическое учение о борьбе за существование, как фактора эволюции. Чернышевский указывал на то, что борьба за жизнь вследствие чрезмерного размножения и недостатка пищи есть источник бедствий, ведущих к вырождению, а не совершенствованию организма. Н. Я. Данилевский в 1885 году напечатал книгу «Дарвинизм», в которой привел ряд убедительных возражений против учения Дарвина о факторах эволюции. Сам он понимал эволюцию, как следствие «органической целестремительности», руководимой «разумною причиною». Михайловский боролся против дарвинистов, применявших закон борьбы за существование в жизни человеческого общества. Кн. П. Кропоткин, географ и геолог, теоретик анархизма, написал книгу «Взаимная помощь, как фактор эволюции». В ней он доказывает, что борьба за существование ведет не к совершенствованию, а к переживанию более примитивных организмов. Взаимная помощь, широко распространенная в природе, говорит он, есть более важный фактор эволюции, содействующий совершенствованию организма.

Свобода духа, искание совершенного добра и в связи с этим испытание ценностей ведет к тому, что у русского народа нет строго выработанных, вошедших в плоть и кровь, форм жизни. Самые разнообразные и даже противоположные друг другу свойства и способы поведения существуют в русской жизни. Бердяев выразительно подчеркнул эту особенность русского народа. «Два противоположные начала, – говорит он, — легли в основу формации русской души: природная, языческая дионисическая стихия и аскетически монашеское православие. Можно открыть противоположные свойства в русском народе: деспотизм, гипертрофия государства и анархизм, вольность, жестокость, склонность к насилию и доброта, человечность, мягкость; обрядоверие и искание правды; индивидуализм, обостренное сознание личности и безличный коллективизм; национализм, самохвальство и универсализм, всечеловечность; эсхатологически мессианская религиозность и внешнее благочестие; искание Бога и воинствующее безбожие; смирение и наглость; рабство и бунт».*

Печально то, что иногда весьма противоположные свойства, добрые и дурные, совмещаются в одном и том же русском человеке. Димитрий Карамазов сказал «широк человек, я бы сузил». Русский историк С. Г. Пушкарев в статье «Two trends in the course of Russian history» утверждает, что диапазон добра и зла в русской жизни более велик, чем у других народов. Он начинает свою статью ссылкою на былинный эпос, в котором противопоставлены высокая степень добра и крайнее напряжение зла. Илья Муромец, по благословлению Христа, храбро защищает христианскую веру и борется против злодеев. А в новгородских былинах воспет Васька Буслаев, который «не верит ни в сон, ни в чох», собирает банду из тридцати таких же, как он, беспутных людей и вместе с ними бесчинствует, пьянствует, пирует, совершает убийства. Французский историк Моно (Monod), который был женат на дочери Герцена и встречал много русских людей, в письме к профессору Легра сказал о русском народе: «я не знаю народа более обаятельного; но я не знаю и более обманчивого».** Под «обманчивостью» Моно, очевидно, разумеет непоследовательность поведения. Бердяев говорит: русским народом «можно очароваться и разочароваться, от него всегда можно ожидать неожиданностей, он в высшей степени способен внушать к себе сильную любовь и сильную ненависть» (стр. 5).

О любви, внушаемой русским народом, мною приведен в первой главе (Автор имеет в виду главу из данной книги. – К. К.) ряд примеров из литературы иностранцев. Примером бешеной ненависти могут служить книга Viktor Hehn «De moribus Ruthenorum» 1892 и книга Sir Galahaad «Der Idiotenführer durch die Russische Literatur». Немец Ген работал, по-видимому, в Публичной Библиотеке в Петербурге, выслужил пенсию и уехал в Германию, где жил на пенсию, получаемую из России. В 1857-1873 гг. он вел дневник, изданный после его смерти профессором Шиманом (Schieman). Русские, говорит Ген, народ без совести, чести, самодеятельности; у них нет творческой силы; к танцам, балету они не способны; лирика Пушкина — подражание, без души и чувства! русские не способны охватывать целое, и в практической жизни, и в художественном творчестве; их литература бездарна. Пушкин — смесь всякого рода подражаний. Гоголь — «ограниченная голова». «Любовь, великая волшебница молодости и венец жизни, им неизвестна». И это писалось о народе, у которого были такие великие поэты, как Пушкин и Лермонтов, и в то время, когда уже появились романы Тургенева, Гончарова, Достоевского, Льва Толстого. Заметив какое-либо хорошее свойство у русских, Ген старается принизить его; напр., он говорит, что русские артельщики очень честны, им можно доверять большие суммы денег; эту честность их он объясняет примитивизмом (106), не проснувшеюся индивидуальностью (202).

Автор «Путеводителя по русской литературе», претенциозно присвоивший себе имя одного из рыцарей Галаада, в такой же мере, как и Ген, отрицает какие бы то ни было достоинства у русского народа. Он утверждает, что русские ничего не изобрели, ни в чем не проявили творчества. Читая «Войну и мир», он нашел у Наташи Ростовой только одно ее проявление, показывание мужу желтого пятна на пеленках выздоравливающего ребенка; над Платоном Каратаевым он только пошло издевается, не замечая в нем ничего хорошего. Я долго искал книгу сэра Галаада с целью прочитать ее и подвергнуть критике. Когда мне удалось найти ее, я не счел ее заслуживающею статьи о ней. Всякий читатель книги Гена или сэра Галаада скажет себе, что такого народа, каким они изображают русских, нет на свете, и книги их — любопытный образец того, до какого ослепления доводит ненависть, чувство сатанинское, как это установил Макс Шелер: оно побуждает радоваться недостаткам ненавидимого существа и печалиться при наблюдении достоинств его.

●

* Русская идея, стр. 6.

** Je ne connais pas de peuple plus séduisant; je n'en sais pas de plus décevant, Legras, «L'âme russe», стр. 5.

ЛИТЕРАТУРА

Стихи. Рассказ. Портрет.



Сочинения Кнута Гамсуна в переводе Александра Блока

КНУТ ГАМСУН

Голос жизни

Мой друг, писатель Г*** рассказывает: вдоль внутренней копенгагенской бухты тянется улица Веставолд, – новый, пустынный бульвар.

Домов на ней мало, фонарей тоже, и прохожих почти не бывает. Даже летом редко кто вздумает по ней прогуляться.

Так вот! Третьего дня со мной на этой улице произошло нечто, и это я хочу тебе рассказать.

Я успел пройтись раза два по бульвару, когда увидел, что навстречу мне идет дама. Кроме нас не видать никого, фонари зажжены, но так темно, что я не могу разглядеть ее лица. Должно быть, просто дитя ночи, — думаю я, — и прохожу мимо.

В конце бульвара поворачиваю обратно, повернула и дама, мы встречаемся опять. Я думаю: она ждет кого-нибудь, посмотрим — кого. И еще раз прохожу мимо нее.

Когда мы поравнялись в третий раз, я приподнял шляпу и заговорил с ней.

— Добрый вечер! Не ждет ли она здесь кого-нибудь?

Она вздрогнула.

— Нет... Да, — ждет.

— А нельзя ли мне составить ей компанию, пока придет тот, кого она ждет?

— Да, можно. – Поблагодарила. Впрочем, она никого не ждет, а пришла сюда погулять потому, что здесь так тихо.

Мы поплелись бок о бок и начали говорить о посторонних вещах; я предложил ей руку.

— Ах, нет! — отвечала она и покачала головой.

Становилось скучно. В окрестной темноте я не мог ее видеть; я зажег спичку и постарался ее осветить, пока смотрел на часы.

— Половина десятого, да, половина десятого, — сказал я.

Она вздрогнула, точно ей стало холодно. Я воспользовался случаем, спросил:

— Вы озябли, может быть, хотите зайти куда-нибудь что-нибудь выпить? В Тиволи или в Национальное?

— Нет, мне сейчас никуда нельзя, – отвечала она.

И только тогда я заметил, что она была в длинной траурной вуали. Я извинился, сославшись на темноту. И то, как она приняла мое извинение, окончательно убедило меня, что это была не обыкновенная ночная женщина.

— Возьмите меня под руку, — сказал я опять, — вам будет теплее.

Она взяла меня под руку.

Мы несколько раз прошлись взад и вперед. Она просила меня взглянуть на часы.

— Начало одиннадцатого, — сказал я. — Где вы живете?

— На Старой Королевской улице.

Я остановил ее.

— Можно мне проводить вас до дому?

— Нет, это нельзя, — отвечала она. — Нет, нельзя.

сентиментальный рассказ

П Р И М Е Ч А Н И Е

Слово «сентиментальный» давно уже несет некий негативный оттенок, которого не было в XVIII веке, когда лицо европейской литературы определял сентиментализм Томсона, Стерна, Юнга, противопоставивших рассудочным правилам Просвещения естественность, непосредственность чувств, заложенных в природе человека. Сентиментализм сменился романтизмом, романтизм — реализмом, но сентиментальность продолжала и продолжает существовать как в литературе, так и в человеке. Далеко не каждому, даже великому прозаику удавалось создать подлинно сентиментальный рассказ. Суровому норвежцу Кнуту Гамсуну это удалось в полной мере. И не случайно в России публикуемые нами рассказы появились в 1910 году в переводе Александра Блока.

К. Гамсун. Полн. собр. соч., т. 4, С.-Петербург. Изд-ва А. Ф. Маркс, 1910

О Т Р Е Д А К Ц И И



Рисунок АРТЕМИЯ ИГНАТЬЕВА

Вы живете в Бредском переулке?

— Откуда вы это знаете? — спросил я, удивленный.

— Я знаю, кто вы, — отвечала она.

Молчание. Мы шли рука об руку и свернули в освещенные улицы. Она шла быстро, длинная вуаль развевалась. Она сказала:

— Пожалуйста, пойдемте быстро.

У подъезда на Старой Королевской улице она повернулась, как будто хотела поблагодарить за то, что я проводил ее. Я открыл ей дверь, она медленно вошла, оглянувшись на меня. Я слегка придержал дверь плечом и вошел за ней.

Она схватила мою руку. Мы не сказали ни слова.

Мы поднялись на третий этаж и остановились.

Она сама открыла наружную дверь, открыла еще дверь, взяла меня за руку и ввела. Мы вошли в комнату; слышно, как тикают часы. Дама остановилась на мгновение у двери, вдруг обвила меня руками и горячо и трепетно поцеловала в губы. Прямо в губы.

— Сядьте, — сказала она. — Вот софа. Я зажгу свет.

И зажгла.

Я смущенно и с любопытством оглядывался. Это была большая, очень красиво обставленная комната; в открытые двери виднелись другие. Я не мог понять, что за существо та, с которой я так странно познакомился. Я сказал:

— Как здесь красиво! Вы живете здесь?

— Да, это наш дом, — отвечала она.

— Ваш дом? Вы здесь живете с родителями?

Она засмеялась и сказала:

— Нет, нет. Я старая замужняя дама. Вот вы увидите!

Она сняла шляпу с вуалью.

— Ну, смотрите! — сказала она и вдруг опять с неудержимой страстью обняла меня.

Большое, безумное дитя! Ей было двадцать два или двадцать три года; она носила на правой руке обручальное кольцо и в самом деле, пожалуй, была замужняя дама. Красивая? Нет. Слишком много веснушек и почти нет бровей. Но все существо ее дышало дико-волнующейся жизнью; ее рот был прекрасен.

Я хотел спросить, как ее зовут, где ее муж, раз она замужем; хотел узнать, чей это дом; но она крепко прижималась ко мне, как только я открывал рот, и запрещала расспрашивать.

— Меня зовут Эллен, — сказала она. — Хотите закусить? Ничего, я могу позвонить. Только вы должны уйти на это время туда, в спальню.

Я вошел в спальню. Лампа из первой комнаты слабо освещала ее. Стояли две кровати. Эллен позвонила, велела принести вина; я слышал, как горничная поставила вино и вышла. Через минуту Эллен вошла в спальню. Она остановилась у дверей. Я шагнул к ней, она вскрикнула и в тот же миг пошла мне навстречу...

Это было вечером третьего дня. Что случилось дальше? Потерпи, случилось еще много. Когда я проснулся утром, начинало светать, свет проникал по обе стороны шторы. Эллен тоже проснулась. Она утомленно вздохнула и улыбнулась мне. Ее руки были белые и бархатные, грудь упругая. Я ей шептал что-то, но она зажала мне рот губами с немою нежностью.

Светало все больше и больше.

Через два часа я был уже на ногах. Эллен тоже встала, уже надела ботинки и шнуровала платье. Вот тут-то я и переживаю то, что до сих пор пронизывает меня ужасом, как страшный сон. Я стою у умывальника. Эллен идет зачем-то в соседнюю комнату, я оборачиваюсь, пока дверь открыта. Холодом несет от открытых окон, и среди комнаты, на длинном столе, лежит мертвец. Мертвец в гробу, с седой бородой, старик. Худые колени торчат под покровом, точно бешено сжатые кулаки, а лицо желтое и непреодолимо страшное. Все это я вижу в ярком дневном свете. Я отворачиваюсь и молчу.

Когда Эллен вернулась, я был уже одет и собирался идти. Я еле мог ответить на ее поцелуи. Эллен тоже оделась, она хотела проводить меня до ворот, я не возражал и все еще не спрашивал ни слова. Спустившись к воротам, она прижалась к стене, чтобы не быть замеченной, и прошептала:

— До свиданья!

— Завтра? — спросил я, содрогаясь.

— Нет, не завтра!

— Почему?

— Молчи, милый, я должна идти завтра на похороны, умер мой родственник. Ну вот, теперь ты знаешь все!

— Так послезавтра?

— Да, послезавтра; я буду ждать тебя здесь, в воротах. Прощай!

Я ушел...

. . . .

Кто она? И кто покойник? Как он сжимал кулаки, в какой ужасной гримасе застыли углы рта! Послезавтра она будет ждать меня. Идти или нет?

Я направляюсь прямо в кафе Берника, спрашиваю адресную книгу, отыскиваю Старую Королевскую улицу, вот эти номера; так я узнаю, как зовут Эллен. Я жду, пока принесут утреннюю газету, набрасываюсь на нее, смотрю объявления об умерших: да, здесь и ее объявление, первое в длинном ряду, жирным шрифтом: «Вчера после продолжительной болезни скончался мой муж на 53-м году жизни». Объявление помечено вчерашним днем. Долго сижу и думаю.

Живут муж и жена, она на тридцать лет моложе его, он болеет долгие годы и наконец умирает. Молодая вдова облегченно вздохнула; жизнь, безумная очаровательница жизнь зовет, и она покорно отвечает на этот голос: иду!

В тот же вечер она идет на Веставольд...

Эллен, Эллен — послезавтра!

Рабы любви

Написала все это я, написала сегодня, чтобы облегчить сердце. Я потеряла место в кафе и с ним вместе мои веселые дни.

Молодой господин в сером каждый вечер приходил в кафе и садился с двумя друзьями за один из моих столиков. Столько их приходило, и все были со мной ласковы, все, кроме него. Он был высок и строен, у него волосы черные и пушистые, глаза синие, — они никогда не останавливались на мне; на губе легкий пушок.

Сначала я ему, пожалуй, совсем не нравилась. Приходил он целую неделю подряд. Я к нему очень привыкла, и, когда он раз вечером не пришел, мне стало без него тоскливо. Я пошла бродить по всему кафе и все его искала; наконец увидала на другом конце, у большой колонны: он сидел с наездницей из цирка. На ней было желтое платье и длинные перчатки до плеч. Она была молодая, и глаза у нее красивые, темные, — а у меня голубые.

Я постояла минутку около них и слушала, о чем они говорили: она упрекала его, он надоел ей, она гнала его прочь. Все сердце во мне закричало: «Царица небесная, отчего же он не придет ко мне!». На следующий вечер он опять пришел со своими друзьями и сел за мой столик. Я не подошла сразу, как всегда, но притворилась, что не вижу их. Когда он подозвал меня, я сказала, подходя к столу:

— Вас не было здесь вчера?

— Как прекрасно сложена наша кельнерша, — сказал он своим друзьям.

— Пива? — спросила я.

— Да, — отвечал он.

Я убежала за кружками.

Прошло два дня.

Он дал мне карточку и сказал:

— Отнесите это...

Я взяла карточку, не дав ему кончить, и отнесла желтой даме. По дороге я прочитала имя: Владимир Ф.

Когда я вернулась, он посмотрел на меня вопросительно.

— Я передала, — отвечала я.

— Вам не дали ответа?

— Нет.

Он дал мне крону и сказал, улыбаясь:

— Можно понять и без слов.

Весь вечер просидел он, упорно глядя на желтую даму и ее спутников. В одиннадцать часов он встал и подошел к ее столику. Она холодно встретила его, а оба ее кавалера болтали с ним и, кажется, дразнили его. Он пробыл там несколько минут, а когда вернулся, я заметила, что в кармане его легкого пальто налито пиво. Он снял пальто, быстро обернулся и посмотрел в сторону столика наездницы. Я вытерла пальто, и он сказал мне, улыбаясь:

— Спасибо, раба.

Я помогла ему надеть пальто и потихоньку погладила его рукой по спине.

Он рассеянно сел. Один из друзей велел принести еще кружку, я хотела захватить кружку и у Владимира. Но он сказал: «не надо», и положил свою руку на мою. От этого прикосновения рука моя беспомощно опустилась, он это заметил и сразу отнял свою руку.

Вечером я два раза молилась за него на коленях у кровати. И целовала правую руку, которой он коснулся. Я была счастлива.

. . . .

Однажды он подарил мне цветы, целую гору цветов. Он их купил у входа, у цветочницы; они были свежие и красивые, почти вся корзинка. Он положил их рядом с собой на стол. Никто из его друзей не пришел. Я становилась за его стулом, как только улучала время, смотрела на него и думала: «Его зовут Владимир Ф.».

Прошло около часу. Он все смотрел на часы. Я спросила его:

— Вы ждете кого-нибудь?

Он взглянул на меня рассеянно и вдруг сказал:

— Нет, никого не жду. Что вы спросили?

— Я только спросила, не ждете ли вы кого-нибудь?

— Подите сюда, — сказал он. — Возьмите.

И дал мне цветы.

Я благодарила его, но не могла сказать вслух ни одного слова, только шептала. Кровь бросилась мне в голову, и радость душила; я остановилась перед буфетом, куда зачем-то пришла, не в силах была пошевелиться.

— Что вам надо? — спросила буфетчица.

— А что вы думаете? — спросила я. — Я все забыла.

— Что я думаю? — сказала буфетчица. — Что вы с ума сошли!

— Отгадайте, кто подарил мне цветы?

Обер-кельнер прошел мимо, и я слышала, как он сказал:

— Вы забыли про пиво для господина с деревянной ногой.

— Мне подарил их Владимир, — сказала я и побежала за пивом.

Ф. еще не ушел. Когда он поднялся, я еще раз поблагодарила его. Он удивился и сказал:

— Собственно я купил их для другой.

Ну да! Может быть, и для другой. Но подарил мне. Сегодня подарил их мне, а не той, для которой купил. И потому я имею право его благодарить. Покойной ночи, Владимир!

На следующее утро шел дождь.

«Какое же платье мне надеть: черное или зеленое? — подумала я. — Конечно, зеленое, оно новое, надену зеленое». Так было весело.

Подходя к месту остановки конок, я увидела, что стоит какая-то дама, тоже ждет под дождем. Зонтика у нее не было. Я предложила ей встать под мой зонтик, но она поблагодарила и отказалась.

Ну, и я закрыла свой зонтик: «пусть дама не одна мокнет, пока мы дожидаемся», — подумала я.

Вечером Владимир пришел в кафе.

— Благодарю вас за цветы, — гордо сказала я.

— Какие цветы? — спросил он. — Ах, те! Не говорите

вы в тех цветах.

— Я только хотела поблагодарить, — сказала я.

Он пожал плечами и отвечал:

— Я не вас люблю, раба!

Нет, не любит меня, нет. Я и не ждала этого, его слова меня не разочаровали. Но я могу его видеть каждый вечер. Он садится за мой столик, и я приношу ему пиво.

— До свиданья, Владимир!

На следующий вечер он пришел очень поздно. Он спросил:

— Много у вас денег, раба?

— Нет, к сожалению, — отвечала я. — Я бедная девушка.

Он посмотрел на меня и, улыбаясь, сказал:

— Вы не так меня поняли. Мне надо немного денег до завтра.

— Это найдется, — отвечала я. — У меня много денег, у меня дома сто тридцать крон.

— Дома? А не здесь?

Я отвечала:

— Подождите четверть часика, и пойдемте со мной, когда здесь закроют.

Он подождал, и мы вышли вместе.

— Ровно сто крон, — сказал он.

Он шел все время рядом со мной и не пускал меня идти ни впереди ни сзади.

— У меня одна маленькая комнатка, — сказала я, когда мы остановились у моего дома.

— Я не пойду с вами, — отвечал он. — Я подожду здесь.

Он остался ждать.

Когда я спустилась, он сосчитал деньги и сказал:

— Здесь больше ста крон. Десять крон я даю вам на чай. Да, слышите, непременно десять крон на чай.

Он протянул мне деньги, пожелал покойной ночи и ушел. Я видела, как он остановился на углу и подал крону старой, хромой нищенке.

На следующий вечер он сожалел, что не может заплатить мне долг. Я благодарила его за то, что он не может этого сделать. Он прямо говорил, что прокутил их.

— Что поделаешь, раба, — говорил он, улыбаясь. Сами знаете: желтая дама!

— Почему ты зовешь нашу кельнершу рабой? — сказал один из его друзей. — Сам ты больше раб, чем она.

— Пива? — спросила я, прервав их.

Скоро пришла желтая дама. Ф. встал и поклонился. Она прошла мимо, села за пустой столик, но прислонила к нему два перевернутых стула. Ф. сейчас же подошел к ней, взял один из стульев и сел. Минуты через две он уже встал и сказал громко:

— Хорошо, я уйду. И никогда не приду больше.

— Благодарю вас, — отвечала она.

Я не чуяла под собой ног от радости, подбежала к буфету и что-то заговорила. Должно быть, рассказывала, что он к ней никогда не вернется. Обер-кельнер проходил мимо; он сделал мне строгий выговор, я даже и внимания не обратила.

Когда закрыли кафе, в 11 часов Ф. проводил меня до дому.

— Дайте мне пять крон из десяти, которые я дал вам вчера, — сказал он.

Я хотела отдать ему все десять, он взял их, но сейчас же дал пять на чай, несмотря на мое сопротивление.

— Я сегодня так счастлива, — сказала я. — Если бы я смела просить вас зайти ко мне! Но у меня такая маленькая комната.

— Я не зайду к вам, — отвечал он. — Спокойной ночи!

Ушел. Опять он прошел мимо старой нищей, но забыл ей подать, хотя она сделала ему книксен. Я подбежала к ней, дала ей мелочи и сказала:

— Это от господина, который сейчас прошел, от господина в сером.

— От господина в сером? — спросила старуха.

— Да, у которого черные волосы, от Владимира.

— Вы его жена?

Я отвечала:

— Нет. Его раба.

Несколько вечеров подряд он говорил с сожалением, что не может отдать мне деньги. Я просила его не огорчать меня так. Он говорил это так громко, что все слышали, и многие смеялись над ним.

— Я негодяй и мошенник, — говорил он. — Я занял у вас деньги и не могу вернуть их вам. За бумажку в пятьдесят крон я бы дал отрубить себе правую руку.

Мне было больно слышать его слова, и я все думала, где бы достать для него денег. Но достать было негде.

Еще он говорил мне:

— Если хотите спросить меня, как вообще я себя чувствую, так... Желтая дама уехала с цирком. Я забыл ее. Даже не думаю о ней.

— Все-таки ты сегодня написал еще одно письмо, — сказал его друг.

— В последний раз, — отвечал Владимир.

Я купила розу у цветочницы и приколола ее к его петлице, с левой стороны. Все время я чувствовала его дыхание на моих руках, и у меня еле хватило силы воткнуть булавку.

— Благодарю вас! — сказал он.

Я потребовала три кроны, которые еще лежали у меня в кассе, и отдала ему. Это была такая малость.

— Благодарю вас! — сказал он опять.

Весь вечер я была счастлива, пока Владимир не сказал вдруг:

— С тремя кронами я уеду на неделю отсюда. Когда я вернусь, я отдам вам все деньги.

Когда он заметил, что я поражена, он добавил:

— Я люблю только вас! — и взял меня за руку.

Я была совсем потрясена: он уезжает — не хочет сказать, куда, несмотря на все мои вопросы. Все кружилось передо мной, все кафе, все посетители, выдержать дольше я не могла и умоляюще схватила его за обе руки.

— Через неделю я вернусь к вам, — сказал он и встал.

Я слышала, как обер-кельнер мне сказал:

— Через две недели можете не являться к нам больше!

«Пожалуйста, — думала я про себя, — мне-то что! Через неделю Владимир вернется». Я хотела его благодарить за это, обернулась, — его уже не было.

Через неделю, вернувшись домой, я нашла от него письмо. Он писал так безутешно, он рассказывал, что поехал за желтой дамой, что он никогда не сможет вернуть мне деньги, — никогда! — что нужда совсем одолела его. И снова бранил себя низкой душой, а под письмом было подписано: «Раб желтой дамы».

Я горевала день и ночь — и ничего не могла делать. Через неделю лишилась места в кафе и должна была искать другого. Днем я ходила в разные кафе и гостиницы и предлагала свои услуги в частных домах. Однако мне не везло. Поздно вечером я покупала совсем дешевые газеты и старательно читала, возвратясь домой, все объявления. Я думала, может быть, и удастся спасти Владимира и себя...

Вчера вечером в одной из газет я увидала его имя и прочла о нем. И сейчас же ушла из дому, бродила долго по улицам, вернулась только утром, сегодня. Может быть, я и спала где-нибудь, или сидела на ступеньках, когда уже не было сил идти, только не помню теперь.

Сегодня опять перечитала; только в первый раз прочитала вчера вечером, когда вернулась домой. Я ломала руки, потом опустилась на стул. Потом, через минуту, села на пол и прислонилась к стулу. Пока думала, ударяла ладонями по полу. Может быть, я ничего не думала; только шумело в голове, я не помнила себя. Потом, должно быть, встала и вышла. На улице, на углу, который так памятен мне, дала я старой нищенке монету и сказала: «Это от господина в сером. Ведь вы помните?»

— Вы, может быть, его невеста? — спросила она.

Я отвечала:

— Нет, я — его вдова.

И бродила до сегодняшнего утра по улицам. Теперь перечла еще раз.

Его звали — Владимир Ф.

ЭДУАРД БАЛАШОВ

НА ПЛОЩАДИ

Тает на облачной пряже
Давнего отчества след.
Злоба на площади пляшет
Храма на площади нет.

Где же душе помолиться?
Или за ветром сигать?
Или к дождю притулиться
И на пыли присягать?

Русь — колокольня сквозная
Без языка и креста.
Злоба гудёт площадная,
Божьего алчет хлыста.

ЕКАТЕРИНА КОЗЫРЕВА

ЧЕРДАК

Клен припал к слуховому окошку
под стрехой подсыхает укроп
Из-под старой тетрадной обложки
видно роспись размашистых строк

Первоклассники, что мы писали,
в давнем том, незабытом году?
Ленин — Сталин... Да здравствует Сталин!
И припомню, как будто в бреду

наши узкие классы в бараке
в окнах — марта померкшего свет,
и тяжелыми шпалами — знаки
на повязках... что Сталина нет.

Мама плакала... Что за утрата!
И сжимаясь, и еле дыша,
будто в чем-то была виновата
и моя настрадалась душа.

Хлам, тряпье! Горевая остуда!
И сама-то я клену под стать
то к окну припаду, то отсюда
я с проклятьем хочу убежать.

ВИКТОР ЛАПШИН

СВЯТАЯ ПРАВДА

В восторге мстительном, или в слепой надежде,
Или в отчаянье — мы те же, что и прежде:
Без прав наследственных, и с правом на права,
Без веры верные, отходчивые чудом,
Для пользы призрачной презревшие Слова,
Что ненавистнее погибели иудам.

Всех благ даятели — мы подаяний ждем,
Снимаем головы друг другу пред вождем,
Покорно каемся, умнеем торопливо,
Блуждаем радостно в глухом лесу затей,
С опасливой оглядкой на детей,
Чья жизнь ущербная пуста и сиротлива.

Их «Дай!» немыслимо без нашего «Даешь!»
Святая правда: что посеешь, то пожнешь
Уже с ухмылкою бесовской доброхоты
От нас уводят их в бездонный ад забав...
Нет, поздно спрашивать: «Кто виноват? Кто прав?»
Пора задуматься бесстрашно: «Чей ты? Кто ты?»

ОЛЕГ КОЧЕТКОВ

БАССЕЙН «МОСКВА»

Один раз я тоже там плавал
Знать, к кощунству гребок приложил,
Сопляком, по неведенью, право,
И никто меня не просветил,
Что могу до креста дотянуться
Безрассудной, наивной рукой!
Неспасающие — да не спасутся,
За пределами жизни мирской!

Плыл, не ведая, что — подо мною,
А тем более, что — надо мной!
Плыл над тяжкой, глубокой виною
Становясь ее свежей виной!

Как и все тут — душой инвалиды,
Не слыхал я, в бесчестье плывя
Отзвучавшие здесь панихиды,
По погибшим, «за други своя!»

Плыл, беспамятной жизни — вершитель,
И не зрил мой беспамятный взор,
Что сиял здесь крестами Спаситель!

Сколько плавающих, до сих пор!

ГЕОРГИЙ ПОЛЯЧЕНКО

РУССКИЙ МОТИВ

Эх, гитара семигрустная,
Радость праздную развей,
Береди, колдунья русская,
Перебором семь бочей.

Затаскай меня, тоскучая,
Всколыхни и воскреси
Все, что вечно душу мучило
На страдающей Руси.

Расскажи, ведунья старая,
Про российское житье.
Накажи прекрасной карою
Одиночество мое!

МИШШИ ЮХМА

СЛОВО

Тучи глядят сурово,
Дождь.
И тумана власть...
Но озарит нас слово,
Словно огонь светясь

Нет ни тепла,
Ни крова
Виден оскал беды...
Вот где родное слово
Слаще живой воды.

С чувашского
перевела Людмила Симонова.

слово о друге

ВСПОМИНАЕТ ЭЛЬЗА ТРИОЛЕ



II

В Париж я ехала долго. Московские визы оказались недействительными, и нас никуда не впускали. Промаявшись в Норвегии, Англии, я попала в Париж лишь в конце 19-го года, тут же вышла замуж и уехала с мужем на остров Таити (см. мою книгу «На Таити», Атеней, 1925-й год, Москва). Через год мы оттуда вернулись в Париж, а в 21-м году я разошлась с мужем и уехала в Лондон, где моя мать работала в советском учреждении «Аркос». В Лондоне я поступила на службу к архитектору — пригодились мне Строительные курсы! — и в 22-м году собралась в Берлин, т. к. туда должны были приехать Лиля и Маяковский.

Не помню, как мы встретились. Знаю, что жили мы все в «Курфюрстен-Отеле», где день-деньской толкался народ — тогда советских русских в Берлин понаехало видимо-невидимо. С Володей мы не поладили с самого начала, чуждались друг друга, не разговаривали. Володя был азартнейшим игроком, он играл постоянно и во что угодно, в карты, ма-джонг, на биллиарде, в придумываемые им игры. До Берлина я знала Володю только таким, каким он бывал у меня, да еще стихотворным, и знала его очень близко, ничего о нем не зная. Литературная борьба — вне стихов — женщины, связь с людьми — все это стояло вне наших отношений. В Берлине я в первый раз жила с ним рядом, изо дня в день, и постоянные карты меня необычайно раздражали, так как я сама ни во что не играю, и при одном виде карт начинаю мучительно скучать. Скоро я сняла две меблированных комнаты и выехала из гостиницы.

На новоселье ко мне собралось много народа. Володя пришел с картами. Я попросила его не начинать игры. Володя хмуро ответил что-то о негостеприимстве. Слово за слово... Володя ушел, поклявшись, что это навсегда, и расстроив весь вечер. Какой же он был тяжелый, тяжелый человек! Опять нас мирила Лиля, но мир был худой, только для вида. Даже когда я тяжело заболела по приезде на остров Нордерней («Дыра дырой — ни хорошая, ни дрянная — немецкий курорт, живу в Нордернее...»), куда мы поехали все вместе мама, Володя с Лилей, и все те, что потянулись за нами— даже тогда Володя на меня, можно сказать, не обернулся. Вижу себя в кровати, лежу, страдаю, а на дворе солнце, все на пляже... Быстро и весело входит Володя, берет с вешалки Лилино полотняное пальто, назидательно говорит самому себе, видимо повторяя Лилины слова: «Не уколись, там две булавки...» - и уходит, не сказав мне ни слова. Не знаю, каким же образом случилось, что у меня оказалась принадлежавшая Володе маленькая, не больше записной, книжечка Гейне «Die Nordsee». Володя Гейне очень любил, и книжечка жила у него в кармане, вынет и читает, с зычным акцентом:

Ihr Lieder! Ihr meine guten Lieder!
Auf, auf! Und Wappnet euch!

Книжечку я храню по сей день.

* * *

В Берлине я начала писать. Уговорил меня на это дело Виктор Шкловский. Он показал мои к нему письма Горькому, Алексей Максимович, живший тогда под Берлином, в Саарове, прислал мне на эти письма как бы рецензию, и одновременно пригласил через Шкловского к себе, погостить. Словом, я осталась в Берлине до 24-го года, и при первом знакомстве Маяковского с Францией не присутствовала.

Я встретилась с ним в Париже в ноябре 1924-го года. Заранее сняла ему комнату на Монпарнассе, в гостинице «Истрия», где я жила по возвращении из Берлина. Там же останавливался и Маяковский, всякий раз как приезжал в Париж.

Монпарнасс — один из районов Парижа, где можно найти дома с мастерскими для художников. Построены эти дома давно, их никогда не ремонтируют, и они стоят старые, грязные, как мусорные ящики, обычно во дворе или на пустыре, именуемом палисадником, заросшим бурьяном и крапивой, и обнесенным пошатнувшимся забором. Мастерские занимают художники, съехавшиеся со всего света учиться живописи на Монпарнассе. По большей части эти художники — народ нищий, и им приходится не только работать, но и жить в этих угрюмых, угарных мастерских, с железной печкой и без какого бы то ни было комфорта. Те же, что побогаче, живут поблизости, в одной из многочисленных маленьких гостиниц Монпарнасса. Но и те и другие все нерабочее время просиживают в кафе, расположенных на перекрестке двух бульваров — Монпарнасс и Распай — в кафе «Дом», «Ротонда», «Куполь» и т. д. Здесь, вместе с художниками, собирались в те времена также и писатели, поэты, музыканты, алчущие славы или уже достигшие ее, а также и разношерстная богема..

Обыкновенно
мы говорим:
Все дороги
приводят в Рим
Не так
у монпарнассца.
Готов поклясться
И Рем
и Ромул,

и Ромул и Рем
В «Ротонду» придут
*или в «Дом»...**

Гостиница «Истрия», где останавливался Маяковский, изнутри похожа на башню: узкая лестничная клетка с узкой лестницей, пятью лестничными площадками без коридоров; вокруг каждой площадки — пять одностворчатых дверей, за ними — по маленькой комнате. Все комнаты в резко-полосатых, как матрацы, обоях, в каждой — двуспальная железная кровать, ночной столик, столик у окна, два стула, зеркальный шкаф, умывальник с горячей водой, на полу потертый желтый бобрик с разводами. Из людей известных, там в то время жили: художник-дадаист Пикабия[20] с женой; художники Марсель Дюшан[21]; сюрреалист-фотограф американец Ман Рей[22] со знаменитой в Париже девушкой, бывшей моделью, по имени Кики[23] и т. д.

Володя в «Истрие» немедленно обжился, научился заказывать по телефону свои утренний завтрак, и т. к. я жила на одном с ним этаже, мне слышно было, как он басил «Жамбон (ветчина), мадам...». Потом он стучался ко мне, и я шла в его комнату и присутствовала при уничтожении «жамбона», плохого кофе, сухарей.. Володя, без пиджака, то сидел боком к столику у окна, выходившего на улицу Кампань-Премьер, то вставал, подходил к ночному столику, на котором лежала открытая записная книжка, твердя что-нибудь вроде: «Un verre de Koto donne de l'énergie...», фраза, которая торчала у него перед глазами, намалеванная огромными буквами на кирпичной стене незастроенного еще тогда участка, по другую сторону улицы, за окном. Словом, писал стихи, эти:

... *со стен обещают:*
Un verre de Koto
Donne de l'énergie

или другие. Записывал, ходил взад, вперед..

...*Я стукаюсь о стол,*
о шкафа острия
четыре метра ежедневно мерь.
Мне тесно здесь
в отеле «Istria»
на коротышке
rue Campagne Premiere
Мне жмет.
Парижская жизнь не про нас —
в бульвары
тоску рассыпаи.
Направо от нас
Boulevard Montparnasse
Налево
Boulevard Raspail

Позавтракав, Володя облачался в пиджак, пальто, мягкую шляпу, брал палку, и мы отправлялись в путь-дорогу.

Повторные поездки Маяковского в Париж сливаются у меня в голове. Одно из его писем в Москву напоминает мне о том, что в первый раз телеграмма, извещавшая меня о часе его приезда, пришла после него, и что он добирался ко мне, в «Истрию», самостоятельно.

Вспоминается Володя в другой приезд, вот он вылезает из вагона, дорогой, московский Володя, как будто и не было перерыва... Близкий, родной, он идет по платформе, равняя свои шаги по моим, мелким, изредка приостанавливается, отступая, оглядывает меня: «Мы про тебя в Москве распускаем слухи, что ты красивая - покажись, не ложные ли это слухи?» Он шел, громадный, с добродушной улыбкой, и все оглядывались на такую необычную для Франции фигуру.

В 24-м году он был особенно мрачен. Пробыл в Париже около двух месяцев, ни на шаг не отпуская меня от себя, будто без меня ему грозят неведомые опасности. Сильно сердился на незнание языка, на невозможность с блеском показать французам советского поэта. Часто я заставала его за писанием писем в Москву, причем он сидел на полу, а бумагу клал на кровать - столик был обычно чем-нибудь завален. Тосковал. Это не мешало нам бродить по Парижу, ходить в магазин «Ольд Ингланд» за покупками... Впрочем, в отношении покупок, раз от раза не отличался: в «Ольд Ингланд» покупались рубашки, галстуки, носки, пижамы, кожаный кушак, резиновый складной таз для душа, в магазине «Инновасион» - особенные чемоданы с застежками, позволяющими регулировать глубину чемодана, дорожные принадлежности - несессеры, стакан, нож, вилка, ложка в кожаном футляре — вещи нужные Маяковскому для его лекционных поездок по России. Он очень любил хорошо сработанные, умные, ладные вещи, радовался им как изобретению. Кроме того, известна крайняя чистоплотность и брезгливость Маяковского, которая отчасти объясняется тем, что отец его умер, уколовшись, от заражения крови. Володя мыл руки, как врач перед операцией, поливал себя одеколоном, и не дай бог было при нем обрезаться! А как-то он меня заставил мазать руки иодом, оттого что на них слиняла красная веревочка от пакета.

Ходили мы также и к портному, которому Володя объяснял при помощи рисунков недостатки своего телосложения, обозначая пунктиром, каким образом костюм должен был бы их исправить! И везде нас сопровождал ласковый смех, и повсюду немедленно возникало желание угодить этому великолепному, добродушному великану.

Ездили по Парижу, вечером, ночью, бродили по Монмартру, ходили по ресторанам, где повкусней. Там, под шум оркестра и шарканье ног, Маяковский сидел, откинувшись на спинку дивана, одной рукой обнимал меня за плечи, другой держал стакан, жевал папиросу и смотрел мутными глазами, за которыми шла сосредоточенная работа — творчество и отделка стихов. Время от времени Володя меня спрашивал: «Ты Лиличку любишь? — Люблю. — А меня ты любишь? — Люблю. - Ну, смотри!» И так он мне надоедал этими вопросами, что, в конце концов, я начинала сердиться: «Чего — смотри! Не всегда предоставляется случай броситься за человеком в огонь и воду!».

В день переноса тела Жореса в Пантеон, мы пошли с ним на улицу Суффло и перед самым Пантеоном долго ждали, зажатые толпой. Когда подошло шествие...

Подняв
знамен мачтовый лес,
спаяв
людей
в один
плывущий флот,
громовый и живой...

Продолжение. Начало в № 1.

* «Прощание» (Кафе)

когда издали, сначала гулом, а потом отчетливо раздавались крики:

«Vivent les Soviets
A bas la guerre!
Capitalisme á bas...»

Володя подхватил меня и посадил к себе на плечо... Я соскальзывала, он опять терпеливо меня подсаживал...

Спиною
к витринам отжали,
и вот
из книжек выжались
тени...

На улице Суффло, в университетском районе Парижа, много книжных лавок, преимущественно научных книг и учебников...

...И снова
71-й год
встает
у страниц в шелестении...

Сосредоточенный и ласковый, Володя, наконец, поставил меня на мостовую, и мы побрели домой, в «Истрию»...

Бывали мы ежедневно, как Ромул и Рем, в кафе на Монпарнассе. Там сразу Маяковского окружали русские, и свои, и эмигранты, и полуэмигранты; а также и французы, которым он меня немедлеиио просил объяснить, что может изъясняться только через меня, что он говорит только на «триоле». Русских появлеиие Маяковского чрезвычайно возбуждало, и они о нем плели невероятиую и часто гнусиейшую ерунду.

...Париж
тебе-ль
столице столетий
к шцу
эмигрантская нудь?
Смахни
за ушми
эмигрантские сплетни
Провинция! -
не продохнуть.

.

Слушайте, читатели,
когда прочтете,
Что с Черчиллем
Маяковский
дружбу вертит
или
что женился я
на кулиджевской тете,
то покорнейше прошу —
не верьте.

В этот приезд, в 1924-м году, Маяковский дожидался в Париже американской визы, собираясь в кругосветное путешествие. Виза не шла, а тем временем из парижской полицейской префектуры пришла повестка, предлагающая г-ну Маяковскому немедленно покинуть Париж. Тоскующий Володя мог бы воспользоваться случаем и тут же вернуться в Москву — но это не было бы на него похоже: все трудное, недоступное, невозможное всегда становилось для Маяковского иеобходимым и желанным. Раз его из Парижа выгоняют, то следует из Парижа не уезжать. Я туда-сюда... Знакомых, которые могли бы помочь в таком деле, у меня не было. Попробовала заинтересовать литературную среду, сунулась в «Нувель Литтерер», литературиую газету, которую тогда редактировал некий Морис Мартен-дю-Гар (не смешивать с Роже Мартен-дю-Гаром), который впоследствии дружно работал с немцами. Но когда я ему объяснила в чем дело, то и Морис Мартен-дю-Гар, и присутствовавшие при разговоре другие лица буквально «ретировались задом»!

Итак, мы с Володей отправились вдвоем в префектуру, без каких бы то ни было рекомендаций. Здесь я приведу иесколько строчек из моих воспоминаний о Маяковском, вышедщих на французском языке:

«...блуждаем по длинным, замусоленным коридорам, иас посылают из канцелярии в канцелярию, я — впереди, Маяковский за мной, сопровождаемый громким стуком металлических набоек на каблуках и металлического конца трости, которую он то везет за собой по полу, то цепляется ею за стены, двери, стулья. Наконец мы причалили к дверям какого-то важного чиновника. Это был чрезвычайно раздраженный господии, который для большей внушительности даже встал из-за письменного стола и громким, яростным голосом заявил, что господин Маяковский должен в 24 часа покинуть Париж! Я начала что-то плести ему в ответ, но Маяковский сбивал меня с толку, все время прерывая меия: «Что ты ему сказала?.. Что он тебе сказал?..»

— Я ему сказала, что ты человек неопасный, что ты не умеешь говорить по-французски...

Лицо Маяковского вдруг просветлело, он доверчиво посмотрел иа раздражеиного господина, и сказал густым, невинным голосом:

— Жамбон* ..

Чиновник перестал кричать, взглянул на Маяковского, улыбнулся и спросил:

— На какой срок вы хотите визу?

Наконец в большом зале, Маяковский передал в одно из окошек свой паспорт, чтобы на него поставили необходимые печати. Чиновник проверил паспорт и сказал по-русски: «Вы из села Багдады, Кутаисской губернии? Я там жил много лет, я был виноделом...» Оба были чрезвычайно довольны этой встречей: подумать только, до чего мвл мир, люди положительно наступают друг другу на ноги!..

Словом, в этот день было столько переживаний, что Маяковский и не заметил, как в самом центре парижской префектуры у него утащили трость!».

Но на этом дело с визой не кончилось. Не знаю зачем, не то срок продления визы был недостаточный, т. к. американская виза все не шла и не шла, то ли Маяковский опасался неприятностей, но он поехал к министру де Монзи, с кем — не знаю. Когда я постучалась к нему в комнату, я застала только что вернувшегося от де Монзи Володю в приятнейшем расположенни духа, возбужденного, и с ним двух молодых людеи. Все трое были в пальто и шляпах, и Володя что-то весело говорил, а те двое молитвенно слушали, не отрывая от него глаз. С визой все состояло благополучно, де Монзи сказал про Маяковского, что «эту физиономию надо показать Франции!», а молодые, которые, если не ошибаюсь, были секретарями де Монзи, оба кончили французский Институт восточных языков, говорили по-русски и были «своими ребятами». Один из них, Жан Фонтенуа, немедленно к нам пришился и начал ходить вокруг да около.

Но такие вспышки веселья у Володи в тот приезд, помнится мне, случались не часто. Мне бывало с ним трудно. Трудно каждыи вечер где-нибудь сидеть и выдерживать всю тяжесть молчания или такого разговора, что уж лучше бы молчал! А когда мы встречались с людьми, то это бывало еще мучительнеи, чем вдвоем. Маяковский вдруг начинал демонстративно, так сказать — шумно молчать. Или же неожидаино посылал взрослого, почтенного человека за папиросами, и удивительнее всего было то, что человек обычно за папиросами шел! Почему-то запомнился один вечер, в танцульке, на втором этаже кафе «Ротонда». За нашим столиком было много народа (среди них Владимир Познер[24] с хорошенькой женой, которая Володе нравилась, Фоитенуа...). Володя сидел мрачный, отодвинув стул, а ведь он любил ходить по танцулькам, хотя сам и ие танцевал. Я же была молода и танцевать любила. В тот вечер, когда я вернулась к столику после танца, Володя как бы иевзначай смахнул на пол мою перчатку. Я ему сказала: «Володя, подними...». Он смахнул и вторую на грязный, заплеванный пол. Не помня себя, я вскочила, выбежала из зала, вниз по лестнице, на улицу. Кто-то бежал за мной, пытался меня догнать, вернуть. Ни за что! С Володей мы встретились на следующий день, оба хмурые, но об инциденте ие заговаривали. А когда мы опять попали в дансинг, я иазло ему пошла танцевать с профессиональным танцором, приставленным к учреждению. Танцору за это следовало заплатить, и Володя, миролюбиво отпустивший меня с ним, только недоуменно спросил, как же это сделать, как ему заплатить?.. «Дай, и все!» И Володя, действительно, протянул танцору руку с зажатыми в кулак деньгами и потом успокоенио сказал: «Ничего, выскреб...».

Рассказываю об этих незиачительных случаях оттого, что характерна именно их незначительность, способность Маяковского в тяжелом настроении натягивать свои и чужие нервы до крайнего предела. Его напористость, энергия, сила, с которой он настаивал на своем, замечательные, когда дело шло о большом и важиом, в обыкновенной жизни были невыносимы. Маяковский не был ни самодуром, ни скандалистом из-за пересоленного супа, ои был в общежитии человеком необычайно деликатным, вежливым и ласковым — и его требовательность к близким носила совсем другой характер: ему необходимо было властвовать над их сердцем и душой. У него было в превосходной степени то, что французы называют Le sense de l'absolu — потребность абсолютного, максимальиого чувства и в дружбе, и в любви, чувства, никогда не ослабевающего, апогейного, бескомпромиссного, без сучка и задоринки, без уступок, без скидки на что бы то ни было...

Мы любовь на дни не делим,
не меняем любимых имен...

И когда я ему как-то сказала, что вот он такое пишет, а женщин-то вокруг него!.. он мне на это торжественно, гневно и резко ответил: «Я никогда Лиличке не изменял. Так и запомни, никогда!». Что ж, так оно и было, но сам-то он требовал от жеищин, — с которыми он Лиле не изменял, — того абсолютного чувства, которое он не мог бы дать, не изменив Лиле. Ни одна женщина не могла надеяться на то, что он разойдется с Лилей. Между тем, когда ему случалось влюбиться, а женщина из чувства самосохранения не хотела калечить своей судьбы, зная, что Маяковский разрушит ее маленькую жизнь, а на большую не возьмет с собой, то он приходил в отчаяние и бешенство. Когда же такое апогейное, беспредельное, редкое чувство ему встречалось, он от него бежал.

Я помню женщину, которая себя не пожалела... Это было году в 17-м. Звали ее Тоней — крепкая, тяжеловатая, некрасивая, особенная и простая, четкая, аккуратная, она мне сразу полюбилась. Тоня была художницей, кажется мне — талантливой, и на всех ее небольших картинах был изображен Маяковский, его знакомые и она сама. Запомнилась «Тайная вечеря», где место Христа занимал Маяковский; на другой — Маяковский стоит у окна, ноги у него с копытцами, за ним убогая комната, кровать, на кровати сидит сама художница, в рубашке. Смутно помню, что Тоня также и писала, не знаю, прозу или стихи. О своей любви к Маяковскому она говорила с той естественностью, с какой говорят, что сегодня солнечно или что море большое. Тоня выбросилась из окна, не знаю в каком году. Володя ни разу, за всю жизнь, не упомянул при мне ее имени.

Странно и страшно то, что незадолго до смерти Тоня сошлась с художником Ш-ом, и что у Маяковского с Ш-ом были свои отношения: Володя постоянно обыгрывал его в карты. Ш., узкий, бледный, белесый немец, был ростом с Маяковского, а то и выше. У Ш-ана была теория, по которой выигрывает в карты человек морально правый, и Маяковский, который часто играл с ним, когда они оба жили в Петрограде, обыгрывал его как хотел, да еще насмехался. Ш. в те времена зарабатывал на жизнь разрисовкой прекрасных шарфов, и когда он совсем обезденежел, Маяковский стал с ним играть на шарфы. И выигрывал их с той уверенностью, с какой человек с деньгами идет в магазин. Помню, как он вериулся от Ш-ана с шарфом и сказал Лиличке: «Вот, я принес тебе его скальп!». Лиличка подарила шарф мне — огромный, до полу, лиловый с розовыми цветами, красавец шарф обшитый черно-бурой лисой. Он цел и по сей день, только уж без лисы, обносилась. А Маяковский с Ш-ом и играть перестал, чтобы не пустить его по миру. Но Тонина любовь была игрои смертельной. Ее жизнь принадлежала Володе, какова была ни была причина мне неизвестная — ее самоубийства.

Женщины занимали в жизни Маяковского много места, вот отчего я так долго останавливаюсь на этой теме...

имя этой теме
......

Дон-Жуан, распятый любовью, Маяковский так же мало походил на трафаретного Дон-Жуана, как хорошенькая открытка на написанное великим мастером полотно. В нем не было ничего пошлого, скабрезного, теноristого, женщин он уважал, старался не обижать, но, когда любовь разрасталась — предъявлял к любви и женщине величайшие требования, без уступок, расчета, страховок... Такой любви он искал, на такую иадеялся и еще в «Облаке» писал:

Будет любовь или нет?
Какая —
большая или крошечная?
Откуда большая у тела такого:
должно быть маленький,
смирный любеночек,
Она шарахается автомобильных гудков,
Любит звоночки коночек.

У Арагона есть такие стихи —

И пока он ходил от женщины к женщине,
Он страшно загрустил,
Пока он ходил от женщины к женщине...

Маяковский ходил от женщины к женщине, и ненасытный и жадный, страшно грустил... Они были нужны ему все, и в то же время ему хотелось единой любви. Любил Лилю, одну, и в то же время бросался к другим, воображал другое. Таким он был по натуре своей. Говорил мне в Париже: «Когда я вижу здешнюю нищету, мне хочется все отдать, а когда я вижу здешних миллиардеров, мне хочется, чтобы у меня было больше, чем у них!»

Больше, сильнее, выше, лучше... Чтобы сердце билось стихами, он искал восторга любви, огромной, абсолютной...

Любить —
Это значит:
в глубь двора
вбежать
и до ночи грачьей,
блестя топором.
рубить дрова,
силой своей играючи.
Любить —
это с простынь
бессоницей рваных,
срываться,
ревнуя к Копернику,
его,
а не мужа Марьи Ивановны,
счития
своим
соперником.

Любовь-двигатель, дающая высший творческии азарт, вызывающая на соревнование с великими творцами, взлетающая над бытом, грязью ревности и мелкими людишками... Таким был Маяковский-поэт, таким он был и в жизни, во всех своих чувствах к «своим» как в любви, так и в дружбе: «Ты Лиличку любишь? — Люблю. — А меия ты любишь? — Люблю. — Ну, смотри...» — Чего, смотреть? Проверка шла по мелочам:

— Элечка, купи мне карманное мыло, в коробочке.

Я шла покупать карманное мыло. Обошла все парижские магазины — нет такого мыла. Володя опять — купи мыло! Нет такого мыла.

— Ты для меня даже куска мыла купить не можешь!

Нет мыла.

— Ты знаешь, что я без языка, и тебе лень мне кусок мыла купить!

Нет мыла. Володя со мной уже не разговаривает,

* Ветчина

мы молчаливо обедаем в ресторане, шагаем мрачно по улицам, настроение безвыходно тяжелое. Но карманного мыла все-таки нет, ничего не поделаешь.

– Как хотите, мадам, я это мыло сам себе куплю.

Володя вернулся в гостиницу с круглой алюминиевой коробочкой, в которой была твердая зубная паста «Жиппс». Он ее, конечно, давно облюбовал, уверенный, что это и есть карманное мыло, но, как только я ему сказала, что такого мыла нет, сейчас же начал этим мылом меня испытывать. Пристыженный, он без конца извинялся, трогательный и ласковый, как нашкодившая собака, которая без конца дает лапу, и смешил меня до тех пор, пока слезы раздражения не переходили в слезы от смеха.

* * *

В 1924-ом году Маяковский в Париже американской визы так и не дождался. Уехал в Москву, но через полгода опять вернулся за тем же, рассчитывая отправиться в кругосветное путешествие. Из Москвы он на этот раз летел, и с восторгом рассказывал мне, как на границах летчик, из вежливого озорства, «приседал на хвост».

Этот приезд, в 1925-ом году, ознаменовался кражей всех денег, которые Маяковский сэкономил для путешествия вокруг света. Днем мы были с ним в банке, он взял все переведенные ему деньги, а оттуда нас, очевидно, проследил профессиональный вор; вор снял в «Истрие» соседнюю с Володей комнату, и когда Володя утром на минуту вышел, в пижаме, не заперев за собой дверь, он успел проникнуть к нему, украсть из пиджака бумажник и скрыться.

Это обнаружилось позднее, когда же я пришла утром к Володе, он еще спокойно жевал свой «жамбон», сидя без пиджака, у столика. Потом встал, надел пиджак висевший на спинке стула, и привычным жестом проверил наощупь, сверху вниз, карманы — все ли на месте. И я увидела, как он вдруг посерел! Бумажник! Обыскали комнату, бросились к хозяйке, и вот мы уже бежим в ближайший полицейский участок...

Володя шагает большими шагами, ему не до того, чтобы приравниваться к моим, и я поспеваю за ним, как могу. Идем молча, каждый думает свою думу... Денег вор не оставил совсем, и я прикидываю, что бы такое продать.. Володя же, может быть, думает о том, как он во второй раз вернется в Москву, не солоно хлебавши, с первого этапа кругосветного путешествия, которое так и не состоится. Наконец я говорю Володе, что можно было бы продать мою меховую накидку и кольцо — единственное мое имущество. Володя смеется и, сразу повеселев, бодро говорит, что продавать ничего не нужно, что ни в коем случае не надо менять образа жизни, что мы будем по-прежнему ходить в ресторан «Гранд Шомьер», покупать рубашки и галстуки и всячески развлекаться, и что в кругосветное путешествие он отправится... Так оно впоследствии и оказалось, хотя поиски полиции ограничились показаниями хозяйки, опознавшей вора, хорошо известного полиции. Но Володя телеграфировал в Москву, Личка организовала ему авансы в Госиздате и перевела нужную сумму. Ясно помню, как Маяковский рассказывал о краже полпреду, Леониду Красину, и как тот не только не посочувствовал и не предложил помочь, но язвительно и почти радостно сказал: «На всякого мудреца довольно простоты!». Да, в то время многие были рады, что, де, Маяковский остался в дураках, злорадствовали и смеялись. А в связи с кражей и таким к себе отношением, он придумал следующую игру: у всех пребывавших тогда в Париже советских русских (а их было немало на Художественно-промышленной выставке) Маяковский просил взаймы денег! Завидя в кафе на Монпарнассе русского, мы его оценивали, каждый по-своему, и если он давал сумму ближе к моей, разница была в мою пользу, если ближе к Володиной, то в его. Когда же он получал отказ, Володя долго отплевывался, выражал мимикой предельную степень возмущения и брезгливости и говорил: «Собака!» Запомнился мне случай с Эренбургом, который только что вернулся из Бельгии и, как обычно, сидел на террасе кафе «Ротонда» — Маяковский обратился и к нему за деньгами. Эренбург ни о чем не стал расспрашивать, ни выяснять, нет ли тут со стороны Маяковского какого-нибудь подвоха, и молча и равнодушно выдал ему пятьдесят бельгийских франков. Маяковский был растроган и доволен – он знал, что у Эренбурга денег мало — и на радостях стал звать Эренбурга Ильей, чего с ним до тех пор не случалось. Когда мы ушли из «Ротонды», он все никак не мог успокоиться, долго трясся от неслышного смеха, и выдавливал: «Бельгийские! Обрати внимание на то, что они бельгийские!».

Кажется тогда же произошел и другой, менее катастрофический инцидент: все в той же гостинице «Истрия» у Маяковского украли только что купленные, новые башмаки, которые он выставил для чистки, перед дверью. Одновременно была украдена другая пара, у художника Марселя Дюшана, и Марсель немедленно сказал: «Это сделала Жанна». Жанна была красивая женщина, без памяти влюбленная в Марселя Дюшана. Она поселилась в «Истрие», оклеила свою комнату, как обоями, обложками художественного журнала, на которых во всю страницу был изображен Дюшан в профиль, и требовала, чтобы Марсель отдавал ей каждую минуту жизни. Дюшан, привлекательный человек, о котором ходили легенды, математически сухой художник, шахматист, ненавидящий сантименты и эксцессы, всячески старался от Жанны избавиться, скрываться от нее, и чтобы заставить его сидеть дома, Жанна выбросила его единственную пару башмаков на помойку, а чтобы не сразу подумали на нее, прихватила вторую пару, Володину! Она сама же мне это и рассказала. Володя от удивления даже не пожалел о башмаках — ну и нравы у монпарнассцев!

* * *

В этот приезд Маяковский уже осмелел и частенько просился у меня «со двора» – его выражение. Я с радостью отпускала, у меня, конечно, не было Володиной выносливости, и я с ним выбивалась из сил. Володя начал брать с собой, в качестве переводчиц и гидов, подворачивающихся ему на Монпарнассе молоденьких русских девушек, конечно, хорошеньких. Ухаживал за ними, удивлялся их бескультурью, жалеючи сытно кормил, дарил чулки и уговаривал бросить родителей и вернуться в Россию, вместо того, чтобы влачить в Париже жалкое существование.

Но, конечно, Маяковский не только девушками занимался в Париже, да и занимался-то он ими, так сказать, попутно, поскольку ему все равно нужен был сопровождающий или сопровождающая.

Помню, был завтрак, устроенный в честь Маяковского писателями унанимистами, на котором присутствовали Жорж Дюамель, Жюль Ромен, Вильдрак, Дюртен, Мак-Орлан ... Встреча с Маринетти в отдельном кабинете ресторана «Вуазен», где нас было только трое: Маяковский, Маринетти и я.

Продолжение следует.

ПРИМЕЧАНИЯ

Франсис Пикабия (1879—1953), французский художник, дадаист

Марсель Дюшен (1887—1968), французский художник, один из основателей «Анонимного общества художников»

Ман Рей — американский фотограф, много работавший во Франции. Художник-новатор, он стремился освободить фотографию от традиционных пут, чтобы нацелить ее на новые формы выразительности.

Кики (род. в 1901 г.). Модель парижских художников, «непременная принадлежность Монпарнасса» 10-20-х годов. Впоследствии занялась живописью. Ее «Портрет Сергея Эйзенштейна» хранится в его музее в Москве

Владимир Познер (род. в 1905 г.), французский писатель, юность провел в России, был членом группы «Серапионовы братья». Занимается переводами и популяризацией современной русской литературы

Жорж Дюамель (1884—1966), французский романист, поэт

Жюль Ромен (1885—1972), французский романист и поэт, наиболее известен его цикл романов «Люди доброй воли», охватывающий события европейской жизни с 1908 по 1933 гг

Шарль Вильдрак (1882—1971), французский писатель, теоретик литературы

Люк Дюртен (1881—1959), французский писатель, его книги часто издавались в СССР

Пьер Мак-Орлан (1882—1970), французский писатель и путешественник



Николай Гумилев. Портрет работы О. Л. Делла-Вос-Кардовской. 1908 г.

Жизнеописание Николая Степановича Гумилева, по известным причинам не знакомое широкому читателю до недавнего времени, сегодня приобретает все более реальные очертания, пополняясь новыми подробностями. Их мы черпаем, в частности, из воспоминаний о поэте, написанных его современниками.

Журнал предлагает вашему вниманию мемуары родственницы поэта Анны Андреевны Гумилевой. Будучи замужем за старшим братом Николая Степановича — Дмитрием, она несколько лет жила в доме Гумилевых.

Читатель любит воспоминания одного писателя, поэта о жизни другого. Они столь же прекрасны, сколь прекрасными бывают переводы с чужого языка, сделанные виртуозными мастерами слова. Перед вами же — «домашние» мемуары, автор которых, в меру скромных своих сил, попытался поведать, каким был Николай Гумилев. И тем не менее, бесхитростный этот рассказ имеет свою прелесть. Литературный дар Анне Андреевне заменили доброта, нежность, человечность, с какими относилась она к своему знаменитому родственнику, и какие, видим, ценила в нем. Добросовестно, с фотографической точностью передавая нам эпизод за эпизодом, Анна Гумилева создала миниатюрную печальную повесть о поэте, который, не ведая о том, как драматически оборвется его жизнь и тяготясь будничным ее течением, стремился драматизировать свою судьбу, разыграть ее, словно на сцене.

Еще одно несомненное достоинство этих мемуаров — их исключительная достоверность, в коей мы всегда можем быть уверены, слушая душевного, искреннего рассказчика.

Мне приходилось читать в печати кое-какие биографические сведения о моем покойном девере, поэте Н. С. Гумилеве, но, часто находя их неполными, я решила поделиться моими личными воспоминаниями о нем. В моих воспоминаниях я буду называть поэта по имени — Колей, как я его всегда называла.

Будучи замужем за старшим братом поэта, Дмитрием Степановичем, я прожила в семье Гумилевых двенадцать лет. Жила я в дорогой мне семье моего мужа с моей свекровью Анной Ивановной Гумилевой, рожденной Львовой, с золовкой Александрой Степановной Гумилевой, по мужу Сверчковой, с ее детьми Колей и Марией и один год — с Степаном Яковлевичем Гумилевым.

Мои воспоминания не являются литературным произведением, я просто хочу рассказать все, что знаю о поэте и его семье. Главное, конечно, о нем, о яркой, незаурядной и интересной личности, каким был Н. С. Гумилев.

Впервые я познакомилась с поэтом в 1909 году. Я поехала с моим отцом в Царское Село представиться семье моего жениха. Вышел ко мне молодой человек 22-х лет, высокий, худощавый, очень гибкий, приветливый, с крупными чертами лица, с большими светло-голубыми, немного косившими глазами, с продолговатым овалом лица, с красивыми шатеновыми гладко причесанными волосами, с чуть-чуть иронической улыбкой, необыкновенно тонкими красивыми белыми руками. Походка у него была мягкая и корпус он держал чуть согнувши вперед. Одет он был элегантно.

От моего жениха я много слышала о Коле, и мне интересно было с ним познакомиться. Я внимательно за ним наблюдала. Он держал себя скромно, но по всему было видно, что этот молодой человек себе на уме. Он был уже принят тогда в «Общество ревнителей художественного слова» и стал сотрудником журнала «Аполлон».

Но прежде чем подробно говорить о Н. С. Гумилеве, хочу хотя бы вкратце сказать о его семье. Дедушка поэта, Яков Степанович Гумилев, был уроженец Рязанской губернии, владелец небольшого имения, в котором он и хозяйничал. Скончался он, оставив жену с шестью малолетними детьми. Степан Яковлевич, отец поэта, был старшим сыном в этой многочисленной семье. Он окончил с отличием гимназию в Рязани и поступил в Московский университет на медицинский факультет. Обладая большими способностями и к тому же сильным характером и упорством, он скоро добился стипендии. Чтобы обеспечить существование семьи, он давал уроки, пересылая заработанные деньги матери. По окончании университета С. Я. поступил в морское ведомство и как морской доктор совершал не раз кругосветные плавания. О своих переживаниях в путешествиях и сопряженных с ними приключениях он часто рассказывал, и, думаю, что это оказало большое влияние на пылкую фантазию будущего поэта. Будучи совсем молодым, С. Я. женился на болезненной девушке, которая скоро скончалась, оставив ему трехлетнюю девочку Александру. Вторым браком С. Я. женился на сестре адмирала Л. И. Львова, Анне Ивановне Львовой. Хотя разница лет была и большая — С. Я. было 45 лет, а А. И. 22 года — но брак был счастливый. После свадьбы молодые поселились в Кронштадте. Позднее, когда С. Я. вышел в отставку, семья Гумилевых переехала в Царское Село, где Коля и его брат провели свое раннее детство.

Анна Ивановна, мать поэта, была родом из старинной дворянской семьи. Родители ее были богатые помещики. Свое детство, юность и молодость А. И. провела в родовом гнезде Слепневе, Тверской губ. А. И. была хороша собой — высокого роста, худощавая, с красивым овалом лица, правильными чертами и большими добрыми глазами; очень хорошо воспитанная и очень начитанная. Характера приятного; всегда всем довольная, уравновешенная, спокойная. Спокойствие и выдержанность перешли и к сыновьям, в особенности к Коле. Вскоре после выхода замуж А. И. почувствовала себя матерью, и ожидание ребенка преисполнило ее чувством радости. Ее мечтой было иметь первым ребенком сына, а потом девочку. Желание ее наполовину исполнилось, родился сын Дмитрий. Через полтора года Бог дал ей и второго ребенка. Мечтая о девочке, А. И. приготовила все приданое для малютки в розовых тонах, но на этот раз ее ожидание было обмануто — родился второй сын Николай, будущий поэт.

Николай Степанович Гумилев родился в Кронштадте 3-го апреля 1886 года, в сильно бурную ночь, и, по семейным рассказам, старая нянька предсказала: «у Колечки будет бурная жизнь». Ребенком Коля был вялый, тихий, задумчивый, но физически здоровый. С раннего детства любил слушать сказки. Все дети были сильно привязаны к матери. Когда сыновья были маленькими, А. И. им много читала и рассказывала не только сказки, но и более серьезные вещи исторического содержания, а также и из Священной Истории. Помню, что Коля как-то сказал: «Как осторожно надо подходить к ребенку! Как сильны и неизгладимы впечатления в детстве! Как сильно меня потрясло, когда я впервые услышал о страданиях Спасителя». Дети воспитывались в строгих принципах православной религии. Мать часто заходила с ними в часовню поставить свечку, что нравилось Коле. С детства он был религиозным и таким же остался до конца своих дней — глубоко верующим христианином. Коля любил зайти в церковь, поставить свечку и иногда долго молился перед иконой Спасителя. Но по характеру он был скрытный и не любил об этом говорить. По натуре своей Коля был добрый, щедрый, но застенчивый, не любил высказывать свои чувства и старался всегда скрывать свои хорошие поступки. Например, в дом Гумилевых многие годы приходила старушка из богадельни, так называемая, «тетенька Евгения Ивановна», хотя тетей она им и не приходилась. Приходила она обыкновенно по воскресеньям к 9 часам утра и оставалась до 7 часов вечера, а часто и ночевать. Коля уже за неделю прятал для нее конфеты, пряники и всякие сладости, и когда Е. И. приходила, он, крадучись, не видит ли кто-нибудь, давал ей и краснел, когда старушка его целовала и благодарила. Чтобы занять старушку, Коля играл с ней в лото и домино, чего он очень не любил. В детстве и в ранней юности он избегал общества товарищей. Предпочитал играть с братом, преимущественно в военные игры и в индейцев. В играх он стремился властвовать: всегда выбирал себе роль вождя. Старший брат был более покладистого характера и не протестовал, но предсказывал, что не все будут ему так подчиняться, на что Коля отвечал: «А я упорный, я заставлю».

Впоследствии, в своей взрослой жизни, поэт тоже не любил подчиняться. В его характере была даже известная доля заносчивости, что вызвало две-три дуэли, о которых он нам, смеясь, рассказывал: «Я вызван был на поединок — Под звоны бубнов и литавр».

Хотя братья и были разного характера, но они были очень дружны, что все же не мешало им иногда подтрунивать друг над другом. Когда старшему брату было десять лет, а младшему восемь, старший брат вырос из своего пальто и мать решила передать его Коле. Брат хотел подразнить Колю: пошел к нему в комнату и, бросив пальто, небрежно сказал «На, возьми, носи мои обноски!». Возмущенный Коля сильно обиделся на брата, отбросил пальто и никакие уговоры матери не могли заставить Колю его носить. Даже самых пустяшных обид Коля долго не мог и не хотел забывать. Прошло много лет. Мужу не понравился галстук, который я ему подарила, и он посоветовал мне предложить его Коле, который любит такой цвет. Я пошла к нему и чистосердечно рассказала, что галстук куплен был для мужа, но раз цвет ему не нравится, не хочет ли Коля его взять? Но Коля очень любезно, с улыбочкой, мне ответил: «Спасибо, Аня, но я не люблю носить обноски брата». Другой пример. Коля дал мне прочесть свое стихотворение, а я была в саду около дома. Села, читаю. В это время пришла племянница десяти лет и попросила поиграть с ней в мячик. Я встала и аккуратно положила листочек, где было написано стихотворение, на скамейку. Не прошло и двадцати минут, как пошел вдруг сильный дождь. Мы быстро вбежали в дом, а листочек я забыла на скамейке. Дождь прошел. Коля вышел в сад и — о, ужас! — видит продукт своего творчества промокшим от дождя. Он так обиделся за такое пренебрежение, что сказал: «Вам никогда не посвящу ни одного стихотворения, даже ни одной строчки». Слово это, увы, сдержал.

Учиться Коля начал рано. Первоначальное обучение получил дома. С шестилетнего возраста он прислушивался к учению на уроках брата. В семь лет уже читал и писал. С восьмилетнего возраста стал писать рассказы и стихи. Помню, А. И. многие из них сохраняла, держа в отдельной шкатулке, обвязанной бантиком.

Зимою семья жила в Царском Селе, а летом уезжала в имение Березки Рязанской губ., купленное С. Я., чтобы дети могли летом пользоваться полной свободой, набирая сил и здоровья на просторе. Там мальчики много охотились, купались.

Когда семья жила в Петербурге, мальчики посещали гимназию Гуревича, которую поэт очень не любил. Будучи уже взрослым, он говорил, что одна эта Лиговская улица, где находилась гимназия, наводила на него бесконечную тоску. Все ему там не нравилось. И был очень рад, когда ему пришлось покинуть стены «нудной» гимназии.

Тогда С. Я. решил ехать всей семьей в Тифлис и пробыть там некоторое время. Семья Гумилевых прожила в Тифлисе три года. В 1900 году мальчики поступили во II тифлисскую гимназию, но отцу не нравился дух этой гимназии, и мальчики были переведены в I тифлисскую гимназию. В Тифлисе Коля стал более общительным, полюбил товарищей. По его словам, они были «пылкие, дикие», и это ему было по душе. Полюбил он и Кавказ. Его природа оставила в Коле неизгладимое впечатление. Часами он мог гулять в горах. Часто опаздывал к обеду, что вызывало сильное негодование отца, который любил порядок и строго соблюдал часы трапезы. Однажды, когда Коля поздно пришел к обеду, отец, увидя его торжествующее лицо, не сделав обычного замечания, спросил, что с ним? Коля весело подал отцу «Тифлисский листок», где было напечатано его стихотворение — «Я в лес бежал из городов». Коля был горд, что попал в печать. Тогда ему было шестнадцать лет.

В 1903 г. семья вернулась в Царское Село. Здесь мальчики поступили в царскосельскую классическую гимназию. Директором ее был известный поэт Иннокентий Федорович Анненский. В первый же год Анненский обратил внимание на литературные способности Коли. Анненский имел на него большое влияние, и Коля как поэт многим ему обязан. Помню, как Коля рассказывал, как однажды директор вызвал его к себе. Он был тогда совсем юный. Идя к директору, сильно волновался, но директор встретил его очень ласково, похвалил его сочинения и сказал, что именно в этой области он должен серьезно работать. В своем стихотворении «Памяти Анненского» Коля упоминает об этой знаменательной встрече:

«...«Я помню дни: я робкий, торопливый
Входил в высокий кабинет,
Где ждал меня спокойный и учтивый,
Слегка седеющий поэт».

Но в гимназии Коля хорошо учился только по словесности, а вообще — плохо. По математике шел очень слабо.

Когда мальчики подросли, С. Я. продал свое имение Березки, и купил небольшое имение Поповка — под самым Петербургом, чтобы мальчики не только на лето, но и на все праздники приезжали в деревню набирать здоровья. Оба брата были сильно привязаны к дому, любили свой домашний очаг, и их всегда тянуло домой. Старший после окончания классической царскосельской гимназии по желанию отца поступил в Морской корпус, в гардемаринские классы, был одно лето в плавании, но так тосковал, что раньше времени вернулся домой. А поэт по настоянию отца должен был поступить в университет. Коля захотел поехать в Париж, и там поступил в Сорбонну. Но и он тоже сильно тосковал по дому и хотел даже вернуться, но отец не разрешил. В Сорбонне Коля слушал лек-

ции по французской литературе, но больше всего занимался своим любимым творчеством и даже издавал небольшой журнал, где печатал свои стихи под псевдонимом. В Париже он начал мечтать о путешествиях, особенно его тянуло в Африку, в страну, где полночь

«...непроглядная темень.
Только река от луны блестит,
А за рекой неизвестное племя,
Зажигая костры, шумит»

Об этой своей мечте хоть недолго пожить «между берегом буйного Красного моря и Суданским таинственным лесом» — поэт написал отцу, но отец категорически заявил, что ни денег, ни его благословения на такое (по тем временам) «экстравагантное путешествие» он не получит до окончания университета. Тем не менее Коля, невзирая ни на что, в 1907 году пустился в путь, сэкономив необходимые средства из ежемесячной родительской получки. Впоследствии поэт с восторгом рассказывал обо всем виденном: — как он ночевал в трюме парохода вместе с пилигримами, как разделял с ними их скудную трапезу, как был арестован в Трувилле за попытку пробраться на пароход и проехать «зайцем». От родителей это путешествие скрывалось, и они узнали о нем лишь пост фактум. Поэт заранее написал письма родителям, и его друзья аккуратно каждые десять дней отправляли их из Парижа. После экзотического путешествия Петербург навел на поэта тоску. Он только и мечтал опять уехать в страну, где «Каналы, каналы, каналы, — Что несутся вдоль каменных стен. — Орошая Дамьетские скалы — Розоватыми брызгами пен» (Египет).

Вернувшись в 1908 г. в Россию, Коля нашел С. Я. тяжело больным ревматизмом. Отец уже не выходил из кабинета, сидя в большом кресле. А. И. неотлучно находилась при муже, и войти в кабинет отца можно было только с его разрешения. В Петербурге Коля тогда весь отдался своему творчеству. Он сблизился с многими поэтами и совершенно забросил занятия в университете. Это вызвало сильное недовольство отца, который упорно требовал, чтобы он закончил университет, и этот спор обычно кончался тем, что Коля обнимал отца, обещая серьезно взяться за занятия и окончить университет. Отец не особенно этому верил и был прав, своего обещания Коля так и не сдержал.

Будучи от природы очень наблюдательным, Коля всегда подмечал у каждого слабые стороны, которые сейчас же высмеивал. Он вообще любил поддразнивать и грешным делом насмехаться, но добродушно. Помню, пришел однажды товарищ, окончивший университет и все старался, чтобы мы обратили внимание на его университетский значок. Коля это заметил и сказал: «Володя, подвесь лучше твой значок на лоб, по крайней мере не надо будет тебе вертеться, чтобы его видели. Тогда всем ясно будет, что ты человек науки!».

Подсмеивался он и над племянником, который ходил в царскосельскую гимназию, как в университет, когда вздумается. Способности дедушки-художника Сверчкова, видимо, перешли к внуку, и племянник днями и часами рисовал в ущерб ученью. Подсмеивался и над матерью, добродушно, конечно, что она любила подчас читать Марлита, но как только замечал, что мать обижается, сейчас же подбегал и целовал ее. Его маленькая, двенадцатилетняя племянница как-то сказала, что прочла какую-то книгу и добавила: «Я ее взяла, потому что там хорошая печать». Коля сейчас же подхватил: «Ты, я вижу, выбираешь и читаешь книги по печати, а не по содержанию». Иногда он даже слишком приставал к ней, и она объявила, что боится «при дяде Коле рот открыть». Тоже искал случая высмеять сестру по отцу, Александру Степановну Гумилеву, по мужу Сверчкову. У нее была маленькая собачка Лэди, и она сильно оберегала собачку от «искушения» и зорко за нею следила. Как-то раз, спасая собачку (так выразился Коля), сестра упала и сильно повредила ногу. Доктор, лечивший ее, сказал: «Из-за собачки не стоило рисковать ногами». На это Коля, как бы волнуясь, заявил: «Помилуйте, доктор! Ведь это же Лэди! Сестра, наверное, была бы менее экспансивна и вряд ли чем-нибудь рискнула, если бы кому-нибудь из нас грозила такая же опасность».

Ранней весной 1910 года С. Я. скончался. После его смерти жизнь в семье Гумилевых сильно изменилась даже внешне. Отцовский кабинет перешел Коле, и он в нем все переставил по-своему. Как часто добрые по существу люди бывают подчас неделикатны и даже эгоистичны! Помню, не прошло и семи дней, как пришла ко мне в комнату расстроенная А. И. и жаловалась на колину нечуткость. «Не успели отца похоронить, — говорила она, — как Коля стал устраиваться в его кабинете. Я его прошу подождать хоть две недели, мне же это слишком тяжело! А он мне отвечает: я тебя, мамочка, понимаю, но не могу же я постоянно работать в гостиной, где мне мешают. Дмитрий и Аня так часто и надолго приезжают, что мне всегда приходится уступать им свой кабинет». Без ведома А. И. я сейчас же пошла убеждать Колю повременить, но мои доводы на него не подействовали, он только посмеялся над моей сентиментальностью.

В дом влилось много чуждого элемента. Весною, 25-го апреля этого же года, поэт женился на Анне Андреевне Горенко (Ахматовой). Свадьбу отпраздновали спокойно и тихо ввиду траура в семье. В этом году Коля осенью поехал в Абиссинию, побывал в самых малодоступных ее местах. В тропических лесах охотился на слонов, в горах со своим абиссинцем ходил на леопарда. Много рассказывал, заражая своими интересными впечатлениями племянника, так называемого Колю-маленького (Сверчкова), юношу 17-ти лет, который объявил, что тоже хочет

«...бродить по таким же дорогам,
Видеть вечером звезды как крупный горох,
Выбегать на холмы за козлом длиннорогим,
На ночлег зарываться в седеющий мох...»

Коля-поэт обещал любимому племяннику в следующее путешествие взять его с собой, что и исполнил. Жена осталась дома. Из Абиссинии Коля навез всяких абиссинских мелочей.

В семье Гумилевых очутились две Анны Андреевны. Я блондинка, Анна Андреевна Ахматова — брюнетка. А. А. Ахматова была высокая, стройная, тоненькая и очень гибкая, со смуглым цветом лица. Она держалась в стороне от семьи. Поздно вставала, являлась к завтраку около часа, последняя, и войдя в столовую говорила: «Здравствуйте все!». За столом большею частью была отсутствующей, потом исчезала в свою комнату, вечерами либо писала у себя, либо уезжала в Петербург. Те вечера, когда Коля бывал дома, он часто сидел с нами, читал свои произведения, а иногда много рассказывал, что всегда было очень интересно. Коля великолепно знал древнюю историю и, рассказывая что-нибудь, всегда приводил из нее примеры. Памятно мне любимое большое мягкое кресло поэта, доставшееся ему от покойного отца. Сидя в нем, он писал свои стихи. Творить Коля любил по ночам и часто мы с мужем — комната была рядом с его кабинетом — слышали равномерные шаги за дверью и чтение вполголоса. Мы переглядывались, и муж говорил: «Опять наш Коля улетел в свой волшебный мир».

В домашней обстановке Коля всегда был приветлив. За обедом всегда что-нибудь рассказывал и был оживленный. Когда приходили юные поэты и читали ему свои стихи, Коля внимательно слушал; когда критиковал — тут же пояснял, что хорошо и почему то или другое неправильно. Замечания он делал в очень мягкой форме, что мне в нем нравилось. Когда ему что-нибудь нравилось, он говорил: «Это хорошо, легко запоминается», и сейчас же повторял наизусть. Коля и в семье был строг к чистоте языка. Однажды я, придя из театра и восхищаясь пьесой, сказала: «Это было страшно интересно!». Коля немедленно напал на меня и долго пояснял, что так сказать нельзя, что слово «страшно» тут совершенно неуместно. И я это запомнила на всю жизнь.

Когда по вечерам вся семья оставалась дома, после обеда мать любила брать сыновей под руку и ходить взад и вперед по гостиной; тут сыновья очень трогательно оспаривали друг у друга, кто возьмет мамочку под руку, а кто обнимет. Обычно после долгого торга, мать, улыбаясь, сама разрешала спор — одного возьмет под руку, а другого обнимет, и все трое маршировали по комнате, весело разговаривая. Но редко приходилось нам проводить вечера «уютным кустиком», как говорил Коля; обыкновенно кто-нибудь нарушал нашу семейную идиллию.

В начале 1911 года Анна Ивановна купила дом в Царском Селе на Малой ул., 15. Она видела, что слишком много денег тратится зря. Купила прелестный двухэтажный дом и тут же небольшой, тоже двухэтажный, флигель с садиком и хорошеньким двориком. А. И. с падчерицей и внуками занимали верхний этаж, поэт с женой и я с мужем — внизу. Тут же внизу находились столовая, гостиная и библиотека. После своего второго путешествия в Африку Коля внес в дом много экзотики, которая ему всегда нравилась. Свои комнаты он отделал по своему вкусу и очень оригинально.

Вспоминается мне наша чудная библиотека, между гостиной и колиной комнатой. В библиотеке вдоль стен были устроены полки, снизу доверху наполненные книгами. В библиотеке во время чтения было принято говорить шепотом. Для поэта библиотека была «святая святых», и он не раз повторял, что надо держать себя в ней, как в настоящей библиотеке. Посредине находился большой круглый стол, за которым читающие чинно сидели.

С годами Коля стал очень общительным. Имел много товарищей и друзей. Дружил с И. Ф. Анненским, Вячеславом Ивановым и многими другими. Часто бывали Городецкий и Блок. Дом Гумилевых был очень гостеприимный, хлебосольный и радушный. Хозяева были рады всякому гостю, в которых не было недостатка везде, где бы Гумилевы ни жили. Я очень любила, когда поэт устраивал литературные вечера. Вспоминаю один эпизод. Однажды один молодой поэт читал с жаром

и увлечением свою поэму. Царила полная тишина. Вдруг раздался равномерный, громкий храп. Смущенный и обиженный, поэт прервал чтение. Все переглянулись. Коля встал. Окинул взором всех слушателей и видит, все сидят чинно, улыбаются, переглядываются и ищут храпящего гостя. Каково же было наше удивление, когда виновником храпа оказалась собака Молли, бульдог, любимица Анны Ахматовой. Все много смеялись и долгое время дразнили молодого чтеца, называя его Молли.

В 1911 г. у Анны Ахматовой и Коли родился сын Лев. Никогда не забуду счастливого лица Анны Ивановны, когда она нам объявила радостное событие в семье — рождение внука. Маленький Левушка был радостью Коли. Он искренне любил детей и всегда мечтал о большой семье. Бабушка Анна Ивановна была счастлива, и внук с первого дня был всецело предоставлен ей. Она его выходила, вырастила и воспитала. Коля был нежным и заботливым отцом. Всегда, придя домой, он прежде всего поднимался наверх, в детскую, и возился с младенцем.

Но мятежную натуру поэта патриархальная спокойная семейная обстановка надолго удовлетворить не могла. Он задумал путешествие в Италию. Но всегда его что-то задерживало: осенью этого же года он основал с Сергеем Городецким Цех Поэтов. Только весною 1912 года ему удалось исполнить свою мечту и поехать в Италию. Он давно хотел побывать в Венеции и воочию увидеть красоту этого города, где

«Лев на колонне, и ярко
Львиные очи горят,
Держит Евангелье Марка,
Как серафимы крылат»

Коля посетил несколько городов Италии. Говорил он об Италии с таким жаром, что забывал весь мир и требовал, чтобы мы с мужем обязательно поехали в Рим, где

«Волчица с пастью кровавой
На белом, белом столбе...»

И рекомендовал мужу не засматриваться на красивых ярких итальянок, а хорошенько осмотреть

«Лик Мадонн вдохновенный
И храм Святого Петра»,

что мы и исполнили — через несколько месяцев муж взял отпуск и мы поехали в Италию.

* * *

В жизни Коли было много увлечений. Но самой возвышенной и глубокой его любовью была любовь к Маше. Под влиянием рассказов А. И. о родовом имении Слепневе и о той большой старинной библиотеке, которая в целости там сохранилась, Коля захотел поехать туда, чтобы ознакомиться с книгами. В то время в Слепневе жила тетушка Варя — Варвара Ивановна Львова, по мужу Лампе, старшая сестра Анны Ивановны. К ней зимою время от времени приезжала ее дочь Констанция Фридольфовна Кузьмина-Караваева со своими двумя дочерьми. Приехав в имение Слепнево, поэт был приятно поражен, когда, кроме старенькой тетушки Вари, навстречу ему вышли две очаровательные молоденькие барышни — Маша и Оля. Маша с первого взгляда произвела на поэта неизгладимое впечатление. Это была высокая тоненькая блондинка с большими грустными голубыми глазами, очень женственная. Коля должен был остаться несколько дней в Слепневе, но оттягивал свой отъезд под всякими предлогами. Нянечка Кузьминых-Караваевых говорила: «Машенька совсем ослепила Николая Степановича». Увлеченный Машей, Коля умышленно дольше чем надо рылся в библиотеке и в назначенный день отъезда говорил, что библиотечная «...пыль пьянее, чем наркотик...», что у него сильно разболелась голова, театрально хватался при тетушке Варе за голову, и лошадей откладывали. Барышни был очень довольны: им было веселее с молодым дядей. С Машей и Олей поэт долго засиживался по вечерам в библиотеке, что сильно возмущало нянечку Караваевых, и она часто бурно налетала на своих питомиц, но поэт нежно обнимал и унимал старушку, которая после говорила, что «долго сердиться на Николая Степановича нельзя, он своей нежностью всех обезоруживает».

Летом вся семья Кузьминых-Караваевых и наша проводили время в Слепневе. Помню, Маша всегда была одета с большим вкусом в нежно-лиловые платья. Она любила этот цвет, который ей был к лицу. Меня всегда умиляло, как трогательно Коля оберегал Машу. Она была слаба легкими, и когда мы ехали к соседям или кататься, поэт всегда просил, чтобы их коляска шла впереди, «чтобы Машенька не дышала пылью». Не раз я видела Колю сидящим у спальни Маши, когда она днем отдыхала. Он ждал ее выхода, с книгой в руках все на той же странице, и взгляд его был устремлен на дверь. Как-то раз Маша ему откровенно сказала, что не вправе кого-либо полюбить и связать, так как она давно больна и чувствует, что ей недолго осталось жить. Это тяжело подействовало на поэта.

«...Когда она родилась, сердце
В железо заковали ей
И та, которую любил я,
Не будет никогда моей»

Осенью, прощаясь с Машей, он ей прошептал: «Машенька, я никогда не думал, что можно так любить и грустить». Они расстались, и судьба их навсегда разлучила.

Поэт много стихотворений посвятил Маше. Во многих он упоминает о своей любви к ней, как например, в «Фарфоровом павильоне», в «Дорогах»:

«Я видел пред собой дорогу
В тени раскидистых дубов,
Такую милую дорогу
Вдоль изгороди из цветов.
Смотрел я в тягостной тревоге,
Как плыл по ней вечерний дым,
И каждый камень на дороге
Казался близким и родным.
Но для чего идти мне ею?
Она меня не приведет
Туда, где я дышать не смею,
Где милая моя живет»

Весною 1913 года Коля вновь задумал предпринять путешествие в неведомые и малоисследованные места. Хорошо о нем сказано, что он создал новую музу, «музу дальних странствий», чему соответствуют и его слова «...как будто не все пересчитаны звезды, как будто наш мир не открыт до конца...». Свое третье путешествие Коля иначе обставил и совершил. Это было весной 1913 года. У Гумилевых тогда было много разговоров об академике Радлове, который хлопотал, чтобы Коля был командирован Академией Наук в качестве начальника экспедиции на Сомалийский полуостров для составления всяких коллекций, для ознакомления с нравами и бытом абиссинских племен. Но насколько я помню, Коля поехал на свои средства. Анна Ивановна дала ему крупную сумму из своего капитала, это я наверное знаю. Но так как Академия Наук тоже заинтересовалась его путешествием, то обещала купить у него те редкие экземпляры, которые он брался привезти. Поехал он, как я уже упомянула, вдвоем с любимым 17-летним племянником Колей Сверчковым, Колей-маленьким. Когда они уехали, семья, в особенности обе матери, сильно беспокоились за сыновей, зная страсть к приключениям Коли-поэта. Он всегда был очень храбрый и с детства презирал малодушие и трусость. «...Да, ты не был трусливой собакой — Львом ты был между яростных львов...!» И его бесстрашие немало волновало семью. Старушка няня о нем говорила: «Наш Коленька всегда любит лезть на рожон, вот уж неугомонный! Не сидится ему на месте, все ищет где поопаснее». Путешествие длилось несколько месяцев. Большой радостью было их возвращение, о котором мы не были предупреждены. Все треволнения были забыты и все были полны интереса к занимательным рассказам, которым, казалось, не было конца. Все обещания Коля выполнил и действительно привез очень много всяких коллекций, которые были им сданы в Музей Антропологии и Этнографии при Академии Наук. Что именно не помню, но помню, что им были очень довольны, чем и он был очень горд. Царскосельский дом обогатился чудным экземпляром — большой стоячей черной пантерой. Эту огромную пантеру, черную как ночь, с оскаленными зубами, поставили в нишу между столовой и гостиной и ее хищный вид производил на многих прямо жуткое впечатление. Коля же всегда ею любовался. Помню, как Коля первый раз показал мне свою пантеру. Когда мы приехали с мужем в Царское Село к нашим, дверь в гостиную была заперта, что бывало редко. В передней нас встретил Коля и просил пока в гостиную не входить. Мы поднялись наверх к А. И., ничего не подозревая; думали, что у Коли молодые поэты. Только когда совсем стемнело, Коля пришел наверх и сказал, что покажет нам что-то очень интересное. Он повел нас в гостиную и, как полагается, меня как даму пропустил вперед; открыл дверь, заранее потушив в гостиной и передней электричество. Было совсем темно, только яркая луна освещала стоящую черную пантеру. Меня поразил этот зверь с желтыми зрачками. Первый момент я подумала, что она живая. Коля был бы способен и живую пантеру привезти! И тут же, указывая на пантеру, Коля громко продекламировал: «...А ушедший в ночные пещеры или к заводи тихой реки — Повстречает свирепой пантеры Наводящие ужас зрачки...».

Привез Коля и красивого живого попугая, светло-серого с розовой грудкой. Коля был очень увлекательным рассказчиком. Обычно вне своего литературного кружка, он в обществе держал себя очень скромно, но если что-либо было ему интересно и по душе, то он преображался, загорались его большие глаза, и он начинал говорить с увлечением. Однажды у нас в имении на охоте, где оба брата, Дмитрий и Коля, отличились меткой стрельбой, один из гостей сказал поэту, что с таким метким глазом не страшно было бы идти на охоту на слонов и львов, и задал Коле несколько вопросов насчет Абиссинии. Коля с жаром стал рассказывать о своих переживаниях в

Африке и так образно, что ясно можно было себе представить, как он с племянником и с тремя провожатыми, из которых один был «...карлик мне по пояс, голый и черный»..., шли по лесу, где вряд ли ступала человеческая нога; ночь провели в лесу и долго искали более или менее удобного убежища и наконец нашли. «...И хороша была нора — В благоухающих цветах...» Рассказывал, что туземцы в Абиссинии очень суеверны; многого наслушался он за ночи, проведенные в лесу, как, например, — если убитому леопарду не опалить немедленно усы, дух его будет преследовать охотника всюду. «...И мурлычит у постели — Леопард убитый мной.» Та леопардова шуба, в которой Коля ходил по Петербургу зимой (всегда расстегнутая и гревшая фактически только спину), была из двух леопардов, один из которых был убит им самим, а другой туземцами. В ней он шествовал обыкновенно не по тротуару, а по мостовой, и всегда с папиросой в зубах. На мой вопрос, почему он не ходит по тротуару, он отвечал, что его распахнутая шуба «на мостовой никому не мешает». Уезжая в Африку, Коля говорил, что «У него мечта одна — Убить огромного слона — Особенно когда клыки — И тяжелы и велики» И действительно, по его словам, он наполовину исполнил свою мечту: «Он взял ружье и вышел в лес. — На пальму высохшую влез — И ждал». Туземцы ему сообщили, что «...здесь пойдет на водопой лесной народ...». Долго Коля сидел и ждал, как вдруг «В лесу раздался смутный гул. — Как будто ветер зашумел, — И пересекся небосклон — Коричневою полосой, — То поднимая хобот слон — Вожак вел стадо за собой». Коля «...навел винтовку между глаз», но «гигант лесной» не был «сражен пулей разрывной». Об этих переживаниях Коля говорил, что они были незабываемы.

Коля очень любил традиции и придерживался их, особенно любил всей семьей идти к заутрене на Пасху. Если даже кто-либо из друзей приглашал к себе, он не шел: признавал в этот день только семью. Помню веселые праздничные приготовления. Все, как полагается, одеты в лучшие туалеты. Шли чинно, и Коля всегда между матерью и женой. Шли в царскосельскую дворцовую церковь, которая в этот высокоторжественный праздник была всегда открыта для публики.

В то же время поэт был очень суеверен. Верно, Абиссиния заразила его этим. Он до смешного подчас был суеверен, что часто вызывало смех у родных. Помню, когда А. И. переехала в свой новый дом, к ней приехала «тетенька Евгения Ивановна». Тогда она была уже очень старенькая. Тетенька с радостью объявила, что может пробыть у нас несколько дней. В присутствии Коли я сказала А. И.: «Боюсь, чтобы не умерла у нас тетенька. Тяжело в новом доме переживать смерть». На это Коля мне ответил: «Вы верно не знаете русского народного поверья. Купив новый дом, умышленно приглашают очень стареньких, преимущественно больных старичков или старушек, чтобы они умерли в доме, а то кто-нибудь из хозяев умрет. Мы все молодые, хотим еще пожить. И это правда, я знаю много таких случаев и твердо в это верю».

5-го июля 1914 года мы с мужем праздновали пятилетний юбилей нашей свадьбы. Были свои, но были и гости. Было нарядно, весело, беспечно. Стол был красиво накрыт, все утопало в цветах. Посредине стола стояла большая хрустальная ваза с фруктами, которую держал одной рукой бронзовый амур. Под конец обеда без всякой видимой причины ваза упала с подставки, разбилась и фрукты рассыпались по столу. Все сразу замолкли. Невольно я посмотрела на Колю, я знала, что он самый суеверный; и я заметила, как он нахмурился. Через 14 дней объявили войну. Десятилетний юбилей нашей свадьбы мы с Митей скромно отпраздновали на квартире художника Маковского на Ивановской улице в Петрограде при совсем других обстоятельствах. Все было уже не то, и тогда Коля напомнил нам о разбитой вазе.

День объявления войны застал меня в имении моей матери — Крыжуты, Витебской губернии. Я сейчас же решила ехать к мужу, в Петербург. Приехав туда, поехала на квартиру моих родителей. Отца дома не застала и вообще никого. Оставив записку, помчалась в Царское Село и там узнала, что Коля, движимый патриотическим порывом, записался добровольцем в 16. Гв. Уланский полк, с которым был отправлен на фронт. Я сама записалась в Свято-Троицкую общину сестер милосердия. Год проработала в Петербурге в лазарете, а затем была отправлена в перевязочный отряд при 2-й Финляндской дивизии. В этой дивизии мой муж был в пехотном полку, был награжден «Владимиром с мечами», пробыл три года на фронте и был сильно контужен. Коля уже в начале войны успел настолько отличиться, что был дважды награжден Георгиевским крестом за храбрость. Для поэта война была родная стихия, и он утверждал: «и воистину светло и свято — Дело величавое войны. — Серафимы ясны и крылаты — За плечами воинов видны...» Несколько раз Коля приезжал на несколько дней в отпуск и раза два-три наши отпуска совпадали. Мы все трое «фронтовые», как называла нас Муся (племянница), делились впечатлениями. Было метко сравнение поэта

«Как собака на цепи тяжелой,
Тявкает за лесом пулемет;
И жужжат шрапнели, словно пчелы,
Собирая ярко-красный мед».

Как отец, Коля был очень заботлив и нежен. Он много возился со своим первенцем Левушкой, которому часто посвящал весь свой досуг. Когда Левушке было 7–8 лет, он любил с ним играть и любимой игрой была, конечно, война. Коля с бумерангом изображал африканских вождей. Становился в разные позы и увлекался игрой почти наравне с сыном. Богатая фантазия отца передалась и Левушке. Их игры часто были очень оригинальны. Любил Коля и читать сыну и сам много ему декламировал. Ему хотелось с ранних лет развить в сыне вкус к литературе и стихам. Помню, как Левушка мне часто декламировал наизусть «Мика», которого выучил, играя с отцом. Все это происходило уже в Петербурге, когда мы жили вместе. Часто к нам приходили мои племянники и дети Чудовского. Вся детвора всегда льнула к доброму дяде Коле (так они его называли), и для каждого из них он находил ласковое слово. Помню, как он хлопотал и суетился, украшая елку, когда уже ничего не было и все доставалось с невероятными усилиями. Но он все же достал тогда детские книги, которыми награждал всю детвору. Удалось ему достать и красивую пышную елку. И веселились же дети, а, смотря на них, и взрослые, в особенности сам Коля!

В 1917 г. Коля должен был отправиться на Салоникский фронт. Он поехал в Париж через Финляндию и Швецию, но, прибыв в Париж, был оставлен там в распоряжении представителя Временного Правительства, чем был сильно огорчен. Там он пробыл год.

В 1918 году он записался на Месопотамский фронт, но для этого должен был поехать в Англию. Это было в начале года. Но, увы! и тут ему не удалось уехать в действующую армию, в Месопотамию. В Лондоне он пробыл несколько месяцев и весной вернулся через Мурманск в Петербург. Не успел Коля после своих долгих скитаний по загранице вернуться, как сразу окунулся с головой в свой литературный мир. Единственное, что он действительно горячо любил и чему отдавался всей душой, это только одну поэзию. Он был всецело поэт!

В конце 1918 года Коля был членом Литературного Кружка и работал в Доме Литераторов. В этому году он развелся с Анной Ахматовой.

В 1919 году поэт преподавал во многих литературных студиях, в Институте Истории Искусства, в Институте Живого Слова. Я поступила слушательницей в Институт Истории Искусства на археологический факультет к проф. Струве, но часто заходила слушать Колю. Он читал очень интересно.

В 1919 году Коля женился вторым браком на Анне Николаевне Энгельгардт. После того, как семье Гумилевых пришлось покинуть свой дом в Царском Селе с его чудной библиотекой, они переехали в Петербург. Художник Маковский предложил Коле временно свою квартиру на Ивановской улице. Мы все соединились, кроме Александры Степановны Сверчковой. Времена стали тяжелые. Анне Ивановне трудно было добывать продукты, стоять в очередях, и Коля просил меня взять на себя хозяйство. Анна Николаевна, — в семье называвшаяся Ася, — была еще слишком молода. Помню, как однажды Коля, такой бодрый и веселый, пришел к мужу и ко мне в комнату и пригласил нас в Тенишевское училище на литературное утро. Выступали там — Коля, А. А. Блок, жена Блока — Любовь Дмитриевна и молодые поэты. Зал был переполнен. Любовь Дмитриевна в первый раз публично прочла «Двенадцать». Когда она продекламировала последние слова поэмы «В белом венчике из роз, впереди — Исус Христос» — в зале поднялся сильный шум. Одни громко аплодировали, другие шикали, свистели, громко кашляли. Творилось что-то ужасное! Зал еще бушевал, когда мы увидели с мужем, что на эстраду не спеша поднимается наш Коля. Мне было за него как-то не по себе. Мы сильно за него волновались. Коля поднялся на эстраду и стал. Он стоял спокойно, выдержанно. Ждал, пока публика перестанет бушевать. Мало-помалу шум улегся. Коля подождал еще некоторое время. И только когда все успокоились, он стал читать свои «Персидские газэллы». После него выступил А. Блок. Только на следующий день Коля нам рассказал, что А. Блок отказался сейчас же после поэмы «Двенадцать» выйти на эстраду. Тогда Коля решил его выручить и вышел раньше времени, не по программе.

В 1920 году нам пришлось разъехаться. Муж получил назначение в Петергоф, а Анна Ивановна осталась жить с Левушкой, Колей и Асей, которые переехали на Преображенскую улицу № 5. В это время Ася ожидала прибавления семейства, чему Коля был очень рад и говорил, что его «мечта» иметь девочку, и когда маленькая Леночка родилась на свет Божий, доктор, взяв младенца на руки, передал его Коле со словами: «Вот ваша мечта».

В 1921 г. последний раз мой муж, Коля и я встретили Новый год вместе. А. И. с Левушкой и Асей уехали в Бежецк, а Коля

остался один. В Бежецке легче можно было достать продукты, что для Левушки и Аси было очень важно. Новый год — это уже семейный праздник, и мы трое его хотели встретить вместе. Встретили мы Новый год очень оживленно и уютно. Никто из нас не предполагал, что этот год будет для нас трагическим, что это последний раз, что мы все вместе встречаем Новый год.

Помню, как тогда я по вечерам приходила в кабинет к Коле обсуждать с ним меню на следующий день. Заставала его сидящим в большом глубоком кресле всегда с пером в его «как точеной» руке. Он всегда сосредоточенно обсуждал все со мною, внимательно выслушивая, что я ему говорила. Когда я теперь отдаюсь воспоминаниям о моей совместной жизни с ним, то он представляется мне, каким я его видела в эти последние памятные мне дни. Бодрый, полный жизненных сил, в зените своей славы и личного счастья со своей второй хорошенькой женой, всецело отдававшийся творчеству. Ни тяжелые годы войны, ни еще более тяжелая обстановка того времени не изменили его морального облика. Он был все таким же отзывчивым, охотно делившимся с каждым всем, что он имел. Как часто приходили в дом разные бедняки! Коля никогда не мог никому отказать в помощи.

В последний раз в жизни мне пришлось видеть Колю в самом конце июля 1921 года (1-го августа я уехала с больным мужем). Муж очень плохо себя чувствовал и просил меня зайти к Коле и принести привезенные им письма от Анны Ивановны. Коля, будучи у нас утром, забыл их захватить. Когда я пришла к нему, он меня встретил на лестнице и сказал: «А я как раз собирался к вам за письмами мамы. Какой сегодня чудный солнечный день, пройдемтесь немного, а затем зайдем вместе к Мите». И мы пошли прямо по Преображенской улице к Таврическому саду. Гуляя по вековым аллеям роскошного сада, разговорились; затем сели под дуб на скамейку отдохнуть. Тут поэт разоткровенничался. Первый раз за всю мою двенадцатилетнюю жизнь в их доме, он был со мною откровенен. Сначала он рассказывал о путешествиях, потом перешел на свои взгляды на жизнь, на брак, много говорил о своих душевных переживаниях и о тех минутах одиночества, когда, уйдя в себя, он думал о Боге.

«Есть Бог, есть мир, они живут вовек,
И жизнь людей мгновенна и убога,
Но все в себе вмещает человек,
Который любит мир и верит в Бога»

Потом стал расспрашивать меня о моей жизни, о моей любви к мужу и спросил, была ли я с ним счастлива за эти двенадцать лет. На мой утвердительный ответ и под влиянием этой интимной беседы, Коля стал мне декламировать, как сейчас помню, свое стихотворение «Соединение»:

«Луна восходит на ночное небо.
По озеру вечерний ветер бродит.
Целуя осчастливленную воду
О, — как божественно соединенье
Извечно созданного друг для друга
Но люди, созданные друг для друга,
Соединяются, увы, так редко!»

Потом мы медленно, молча, пошли домой. Такого бесконечно грустного Колю я никогда не видела. Это была последняя в жизни прогулка с Колей. Она надолго осталась у меня в памяти. Тогда мне и в голову не могло придти, что его мысли омрачаются предчувствием скорой гибели и что он думал о пуле, «что его с землею разлучит».

25-го августа 1921 года трагически погиб наш талантливый поэт Николай Степанович Гумилев. Мы узнали об этом из газет. На здоровье моего бедного, тяжело больного мужа гибель единственного любимого брата сильно подействовала. Он проболел еще некоторое время и тихо скончался. Несмотря на дружеские отношения с братом, поэт скрыл от него, от всей семьи и даже от матери, с которой был откровенен, свое участие в заговоре.

КНИГИ Н. ГУМИЛЕВА

СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ. — Л.: Сов. писатель (Большая серия Библиотеки поэта), 1988.
СТИХИ. Л.: Аврора, 1988.
СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ. — Волгоград: Ниж.-Волж. кн. изд-во, 1988
ИЗБРАННЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ. — М.: Правда, 1988 (Б-ка «Огонек», № 3).
СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ. — Тбилиси: Мерани, 1988; 2-ое изд. — 1989
СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ. — М.: Современник, 1989.

МИКРОРЕЦЕНЗИИ

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ТОЛСТОМУ

Русскому народу пришлось пережить много трагедий XX века, чтобы, наконец, остановиться и задуматься: а куда же мы пришли? И хотя Л. Толстой вроде бы и не был «под запретом», его читали, вроде бы изучали, но почему-то было недосуг вникнуть: чему же учил этот великий гуманист. Протест против насилия над человеком и природой, против его духовного закрепощения, против попрания человеческих прав, против милитаризации общества не был услышан в стране, о которой были все думы писателя. И только сегодня мы начинаем понимать, что мир Толстого нами еще не постигнут. Дух Л. Толстого, великого пророка, не понятого своим поколением, сквозь время возвращается, чтобы поддержать нас, помочь обрести Веру и Истину.

Хочется верить, что кончилось время разрушений, ибо человечество в своей злобе и разобщенности зашло так далеко, что очутилось на краю пропасти, и либо оно остановится и вернется к созиданию, либо погибнет. И зазвучал голос Толстого вновь из Ясной Поляны, где камни еще помнят день и час появления на свет человека, сказавшего миру правду о жизни.

Вышел из музея-усадьбы первый «Яснополянский вестник» и поведал нам, в какой экологической обстановке находится сегодня родина писателя. О том, в каком трагическом состоянии территория заповедника, сообщает зам. директора по научной работе «Ясной Поляны» В. Ремизов. Две точки зрения на «религиозно-философское учение» Л. Толстого предлагают епископ Викентий в статье «Личная трагедия» и Б. Сушков в статье «Больше — Человека!». И хотя с Толстым трудно спорить, нам необходимо все же разобраться, в чем его сила, а где слабость. Сегодня необходим диалог, чтобы найти общий путь к возрождению духовной жизни общества, и нужно, наконец, вернуть народу главную книгу жизни — Библию.

Оптина Пустынь — какое значение она имела в жизни русского народа, почему многие русские художники, философы, писатели ездили туда? Л. Толстой посетил ее шесть раз. И прежде, чем уйти из Ясной Поляны навсегда в 1910 году, он еще раз посетил Оптину Пустынь. Что же давало посещение Оптиной Пустыни русскому народу? Видимо, из этого неиссякаемого источника духовности черпал он свои жизненные силы.

Конечно, обнадеживает то, что Оптину Пустынь вернули сегодня православной церкви, но кто же ответит за варварство, за поруганную честь этого Храма духовности? Настало время вывести преступников на Суд Божий, чтобы не допустить новых злодеяний против народа. Хочется пожелать «Яснополянскому вестнику» довести начатое дело до конца

И. ФИЛИППОВА

ЯСНОПОЛЯНСКИЙ ВЕСТНИК, № 1, 1989.

КНИГОЧЕЮ НА ЗАМЕТКУ

РУССКИЙ НАРОД. ЕГО ОБЫЧАИ, ОБРЯДЫ, ПРЕДАНИЯ, СУЕВЕРИЯ И ПОЭЗИЯ / Собр. М. Забылиным: Репринт. воспроизведение изд. 1880 г. — М.: Совместное сов.-канад. предприятие «Книга Принтшоп», 1989. — 607, VIII с. — 20 р. 100 000 экз.

ЛЕГЕНДЫ. ПРЕДАНИЯ. БЫВАЛЬЩИНЫ Сост., подгот. текста, вступ. ст. Н. А. Криничной. — М.: Современник, 1989. — 287 с — (Классич. б-ка «Современника»). — 1 р. 40 к. 200 000 экз

ОБРЯДОВАЯ ПОЭЗИЯ / Сост., предисл., подгот. текстов В. И. Жекулиной, А. Н. Розова. — М.: Современник, 1989. — 735 с — (Классич. б-ка «Современника). — 3 р. 40 к. 100 000 экз.

ПОТЕШКИ. СЧИТАЛКИ. НЕБЫЛИЦЫ / Сост., вступ. ст. А. Н. Мартыновой. — М.: Современник, 1989. — 348 с. — (Классич. б-ка «Современника»). — 1 р. 50 к. 200 000 экз

МУДРОЕ СЛОВО ДРЕВНЕЙ РУСИ (XI—XVII вв.).. Сб. Сост., вступ. ст., подгот. древнерус. текстов, пер., коммент. В. В. Колесова. — М.: Сов. Россия, 1989. — 463 с. — (Сокровища древнерус. лит.) — 2 р. 40 к. 100 000 экз.

Возовиков В. ПОЛЕ КУЛИКОВО; ЭХО НЕПРЯДВЫ: Ист. романы. — М.: Воениздат, 1989. — 894 с. — 4 р. 40 к. 100 000 экз

Карамзин Н. М. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО: В 12-ти т. / Отв. ред. А. Н. Сахаров. — М.: Наука, 1989. Т. 1. — 638 с. — 5 р. 60 к. 350 000 экз.

ИСТОРИЯ

Очерки. Мемуары. Документы.

ОТ ФЕВРАЛЯ



ДО ОКТЯБРЯ

Рубрику ведут Андрей Кочетов и Алексей Тимофеев.

Значительное место в воспоминаниях всех участников и свидетелей событий Февральской революции уделено ее началу. Это и неудивительно: свершилось то, что большинству буквально до последнего момента казалось невозможным, немыслимым. Врасплох были застигнуты даже многие из тех, кто принимал активное участие в начавшейся задолго до решающих дней подготовке наступивших перемен и потрясений...

Это хорошо видно при чтении книги С. Мстиславского «Пять дней. Начало и конец Февральской революции» (издательство З. И. Гржебина, Берлин — Петербург — Москва, 1922). С. Мстиславский — псевдоним Сергея Дмитриевича Масловского (1876—1943), сына профессора военной академии, члена партии социалистов-революционеров, участника «генеральной репетиции» 1905—1907 гг., оказавшегося в 1910 г. в Петропавловской крепости за участие в подготовке вооруженного восстания войск Финляндского военного округа и за хранение оружия в библиотеке Генерального штаба. Февраль 1917-го, однако, вновь застает его офицером, и С. Мстиславский решительно включается в борьбу, заняв пост чрезвычайного комиссара Петроградского Совета; возглавил он и отряд солдат и матросов, арестовавший в Царском Селе Николая II и его семью. Позднее автор книги «Пять дней...» — активный деятель Октября, член президиума 2-го Всероссийского съезда Советов, участник мирных переговоров в Бресте, гражданской войны... В «Краткой литературной энциклопедии» (М., 1967), где охарактеризованы 15 романов и повестей члена СП СССР С. Д. Мстиславского (наиболее известны «Грач — птица весенняя» о Н. Баумане и «Накануне» о Февральской революции), даже не упомянуто о том его произведении, фрагмент из которого приведен в нашей публикации. Между тем, именно эта книга вызывает ныне наибольший интерес. В 1988 г. она впервые переведена на английский язык издательством «Индиана юниверсити пресс» и включена в каталог «Глазами американцев» (Московская международная книжная ярмарка 1989 г.) в числе тщательно отобранных 350 книг. «Увлекательный и красноречивый рассказ очевидца о пяти днях... в роковом 1917 году», — пишется в аннотации каталога.

В книге С. Мстиславского нашел отражение важнейший политический процесс февральских дней — складывание в России двоевластия, центрами которого стали Петроградский Совет (его верхушку составили меньшевики и эсеры) и Временное правительство, сформированное заблаговременно группой членов Государственной Думы. Во всех оставленных свидетельствах тех дней явствен и образ той «гигантской мелкобуржуазной волны, которая захлестнула все...» (В. И. Ленин).

Одной из первостепенных по важности мер Петросовета стал знаменитый приказ № 1, целью которого было, как сообщается в одном из учебных пособий по истории КПСС, «поставить армию на службу революции, не дать возможности монархически настроенному офицерству использовать солдат в своих целях». Мы предлагаем вниманию читателей фрагмент из воспоминаний одного из представителей офицерства (хотя и кадетского толка) генерал-лейтенанта Антона Ивановича Деникина (1872—1947). Отрывок этот взят из тома «Февральская революция», одного из шести томов хорошо известного историкам издания 20-х годов «Революция и гражданская война в описаниях белогвардейцев» Составитель этого издания С. Алексеев воспользовался одним из томов издававшихся в Париже «Очерков русской смуты» (так назвал свои мемуары А. И. Деникин). К сведению читателей — репринтное издание этого ценнейшего первоисточника в текущем году начинает издательство «Наука». Безусловно, подобная инициатива заслуживает всяческой поддержки и должна обратить на себя внимание других издательств. Публикацию такой литературы можно осуществлять в различных формах (составление сборников, включение в исторические хрестоматии и т. д.), однако, на наш взгляд, именно выбранный «Наукой» путь — полное, без каких-либо сокращений, воспроизведение текста, в сопровождении обстоятельных комментариев и большого количества редких фотодокументов — представляется наиболее отвечающим требованиям времени.

А. И. Деникин, возглавивший в апреле 1918 г. Добровольческую белогвардейскую армию, а затем ставший главнокомандующим Вооруженными силами Юга России, весной 1920-го объявил своим преемником П. Н. Врангеля и на английском эсминце отплыл в Константинополь... В дальнейшем он отходит от политической деятельности и посвящает себя литературному труду. В конце 1942 года, после предложения немецкого командования перебраться в Берлин, А. И. Деникин, как сообщали эмигрантские «Русские новости», «весьма решительно и с риском для себя отклонил всякую мысль о сотрудничестве с врагами России».

Не в наших возможностях всесторонне, во всей полноте охватить картину революции, стремительно меняющей облик России. Перед вами — лишь незначительная часть многоцветной мозаики тех бурных дней. Выбор фрагментов этого выпуска рубрики в немалой степени определили и очевидная незаурядность авторов, и отличающий их произведения несомненный литературный дар, равно как обилие мельчайших характерных деталей. Так, значительный интерес представляют и увидевшие свет в Париже, а затем переведенные на русский, воспоминания образованного и тонкого наблюдателя — посла Французской республики в России (с января 1914 по июнь 1917 гг.) Мориса Жоржа Палеолога (1859 — 1944), видного дипломата, проводившего в Петрограде линию своего правительства, суть которой заключалась во всемерной активизации военных и политических усилий России, выгодных Франции. Аналогичной была и позиция английского посла Д. Бьюкенена, с мемуарами которого мы познакомим читателей позже.

В следующем выпуске рубрики «От Февраля до Октября» читайте о событиях марта 1917 года. В центре внимания — отречение от престола императора Николая II...

С. Д. МСТИСЛАВСКИЙ



В ТАКТ ПУЛЕМЕТАМ



...В профессорской сумрачно, до жути. Даже ходят тихо, сдерживая звон шпор. Нахмуренные. Все молчат. Только один из самых древних наших генерал-лейтенантов бубнит, тряся седыми бакенбардами, упрямо, словно споря, хотя никто ему и голоса не подает:

— Пустяки. Вернутся. Вернутся и покаятся. Куда им идти!.. А?..

И в шестой раз нажимает кнопку звонка в офицерское собрание:

— Что же они там... гм... чаю не несут?

Чиркая по паркету сбившейся на каблук шпорой, быстро и взволнованно входит дежурный офицер.

— Преображенцы подняли на штыки Богдановича.

Кто-то перекрестился. Заведующий хозяйством, младший из нас и по-кавалерийски откровенный, хмуро оглядывает осевшие по всем углам генеральские плечи:

— Ну-с, если найдется у них теперь прапорщик с головой — наделают они дела..

Пойти было некуда.

Революция застала нас, тогдашних партийных людей, как евангельских неразумных дев, спящими.

Теперь, через пять лет, непонятным кажется, как можно было в нарастании февральской волны не почувствовать (не говорю уже «осознать») надвигавшейся бури: ведь к этим дням многие из нас готовились годами — долгими годами царского подполья, напряженной, жадной, верящей мыслью... И когда пришла, наконец, она, — долгожданная, желанная:

— Некуда было идти.

Уверен: когда исполнятся времена и сроки, и станет на очередь «история февральской революции», — найдутся очевидцы и участники, которые засвидетельствуют о прозорливости каких-нибудь комитетов, о каких-нибудь совещаниях, и за взмывами рабочей и солдатской «толпы» постараются привычным жестом историка подставить фигурки каких-нибудь «героев». Так было, так будет. Ведь даже по горячему следу, — когда тотчас, после переворота, «Союз офицеров 27 февраля» попытался установить ход событий, запросив по полкам участников февральского восстания, — мы получили на вопрос о том, кто первый вывел Волынский полк — семь заявлений — семи приписавших себе этот начальный для февральского переворота акт. Семь описаний выхода волынцев, ни в чем почти не сходных друг с другом. Поставленный в необходимость (по должности тов. председателя Союза) — разобраться в семи свидетельствах этих, — я успокоился на уверенности, что полк вывел, в действительности, кто-то восьмой, безымянный, — заявления нам, как и должно было ожидать, не приславший.

И это было в дни, когда переворот, во всех подробностях своих, еще жил перед нашими глазами, когда можно было проверить каждое слово. Что же будет писаться через годы, когда уже мхом порастут могилы февральских убитых...

Но на деле — кроме кружков, варившихся в собственном соку или, еще того хуже, в военно-патриотических восторгах, социалистические партии тех дней не имели ничего. И пойти было некуда...

На улицу? В «очевидцы»?

Дома — найдут скорее...

Дрогнул в кабинете телефонный звонок.

«Товарищ Мстиславский? Говорит Капелинский».

Капелинский — меньшевик-интернационалист. Секретарь петроградского союза рабочих потребительских обществ, председателем правления (а затем тов. председателя Совета) которого я был в военное время, между прочими делами. Он был арестован месяца полтора-два назад, при ликвидации рабочей группы центрального военно-промышленного комитета, лидеры которой — Богданов, Гвоздев, Бройдо были в то же время наиболее активными работниками правления и нашего союза: по связи с ними, был «приобщен к лику» и Капелинский.

Раз он на свободе — значит «Крестов», действительно, нет.

— Сейчас же приходите в Таврический, комната № 13. Ну, дождались, кажется! Смотрите только: скорее.

— Иду!..

Опять трещит звонок:

— Это я, Капелинский. Может быть, прислать автомобиль? Мы ведь сейчас не как-нибудь...

— Не стоит: тут два шага...

Темным кажется приземистый, распластавшийся по земле Таврический дворец, — хотя весь он, от окна до окна, горит огнями; зловеще светится на тусклом ночном небе его стеклянный купол. На площадке перед дворцом и на улице — трещат костры. Грузовики, автомобили, толпы солдат и вольных. Море голов — во все стороны, куда ни взгляни. Справа, слева, из-за насупленных, тесно обступающих нас домов и труб, поднимаются к небу крутыми, колыхающими извивами багряные столбы... Горит Окружной Суд, горит Жандармское Управление на Тверской, горит каланча на Старо-Невском.

У ограды и, в особенности, у подъезда дворца сильные солдатские караулы. Вход — только по мандатам заводов и воинских частей и специальным пропускам. Но проламываются в давке и «безбилетные». Проламываюсь и я.

«13-я комната. Направо по коридору».

Сворачиваю и натыкаюсь на Соколова, — известного всему политическому Петербургу, «Николая Дмитриевича», защитника по революционным делам и всегдашнего устроителя всяческих общественных совещаний. Он ухватывает меня под руку. «Идемте скорее, собрались делегаты от восставших полков, надо организовываться, надо действовать. Часть войск осталась на стороне правительства, в городе идут уже бои».

Делегаты (один вольноопределяющийся, один фельдфебель, все остальные — простые рядовые, «бородачи») чинно сидят вдоль стенки, без оружия. Соколов спрашивает, что нужно нам для «штаба».

Прежде всего, план Петербурга.

— Откуда его возьмешь?

— Из Суворинского «Всего Петербурга»: здесь в Думе где-нибудь наверное есть.

Соколов уносится (всегда быстрый, сегодня он — точно на крыльях) искать план. Мы начинаем, взаимным опросом, выяснять обстановку...

Если к сведениям этим приложить трафаретный военный масштаб — положение наше катастрофично. Правда, Хабалов сделал коренную, грубейшую ошибку, оттянув свои войска в самый центр города, т. е. дав «мятежу» охватить их со всех сторон, вместо того, чтобы вырваться как можно скорее из «заразной зоны» за городскую черту, притянуть подкрепления и, изолировав «очаг мятежа», каковым сейчас является Петербург, перейти затем в планомерное концентрическое наступление. Такой метод действий давал правительствам в прошлом истории восстаний неизменно твердый и быстрый успех. В городе же революционная атмосфера разбивает правительственные войска вернее всяких баррикад... На нее, и в нашем случае, приходилось возложить все надежды. На... «стихию». Только.

Но.. подлинно ли в городе революционная атмосфера?.. Я вспомнил утренних преображенцев, вспомнил толпы безоружных солдат, бродящих по городу, палящих в воздух подростков и беспутно мечущиеся по улицам автомобили. Если бы у нас была хоть одна спаянная, сохранившая строй часть... Ни артиллерии, ни пулеметов, ни командного состава, ни связи. Из офицеров, кроме старшего лейтенанта Филипповского — старого товарища по эсэровской военной организации еще девятисотых годов, пришедшего минут через 15 после меня, — во дворце нет никого. Был какой-то капитан стрелкового армейского полка, послушал, послушал нашу сводку, покачал головой и пошел...

Просторная, пустая комната. Ярко, во всю гроздь своих лампочек горит люстра. За письменным столом, под стоячей, тоже зажженной лампой, — Керенский, в сюртуке, со съехавшим набок галстуком, подписывает подаваемые ему кем-то, незнакомым мне, в пиджаке и косоворотке, бумажки, — отчетливо с размаха прищелкивая их штемпелем пропуска.

Мы пожали друг другу руки. Я сел насупротив, на свободный стул.

Человек в косоворотке принял последнюю бумажку и вышел.

— Ну, что, Сергей Дмитриевич, мы, кажется, дожили-таки!

Он порывисто и весело встал, потянулся весь вверх, словно расправляя затекшие члены, и, вдруг расхохотавшись, задорным мальчишеским жестом хлопнул себя по карману, засунул в него руку и вытащил старинный огромный дверной ключ.

— Вот он где у меня сидит, Штюрмер. Ах, если бы вы только видели их рожи, когда я его запер!

Снова принесли на подпись пачку пропусков. Керенский подписывал, не читая, размашисто расчеркиваясь и продолжая рассказывать об аресте Штюрмера. «Что было с Родзянкой! Ведь он совсем было расположился принять его в родственные объятия»..

Вошел Некрасов — как всегда непроницаемо-благодушный, медлительный, округлый, глянцевитый и прочный. Улыбнулся, поздоровался, сказал пару незначительных фраз и увел Керенского за собою.

В соседней комнате гудели голоса. Открыв дверь, я увидел Филипповского, окруженного десятками двумя офицеров разных родов войск, по преимуществу прапорщиков. Молодые, радостно возбужденные лица... Начало, стало быть, есть...

Подбирается ударная группа под командой поручика Петрова — помнится, стрелка — с тремя георгиями и золотым оружием. Смелый, крепкий, — смотреть радостно. Он привел с собой в Таврический целую команду, с которой еще в прошлую ночь, т. е. до выступления волынцев, перестреливался до самого утра с Павловской учебной командой, через Марсово поле, залегши на Лебяжьей канавке, что у Летнего сада. Команда эта быстро обрастает людьми, и когда мы получаем первое тревожное известие об обратном занятии противником арсенала, — мы имеем возможность двинуть к нему Петрова с полуторастами штыков.

В район Морской высылается усиленная разведка: 30 коней, броневик, взвод пехоты, под командой офицера-кавказца.

Солдаты вообще выходят охотнее, чем мы ожидали. Но требуют обязательно форменного письменного приказа. У Совета, естественно, никаких штемпелей. Пишу поэтому приказы на найденных в письменном столе печатных бланках «Тов. Председателя Государственной Думы»: штемпель большой, бумага плотная, атласная, внушительная.

Внутренняя организация наша также, как будто, понемножку начинает налаживаться. В одной из комнат нашего крыла — крайней к вестибюлю, устроили склад оружия: его сносят во дворец целыми охапками. Под наблюдением офицера-артиллериста сортируют винтовки, револьверы, патроны, несколько девушек-добровольцев и студентов приспособлены к снаряжению пулеметных лент. Пулеметов у нас, впрочем, в данный момент всего четыре, да и те — к стрельбе непригодны. Необходимо смазать их, а смазать нечем. Посылаю одного из прикомандировавшихся к штабу «вольных» в ближайший аптекарский магазин за вазелином. Юноша исчезает. Ждем-ждем: посылаем второго — как камень в воду. Наконец, возвращается первый, сконфуженно вертя в руках серебряный рубль.

«Поздно: магазины все заперты».

«Революционер» — в критический момент восстания стоящий, с целковым в руке, перед запертой дверью, конфузясь разбудить хозяина... не то, что дверь сломать.

«Вот бы с вас картину написать в мавзолей российской интеллигенции».

Ночь близка, по коридорам бегут тревожные слухи о начавшемся будто бы наступлении Хабалова. Посторонние — начинают торопиться. На прощанье, однако, заходят: «еще раз»... «пожелать»... Значительно жмут руки. Пытливо смотрят в глаза. И — выпрямив грудь — уходят: все скорее, скорее, скорее...

Становится просторно. Даже... слишком просторно...

Ровно в полночь, в 42-й комнате распахнулась внутренняя, «посторонним неизвестная» дверь и, к нашему немалому изумлению, на пороге появился... Родзянко. За ним — полковник Энгельгардт, в штатском, и еще какой-то думец. Секунду спустя, через 41-ю комнату подоспел Соколов и человек пять «советских». Родзянко, грузный, развалистый, хмурый, держал в руках какую-то

ФЕВРАЛЬ

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

1—14 — среда. Продолжение забастовок и митингов на фабриках и заводах в Петрограде. Распространение листовок с требованием создания Временного Правительства.

5—18 — воскресенье. Приказ о выделении Петроградского военного округа из Северного фронта в особую единицу с подчинением его ген. Хабалову, которому даны широкие полномочия.

6—19 — понедельник. Распространение листовок Петербургского Комитета Р.С.-Д.Р.П. (б-ов) с призывом ко всеобщей забастовке и манифестации 10 февраля в день годовщины суда над бывшими членами Гос. Думы с.-д. большевиками. — Частичные забастовки на фабриках и заводах.

8—21 — среда. Продолжение забастовок на фабриках и заводах; вмешательство полиции.

9—22 — четверг. Обращение ген. Хабалова к рабочим не поддаваться призывам к забастовке в день открытия Гос. Думы. — Письмо в редакции газет чл. Гос. Думы П. Н. Милюкова с призывом к рабочим оставаться спокойными в день 14 февраля.

10—23 — пятница. Доклад председателя Гос. Думы М. В. Родзянко царю о положении страны и о необходимости создания нового кабинета, «опирающегося на народное доверие». — Митинги на фабриках и заводах; распространение листовок Петербургского Комитета Р.С.-Д.Р.П. (большевиков).

13—26 — понедельник. Митинги на заводах. Резолюции о невыходе на работу 14 февраля.

14—27 — вторник. Открытие работ Гос. Думы. Запрос с.-д. фракции об аресте рабочей группы Центрального Военно-Промышленного Комитета.

15—28 — среда. Полицейские меры на случай выступлений рабочих в Петрограде. — Забастовка 15-ти предприятий с 25-ю тысячами рабочих в Петрограде. Демонстрации рабочих.

18—3 — суббота. Начало забастовки на Путиловском заводе. Митинги.

19—4 — воскресенье. Скопление женщин, рабочих, граждан Петрограда у продовольственных лавок.

21—6 — вторник. Разгром булочных и мелочных лавок на Петроградской стороне.

22—7 — среда. Объявление локаута на Путиловском заводе.

23—8 — четверг. Празднование женского дня. — Объявление командующего войсками Петроградского военного округа ген. Хабалова о причинах недостатка продовольствия. — Экстренное совещание в Мариинском дворце президиума Гос. Думы, министров и представителей Петроградского самоуправления о мероприятиях для столицы с целью создать организацию для «удовлетворения рабочих в предприятиях, работающих на оборону». — Забастовка, захватившая ряд предприятий (около 50). Появление толп народа на Выборгской Стороне, на Невском и плакатов с революционными надписями и требованиями свержения самодержавия и прекра-

бумагу. Он непривычно нервничал. Подойдя к ближайшему столу, тяжело сел, заваливши плечи на локти. Против него тотчас же занял место Энгельгардт, а мы все, бывшие в зале, на властно-пригласительное мановение головы Родзянко окружили стол тесным кольцом.

«Господа офицеры», — словно нехотя, выжимая из себя слова, заговорил Родзянко, пренебрежительно скользя глазами по прапорщичьим, преимущественно, погонам «штаба». — «Временный Комитет Государственной Думы постановил принять на себя восстановление порядка в городе, нарушенного последними событиями. Насколько восстановление это в кратчайший срок необходимо для фронта, вы и сами должны понимать. Комендантом Петрограда назначается член Государственной Думы, полковник Генерального Штаба Энгельгардт».

Энгельгардт при этих словах покраснел и, полуоборотом наклонив голову, не вставая, раскланялся.

Резко вмешался Соколов: «Штаб уже сложился, штаб уже действует, люди подобрались... При чем тут полковник Энгельгардт!.. Надо предоставить тем, кто работает здесь с первой минуты восстания — самим решить — кто, чем и кем будет командовать: тем более, что дело сейчас не в водворении порядка, а в том, чтобы разбить Хабалова и Протопопова. Тут нужны не «назначенцы» от «Высокого Собрания», а революционеры. И потом, совершенно недопустимо, чтобы Петроградский Совет, являющийся в настоящее время единственной действительной силой, Совет революционных рабочих и восставших солдат, оказался совершенно отстраненным от им же созданного и его задачи осуществляющего штаба. Совет уже выделил в штаб группу своих членов: если Врем. Комитету угодно принять участие — пожалуйста, но большинство в штабе, и большинство решающее, должно безусловно принадлежать Совету».

Энгельгардт краснел все больше и больше. Офицеры заволновались. Но Родзянко, досадливо и по-прежнему пренебрежительно морщась, грузно стукнул ладонью по столу: «Нет уж, господа, если вы нас заставили впутаться в это дело, так уж потрудитесь слушаться».

Соколов вскипел и ответил такою фразою, что офицерство наше, почтительнейше слушавшее Родзянку, — забурлило сразу. Соколова обступили. Закричали в десять голосов. Послышались угрозы. «Советские» что-то кричали тоже. Минуту казалось, что завяжется рукопашная. Не без труда мы разняли спорящих.

«Стыдно, в такие часы. Не все ли равно кому «командовать»: было бы дело сделано... Что за местничество»...

А Соколову шепнули: «Энгельгардт так Энгельгардт — кому от этого убыток: пусть числится — дела мы все равно из рук не выпустим. А вы пока там договаривайтесь с Думцами, если хотите. Только не здесь».

Родзянко тем временем выпростал из ручек кресла свое оплывшее тело и, отдуваясь, направился к выходу. Следом за ним вышел и Энгельгардт. Их торопливо нагнали... некоторые из офицеров нашего штаба. Сказать по правде: больше половины. Некоторое время из коридора, у двери, слышались их голоса... Затем голоса стали удаляться... Никто из них уже не вернулся в эту ночь в штаб...

Люди приходят, уходят, сменяются. Требуют нарядов, приказов. И я пишу их листок за листком, без счета, все на тех же думских бланках. И чудится, — словно в крутящийся вихрь какой-то выбрасываю я эти жалкие, никчемными знаками исчерченные, ничего не меняющие, бессильные лепестки.

Те, что получают приказы, — не выполняют их; те, что действуют, — действуют без приказа...

Бывало ли, в дни революции, когда-нибудь иначе?

. . . .

Шестой час. На «передовых позициях» наших угомонились, видимо: новых донесений нет, телефоны отвечают вяло. Признаков Хабаловского наступления — никаких: должно быть ему еще круче нашего... Пользуясь передышкой, выхожу посмотреть, что делается во дворце.

Коридоры завалены сплошь, по обе стенки, сонными телами. Солдаты, солдаты, солдаты... Спят, с винтовкой под рукой, вповалку, как на случайном биваке во время трудного перехода. В Екатерининском зале — дышать трудно. В складе работа кипит: грудами лежат патроны, винтовки, револьверы — подсчитаны, ведется опись.

У Филипповского — все в порядке. Пулеметы наши взгромоздили на крышу: для внушительности, потому что стрелять они, по-прежнему, не могут. На улице, хоботами к Литейному, выстроены четыре орудия: эти — в исправности. И гранаты, и шрапнели к ним — в достаточном количестве.

В горле сухо. Говорят, где-то есть питательный пункт. Но где его искать?

Наискось от наших комнат — комната Думцев: на диванах, креслах, столах, на полу даже, спят в причудливейших позах «политики» — знакомые и незнакомые. Керенский, разметав фалды сюртука, широко раскрыв рот, прихрапывает, изогнувшись на маленькой, кривоспинной козетке...

Хабалов капитулировал. Его привезли вместе с градоначальником Балком и целым кордебалетом полицейских чинов.

«Думские сведения» подтвердились полностью: даже о «воздействии» угадали Думцы: Михаил Николаевич попросту заставил Хабалова со

ХРОНИКА СОБЫТИЙ. ФЕВРАЛЬ

щения войны. Митинги. Прекращение по некоторым линиям трамвайного движения по требованию рабочих. — Запрос Гос. Думы о расчете рабочих на заводах.

24—9 — пятница. Забастовка до 200.000 рабочих в Петрограде. Движение рабочих с окраин к центру. Патрули. Столкновения с полицией у Литейного проспекта, у городской думы и на Знаменской площади. Появление казаков на улицах столицы. Попытка устройства баррикад. Тяжело ранен полицмейстер Шалфеев. — Доклад мин. вн. дел Протопопова о настроении столицы в совете министров.

25—10 — суббота. Всеобщая забастовка. — Правительственные войска на улицах Петрограда, разделенного на участки; во главе участков поставлены командиры полков. — Выборы Совета Рабочих Депутатов. — Прекращение занятий в учебных заведениях. Стрельба в разных частях города. Много жертв у здания городской думы. Прекращение выхода газет по требованию забастовавших рабочих. Разгром типографии «Нового Времени». В происходившее заседание городской думы ворвались рабочие. Дума приняла резолюцию с требованием свободы слова, печати и свободы выборов в учреждения, ведающие делами продовольствия. — Ночью арестовано до 100 человек, членов революционных организаций, в том числе несколько членов петербургской организации с.-д. большевиков.

26—11 — воскресенье. Распоряжение правительственных органов о занятии войсками мостов через Неву. — Пулеметы и проволочные заграждения на улицах. — Десятки тысяч рабочих на улицах столицы. Сотни жертв. — Манифест Р.С.-Д.Р.П. большевиков с призывом к созданию Временного Революционного Правительства и с изложением задач текущего момента. — Указ царя о роспуске Гос. Думы. — Телеграмма М. В. Родзянко царю о событиях в столице с указанием на необходимость составления нового кабинета. — Постановление совета старейшин Гос. Думы: «Государственной Думе не расходиться, и всем депутатам оставаться на своих местах». — Начало забастовок на московских фабриках и заводах. Толпы народа на площадях и улицах с красными флагами.

27—12 — понедельник. Объявление ген. Хабалова, угрожающее рабочим, в случае, если они 28 II-17 г. не встанут на работы, призывом в войска. — Восстание Преображенского, Волынского и Литовского полков. Взятие арсенала, Петропавловской крепости. Освобождение арестованных из Крестов, из Дома предварительного заключения, из Литовского замка и др. — Вторичная телеграмма М. В. Родзянко царю о положении в Петрограде. Аналогичная телеграмма царю членов Государственного Совета, указывающих на возможность гибели династии, если царь не реорганизует правительства. — Отставка председателя совета министров Н. Д. Голицына.— Образование Совета Рабочих Депутатов. Первое заседание Сов.Р.Д., на котором было принято предложение финансовой комиссии об изъятии всех государственных финансов из распоряжения старой власти. — Совещание членов Гос. Думы под председательством М. В. Родзянко в Полуциркульном зале по вопросу об организации

штабом выбраться из Зимнего незамедлительно, «дабы не подводить дворец под штурм». А так как из Адмиралтейства Морское Ведомство попросило «защитников престола» выселиться, по тем же основаниям, еще до перехода их в Зимний — выброшенному, таким образом на улицу генералитету ничего не осталось, как... «не подводить и себя под штурм»: так они и сделали.

Пришли и солдаты Хабаловского отряда: все без оружия.

«А где же винтовки?»

«Как приказали нам иттить в казармы по случаю окончания самодержавия и войны, то ружья и, стало быть, патроны велено сдать морским под расписку. А то, генерал сказал, все равно по дороге вольные отберут».

Город — наш.

Теперь только с фронта, от Двинска и Пскова, можно ожидать удара. Хотя... едва ли вообще стратегия не уступила окончательно место политике. Правда, на улице еще стучат выстрелы: остались рассеянные по всему городу Протопоповские полицейские пулеметчики: эти - сдаться не могут, потому что между ними и восставшими залегла кровь и пощады они не ждут. Да и помимо того, оторванные - на чердаках и крышах, по которым переволакивают они свои пулеметы, — от всякого сообщения с «начальством», они не имеют представления даже о том, на чьей стороне победа, и поскольку имеет смысл продолжение борьбы. Так или иначе - городовые продолжают свое дело: то здесь, то там, перекидываясь с улицы на улицу, напоминают они о себе — сухим треском бешеного, но безвредного пулеметного огня по демонстрирующим на улицах толпам - безвредного, т. к. для обстрела они выбирают, по преимуществу, чердаки огромных многоэтажных домов, — с которых их труднее «снять»..., но с которых попасть в кого-нибудь — невозможно. «Замкнуть» и потушить эти пулеметные «очаги» при их чрезвычайной подвижности — трудно: упорна и тяжела за ними погоня. Но все же это — уже не бой, а лишь агония полицейщины...

В соседней комнате движение: приехал Гучков. С ним Половцев, как всегда, подтянутый и спокойный, в черкеске с иголочки, и еще один генштабист.

Ехали во дворец вчетвером, но четвертый, князь Вяземский, убит на Дворцовой площади шальной пулей часового, на окрик которого шофер не остановил автомобиля.

Гучков «очень, очень доволен: все идет прекрасно, порядок быстро восстанавливается, большинство частей опять уже в руках офицеров». Тон всех, и приехавших с Гучковым, и здешних, «дежурящих», — одинаково оптимистический и самоуверенный... Без стеснения (при мне ведь здесь не стесняются) замыкают они «товарищей» в презрительно-насмешливые кавычки. Привычный, всегдашний, жаргон полковых собраний и гвардейских штабов...

Тихими, сонными коридорами, мимо полуциркульного зала, в котором поблескивают штыки юнкерского караула (Родзянко сменил уже ненадежные «солдатские» караулы юнкерскими: военные училища зарекомендовали себя в февральские дни нейтралитетом): мимо дремлющих в пустом вестибюле сторожей, мимо примолкшей «угловой», где вчера еще шелестели под проворными девичьими пальцами холщовые пулеметные ленты, я выхожу на свежий, чуть-чуть уже весной, сквозь зимнюю предрассветную изморозь, просвечивающий воздух. На Таврической — глухо и пусто. Но издалека, с Кирочной, доносятся странные, скрипящие, стонущие, многоголосые звуки. И когда я — на половине Таврического сада (виден уже Кончанский купол на академическом нашем плацу) — из-за угла, медлительный, тяжелый, многорядный вливается на Таврическую серый людской поток. И громче становятся стонущие, лязгающие звуки... Невольно ложится рука на револьверный кобур.

Головные поравнялись со мной. Сотнями скрежущих колес, царапая заледенелый снег, подходил к Таврическому пулеметный полк. Из Ораниенбаума, на присоединение. Мы вчера еще знали, что он выступил.

Я долго стоял, пропуская мимо себя молчаливые, пригнутые далеким переходом, утомленные шеренги, и старательно укутанные войлоком — приземистыми, диковинными зверями какими-то казавшиеся — пулеметы: и от скрежета этого и холодной медью поблескивающих лент, крест-накрест обматывавших серые, накрахмаленные морозом, взгорбившиеся нагрудники зябких шинелей, от молчаливой, чистой думы, которой веяло от этих сотен, — единым телом и единым духом - так явственно чувствовалось это! — ставших п о д л и н н ы м и людей — хорошо и радостно становилось на душе. Светло, ясно — истинно по-весеннему.

И, отряхивая нагар недавних впечатлений, хотелось крикнуть вновь, полным голосом, в такт и лад лавиной катящимся пулеметам:

«Да здравствует Революция!»

ХРОНИКА СОБЫТИЙ. ФЕВРАЛЬ

«Временного Комитета Гос. Думы для поддержания порядка в Петрограде и для сношений с различными учреждениями и лицами». — Депутации войск у Таврического Дворца. — Аресты министров и сановников старого правительства. — Пожар окружного суда.— Заседание совета старейшин Гос. Думы, на котором состоялись выборы членов Временного Комитета. — Образование Исполнительного Комитета Государственной Думы из членов Гос. Думы в составе: М. В. Родзянко, Н. В. Некрасова, А. И. Коновалова, И. И. Дмитрюкова, А. Ф. Керенского, Н. С. Чхеидзе, В. В. Шульгина, С. И. Шидловского, П. Н. Милюкова, М. А. Караулова, В. Н. Львова, В. А. Ржевского и Б. А. Энгельгардта. — Воззвание Временного Исполнительного Комитета и Совета Рабочих Депутатов о продовольствии солдат. — В Москве образовался Временный Революционный Комитет.

28—13 — вторник. Телеграфное сообщение во все города России об образовании Временного Исполнительного Комитета Гос. Думы. — Воззвание И. К. Сов. Раб. Деп. к населению с призывом сплотиться вокруг Совета, образовать местные комитеты в районах, взять в свои руки управление местными делами и организовать рабочую милицию. — Воззвание Времен. Ком. Гос. Думы о необходимости щадить и охранять государственные и общественные учреждения и имущество. Второе воззвание с призывом к населению и армии о помощи «в трудной задаче создания нового правительства», — Вошедший в состав Комитета Гос. Думы полковник Б. А. Энгельгардт назначен комендантом Петроградского гарнизона. — Занятие Шлиссельбургской крепости и Адмиралтейства, где скрывались некоторые члены царского правительства. — Вышел № 1 «Известий Петроградского Совета Рабочих Депутатов». — Распоряжение Временного Исп. Ком. Гос. Думы о назначении особых комиссаров из состава членов Гос. Думы по управлению министерствами: мин. внутр. дел. гр. Д. Н. Капниста, Масленникова, Ефремова и Арефьева, почтой — Барышникова и Черносвитова, телеграфом — Гронского и Калузина, военным и морским министерствами — Савича и Саватеева, земледелия — Волкова, Демидова, кн. Васильчикова и гр. Капниста 1-го, мин. юстиции — В. А. Маклакова, Аджемова и Басакова, мин. торговли и промышленности — С. Н. Родзянко и Ростовцева, мин. финансов — Виноградова и Титова, Сенатом — Годнева и Петербургским градоначальством — Герасимова и В. Пепеляева. Воззвание члена Гос. Думы А. А. Бубликова к железнодорожникам. — Назначение Советом Раб. Деп. районных комиссаров. — Организация милиции. — Всеобщая забастовка в Москве. — Арест командующего войсками ген. Мрозовского. — Первое воззвание Временного Московского Революционного Комитета к рабочим, солдатам и торгово-промышленным служащим. — Образование Сов. Р. Д. и Комитета общественных организаций.

———

Печатается по книге В. Максакова и Н. Нелидова «Хроника революции», выпуск I, 1917 год. Госиздат, М.-Пг., 1923.

А. И. ДЕНИКИН

ПОСЛЕ ПРИКАЗА № 1





События застали меня далеко от столицы, в Румынии, где я командовал 8-м армейским корпусом. Оторванные от родины, мы если и чувствовали известную напряженность политической атмосферы, то не были подготовлены вовсе ни к какой неожиданно скорой развязке..

Фронт был поглощен своими частными интересами и заботами. Готовились к зимнему наступлению, которое вызывало совершенно отрицательное к себе отношение у всего командного состава нашей 4-й армии: употребляли все усилия, чтобы ослабить до некоторой хотя бы степени ту ужасную хозяйственную разруху, которую создали нам румынские пути сообщения. Где-то в Новороссии на нашей базе всего было достаточно, но до нас ничего не доходило. Лошади дохли от бескормицы, люди мерзли без сапог и теплого белья и заболевали тысячами: из нетопленых румынских вагонов, неприспособленных под больных и раненых, вынимали окоченелые трупы и складывали, как дрова, на станционных платформах. Молва катилась, преувеличивая отдельные эпизоды, волновала, искала виновных..

Утром, 3 марта подали телеграмму из штаба армии «для личного сведения» о том, что в Петрограде вспыхнуло восстание, что власть перешла к Государственной Думе и что ожидается опубликование важных государственных актов. Через несколько часов телеграф передал и манифесты императора Николая II и великого князя Михаила Александровича. Сначала было приказано распространить их, потом, к немалому моему смущению (телефоны разнесли уже весть), задержать, потом, наконец, снова распространить.

Эти колебания, по-видимому, были вызваны переговорами Временного комитета Государственной Думы и штаба Северного фронта о задержке опубликования актов, ввиду неожиданного изменения государем основной их идеи наследование престола не Алексеем Николаевичем, а Михаилом Александровичем. Задержать, однако, уже не удалось.

Войска были ошеломлены, — трудно определить другим словом первое впечатление, которое произвело опубликование манифестов. Ни радости, ни горя. Тихое, сосредоточенное молчание. Так встретили полки 14 и 15 дивизии весть об отречении своего императора. И только местами в строю непроизвольно колыхались ружья, взятые на караул, и по щекам старых солдат катились слезы..

Спустя некоторое время, когда улеглось первое впечатление, я два раза собирал старших начальников обеих дивизий с целью выяснить настроение войск и беседовал с частями. Эти доклады, личные впечатления, донесения соседних корпусов, которые я читал потом в штабе армии, дают мне возможность оценить объективно это настроение. Главным образом, конечно, офицерской среды, ибо солдатская масса — слишком темная, чтобы разобраться в событиях, и слишком инертная, чтобы тотчас реагировать на них, — тогда не вполне еще определилась.

Чтобы передать точно тогдашнее настроение, не преломленное сквозь призму времени, я приведу выдержки из своего письма к близким от 8 марта:

«Перевернулась страница истории. Первое впечатление ошеломляющее, благодаря своей полной неожиданности и грандиозности. Но в общем войска отнеслись ко всем событиям совершенно спокойно. Высказываются осторожно, но в настроении массы можно уловить совершенно определенные течения.

1) Возврат к прежнему немыслим

2) Страна получит государственное устройство, достойное великого народа: вероятно, конституционную ограниченную монархию.

3) Конец немецкому засилью и победное продолжение войны».

Отречение государя сочли неизбежным следствием всей нашей внутренней политики последних лет. Но никакого озлобления лично против него и против царской семьи не было. Все было прощено и забыто. Наоборот, все интересовались их судьбой и опасались за нее

Назначение верховным главнокомандующим Николая Николаевича и его начальником штаба генерала Алексеева было встречено в офицерской и солдатской среде вполне благоприятно.

Интересовались, будет ли армия представлена в Учредительном собрании.

К составу Временного правительства отнеслись довольно безучастно, к назначению военным министром штатского человека — отрицательно, и только участие его в работах по государственной обороне и близость к офицерским кругам сглаживали впечатление.

Многим кажется удивительным и непонятным тот факт, что крушение векового монархического строя не вызывало среди армии, воспитанной в его традициях, не только борьбы, но даже отдельных вспышек, что армия не создала своей Вандеи..

Мне известны только три эпизода резкого протеста: движение отряда генерала Иванова на Царское Село, организованное ставкой в первые дни волнении в Петрограде, выполненное весьма неумело и вскоре отмененное, и две телеграммы, посланные государю командирами 3 конного и гвардейского конного корпусов, графом Келлером и Ханом-Нахичеванским. Оба они предлагали себя и свои войска в распоряжение государя для подавления «мятежа»

Время шло

От частей корпуса стало поступать ко мне множество крупных и мелких недоуменных вопросов

Кто же у нас представляет верховную власть: Временный комитет, создавший Временное правительство, или это последнее? Запросил, не получил ответа. Само Временное правительство, по-видимому, не отдавало себе ясного отчета о существе своей власти.

Кого поминать на богослужении?

Петь ли народный гимн и «спаси, Господи, люди твоя»?..

Эти кажущиеся мелочи вносили, однако, некоторое смущение в умы и нарушали установившийся военный обиход..

Был и такой вопрос: имел ли право император Николай Александрович отказаться от прав престолонаследия за своего несовершеннолетнего сына?

Скоро, однако, другие вопросы стали занимать войска: получен был первый приказ военного министра Гучкова, с изменениями устава внутренней службы в пользу «демократизации армии». Этим приказом, на первый взгляд довольно безобидным, отменялись титулование офицеров, обращение к солдатам на «ты» и целый ряд мелких ограничений, установленных для солдат уставом, — воспрещения курения на улицах и в других общественных местах, посещения клубов и собраний, игры в карты и т. д.

Последствия были совершенно неожиданные для лиц, не знавших солдатской психологии. Строевые же начальники понимали, что если необходимо устранить некоторые отжившие формы, то делать это надо исподволь, осторожно, и главное отнюдь не придавая этому характера «завоевании революции»...

Солдатская масса, не вдумавшись нисколько в смысл этих мелких изменений устава, приняла их просто как освобождение от стеснительного регламента службы, быта и чинопочитания

Но если все эти мелкие изменения устава, распространительно толкуемые солдатами, отражались только в большей или меньшей степени на воинской дисциплине, то разрешение военным лицам во время войны и революции «участвовать в качестве членов в различных союзах и обществах, образуемых с политической целью», представляло уже угрозу самому существованию армии.

Ставка, обеспокоенная этим обстоятельством, прибегла тогда к небывалому еще в армии способу плебисцита: всем начальникам, до командира полка включительно, предложено было высказаться по поводу новых приказов в телеграммах, адресованных непосредственно военному министру. Я не знаю, справился ли телеграф со своей задачей, достигла ли назначения эта огромная масса телеграмм, но все те, которые стали мне известны, были полны осуждения, во всех сквозил страх за будущее армии.

А в то же время военный совет, состоявший из старших генералов, якобы хранителей опыта и традиции армии, — в Петрограде в заседании своем 10 марта постановил доложить Временному правительству:

«Военный совет считает своим долгом засвидетельствовать полную свою солидарность с теми энергичными мерами, которые Временное правительство принимает в отношении реформ наших вооруженных сил, соответственно новому укладу жизни в государстве и армии, в убеждении, что эти реформы наилучшим образом будут способствовать скорейшей победе нашего оружия и освобождению Европы от гнета прусского милитаризма».

Я не могу после этого не войти в положение штатского военного министра.

Нам трудно было понять, какими мотивами руководствовалось военное министерство, издавая свои приказы. Мы не знали тогда о безудержном оппортунизме лиц, окруживших военного министра, о том, что Временное правительство находится в плену у совета рабочих и солдатских депутатов и вступило с ним на путь соглашательства, являясь всегда страдательной стороной.

1 марта советом рабочих и солдатских депутатов был издан приказ № 1, приведший к переходу фактической военной власти к солдатским комитетам, к выборному началу и смене солдатами начальников, — приказ, имеющий такую широкую и печальную известность и давший первый и главный толчок к развалу армии.

Результаты приказа № 1 отлично были поняты вождями революционной демократии. Говорят, что Керенский впоследствии патетически заявил, что отдал бы десять лет жизни, чтобы приказ не был подписан... Произведенное военными властями расследование «не обнаружило» авторов его. Чхеидзе и прочие столпы совета рабочих и солдатских депутатов впоследствии отвергли свое участие, личное и членов комитета, в редактировании приказа.

5 марта совет рабочих и солдатских депутатов отдал приказ № 2 «в разъяснение и дополнение № 1» Приказ этот, оставляя в силе все основные положения, установленные № 1, добавлял: приказ № 1 установил комитеты, но не выборное начальство; тем не менее, все произведенные уже выборы офицеров должны остаться в силе; комитеты имеют право возражать против назначения начальников; все петроградские солдаты должны подчиняться политическому руководству исключительно совета рабочих и солдатских депутатов, а в вопросах, относящихся до военной службы, военным властям. Этот приказ, весьма несущественно отличавшийся от № 1, был уже скреплен председателем военной комиссии Временного правительства..

Быстрое и повсеместное, по всему фронту и тылу, распространение приказа № 1 обусловливалось тем обстоятельством, что идеи, проведенные в нем, зрели и культивировались много лет, одинаково в подпольях Петрограда и Владивостока, как заученные прописи, проповедовались всеми местными армейскими демагогами, всеми наводнившими фронт делегатами, снабженными печатью неприкосновенности от совета рабочих и солдатских депутатов.

Были и такие факты: в самом начале революции, когда еще никакие советские приказы не проникли на Румынский фронт, командовавший 6-й армией генерал Цуриков по требованию местных демагогов ввел у себя комитеты и даже пространной телеграммой, заключавшей доказательства пользы нововведения, сообщил об этом и нам — командирам корпусов чужой армии.

С другой стороны, некоторые солдатские организации отнеслись отрицательно к приказу, считая его провокацией. Так, нижегородский совет солдатских депутатов 4 марта постановил не принимать к исполнению полученную «прокламацию» и призвать войска «повиноваться Временному правительству, его органам и командному составу».

Мало-помалу солдатская масса зашевелилась. Началось с тылов, всегда более развращенных, чем строевые части, среди военной полуинтеллигенции — писарей, фельдшеров, в технических командах. Ко второй половине марта, когда в наших частях только усилились несколько дисциплинарные проступки, командующий 4-й армией в своей главной квартире ожидал с часу на час, что его арестуют распущенные нестроевые банды.

Прислали, наконец, текст присяги «на верность службы Российскому государству». Идея верховной власти была выражена словами

«...Обязуюсь повиноваться Временному правительству, ныне возглавляющему Российское государство, впредь до установления воли народа при посредстве Учредительного собрания»

Приведение войск к присяге повсюду прошло спокойно, но идиллических ожиданий начальников не оправдало: ни подъема, ни успокоения в смятенные умы не внесло. Могу отметить лишь два характерных эпизода. Командир одного из корпусов на Румынском фронте во время церемонии присяги умер от разрыва сердца. Граф Келлер заявил, что приводить к присяге свои корпус не станет, так как не понимает существа и юридического обоснования верховной власти Временного правительства, не понимает, как можно присягать, повиноваться Львову, Керенскому и прочим определенным лицам, которые могут ведь быть удалены или оставить посты.

В половине марта я был вызван на совещание к командующему 4 армией генералу Рагозе. Участвовали генералы Гаврилов, Сычевский и начальник штаба Юнаков. Отсутствовал граф Келлер, не признавший новой власти

Нам прочли длинную телеграмму генерала Алексеева, полную беспросветного пессимизма, о начинающейся дезорганизации правительственного аппарата и развале армии; демагогическая деятельность совета рабочих и солдатских депутатов, тяготевшая над волей и совестью Временного правительства, полное бессилие последнего, вмешательство обоих органов в управление армией. В качестве противодействующего средства против развала армии намечалась... посылка государственно мыслящих делегатов из состава Думы и совета рабочих и солдатских депутатов на фронт для убеждения...

На всех телеграмма произвела одинаковое впечатление.

Ставка выпустила из своих рук управление армией. Между тем, грозный окрик Верховного командования, поддержанный сохранившей в первые две недели дисциплину и повиновение армией, быть может, мог поставить на место переоценивавший свое значение совет, не допустить «демократизации» армии и оказать соответственное давление на весь ход политических событий, не нося характера ни контрреволюции, ни военной диктатуры. Лояльность командного состава и полное отсутствие с его стороны активного противодействия разрушительной политике Петрограда превзошли все ожидания революционной демократии.

Корниловское выступление запоздало...

Мы составили сообща ответную телеграмму, предлагая решительные меры против чужого вмешательства в военное управление.

18 марта получил приказание немедленно отправиться в Петроград к военному министру. Быстро собравшись, я выехал в ту же ночь и, пользуясь сложной комбинацией повозок, автомобилей и железных дорог, на 6 день прибыл в столицу.

По пути, проезжая через штабы Чечицкого, Каледина, Брусилова, встречая много лиц военных и причастных к армии, я слышал все одни и те же горькие жалобы, все одну и ту же просьбу:

— Скажите им, что они губят армию..

Телеграмма не давала никакого намека на цель моего вызова.

Полная, волнующая неизвестность, всевозможные догадки и предположения.

Только в Киеве слова пробежавшего мимо газетчика поразили меня своей полной неожиданностью: «Последние новости... Назначение генерала Деникина начальником штаба Верховного Главнокомандующего»...

Четыре года я не видел Петрограда. Но теперь странное и тягостное чувство вызывала столица... начиная с разгромленной гостиницы «Астория», где я остановился, и где в вестибюле дежурил караул грубых и распущенных гвардейских матросов; улицы такие же суетливые, но грязные и переполненные новыми господами положения, в защитных шинелях, далекими от боевой страды, углубляющими и спасающими революцию. От кого?.. Я много читал раньше о том восторженном настроении, которое якобы царило в Петрограде, и не нашел его нигде. Министры и правители, с бледными лицами, вялыми движениями, измученные бессонными ночами и бесконечными речами в заседаниях, советах, комитетах, делегациях, представителям, толпе... Искусственный подъем, бодрящая, взвинчивающая настроение, опостылевшая, вероятно, самому себе фраза и... тревога, глубокая тревога в сердце. И никакой практической работы: министры по существу не имели ни времени, ни возможности хоть несколько сосредоточиться и заняться текущими делами своих ведомств; и заведенная бюрократическая машина, скрипя и хромая, продолжала кое-как работать старыми частями и с новым приводом...

Рядовое офицерство, несколько растерянное и подавленное, чувствовало себя пасынками революции и никак не могло взять надлежащий тон с солдатской массой. А на верхах, в особенности, среди генерального штаба, появился уже новый тип оппортуниста, слегка демагога, играющий на слабых струнках совета и нового правящего класса, старавшийся угождением инстинктам толпы стать ей близким, нужным и на фоне революционного безвременья открыть себе неограниченные возможности военно-общественной карьеры.

Следует, однако, признать, что в то время еще военная среда оказалась достаточно здоровой, ибо, невзирая на все разрушающие эксперименты, которые над ней производили, не дала пищи этим росткам. Все лица подобного типа, как, например, молодые помощники военного министра Керенского, а также генералы Брусилов, Черемисов, Бонч-Бруевич, Верховский, адмирал Максимов и др. не смогли укрепить своего влияния и положения среди офицерства.

Наконец, петроградский гражданин — в самом широком смысле этого слова — отнюдь не ликовал. Первый пыл остыл, и на смену явилась некоторая озабоченность и неуверенность.

Повторяю, что и тогда уже, в конце марта, в Петрограде чувствовалось, что слишком долго идет пасхальный перезвон, вместо того, чтобы сразу ударить в набат. Только два человека из всех, с которыми мне пришлось беседовать, не делали себе никаких иллюзий:

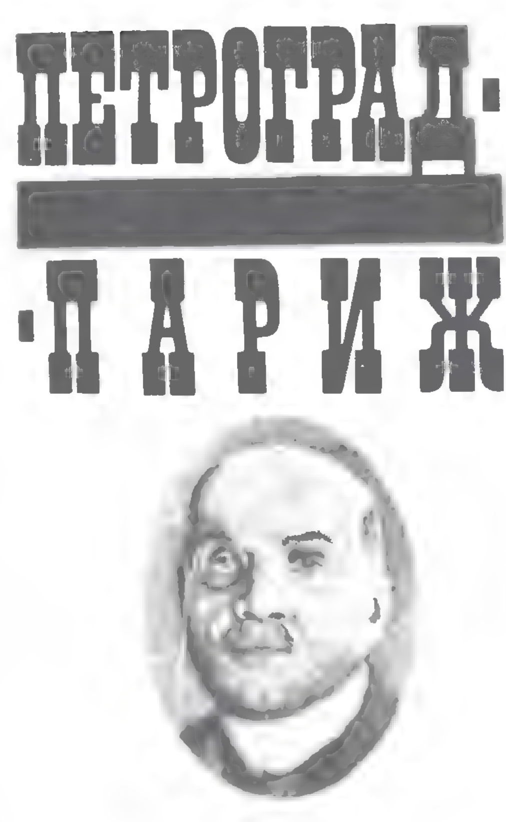
Крымов и Корнилов.

С Корниловым я беседовал в доме военного министра, за обедом — единственное время отдыха его в течение дня. Корнилов, усталый, угрюмый и довольно пессимистически настроенный, — рассказывал много о состоянии петроградского гарнизона и своих взаимоотношениях с советом. То обаяние, которым он пользовался в армии, здесь, в нездоровой атмосфере столицы, среди деморализованных войск — поблекло. Подойти к их психологии боевому генералу было трудно. И если часто ему удавалось личным презрением опасности, смелостью, метким, образным словом овладеть толпой в образе воинской части, то бывали случаи и другие, когда войска не выходили из казарм для встречи своего Главнокомандующего, подымали свист, срывали георгиевский флажок с его автомобиля (финляндский гвардейский полк).

Общее политическое положение Корнилов определял так же, как и Крымов: отсутствие власти у правительства и неизбежность жестокой расчистки Петрограда. В одном они расходились: Корнилов упрямо надеялся еще, что ему удастся подчинить своему влиянию большую часть петроградского гарнизона, — надежда, как известно, не сбывшаяся.

М. ПАЛЕОЛОГ

ПЕТРОГРАД-ПАРИЖ



Среда, 28 февраля.

На какую ни стать точку зрения — политическую, умственную, нравственную, религиозную — русский представляет всегда парадоксальное явление чрезмерной покорности, соединенной с сильнейшим духом возмущения.

Мужик известен своим терпением и фатализмом, своим добродушием и пассивностью, он иногда поразительно прекрасен в своей кротости и покорности. Но вот он вдруг переходит к протесту и бунту. И тотчас его неистовство доводит его до ужасных преступлений и жестокой мести, до пароксизма преступности и дикости...

В области личной морали, личного поведения равным образом проявляется эта двойственная натура русского. Я не знаю ни одной страны, где общественный договор больше пропитан традиционным и религиозным духом; где семейная жизнь серьезнее, патриархальнее, более наполнена нежностью и привязанностью, более окружена интимной поэзией и уважением, где семейные обязанности и тяготы принимаются легче; где с большим терпением переносят стеснения, лишения, неприятности и мелочи повседневной жизни. Зато ни в одной другой стране индивидуальные возмущения не бывают так часты, не разражаются так внезапно и так шумно. В этом отношении хроника романических преступлений и светских скандалов изобилует поразительными примерами.

Нет излишеств, на которые не были бы способны русский мужчина или русская женщина, лишь только они решили «утвердить свою свободную личность».

Суббота, 10 марта.

...Множество жандармов, казаков и солдат по всему городу. Приблизительно до четырех часов пополудни манифестации не вызвали никакого беспорядка. Но скоро публика начала приходить в возбуждение. Пели Марсельезу, носили красные знамена, на которых было написано: «Долой правительство... Долой Протопопова... Долой войну... Долой немку»... Немного позднее пяти часов на Невском произошли одна за другой несколько стычек. Были убиты три манифестанта и трое полицейских чиновников; насчитывают до сотни раненых...

Около половины двенадцатого я отправляюсь в министерство иностранных дел, а по дороге захожу за Бьюкененом.

Я осведомляю Покровского о том, что я только что видел.

— В таком случае, — говорит он, — это еще серьезнее, чем я думал.

Он сохраняет, однако, полное спокойствие, которое получает оттенок скептицизма, когда он излагает мне меры, на которые решились сегодня ночью министры:

— Сессия Думы отложена на апрель, и мы отправили императору телеграмму, умоляя его немедленно вернуться. За исключением г. Протопопова, мои коллеги и я полагали, что необходимо безотлагательно установить диктатуру, которую следовало бы вверить генералу, пользующемуся некоторым престижем в глазах армии, например, генералу Рузскому.

Я отвечаю, что, судя по тому, что я видел сегодня утром, верность армии уже слишком поколеблена, чтобы возлагать все надежды на спасение на «сильную власть», и что немедленное назначение министерства, внушающего доверие Думы, мне кажется более, чем когда-либо, необходимым; потому нельзя больше терять ни одного часа. Я напоминаю, что в 1789 г., в 1830 г., в 1848 г. три французские династии были свергнуты, потому что слишком поздно поняли смысл и силу направленного против них движения. Я добавлю, что в таких серьезных обстоятельствах представитель союзной Франции имеет право подать императорскому правительству совет, касающийся внутренней политики.

Покровский нам отвечает, что он лично разделяет наше мнение, но что присутствие Протопопова в совете министров парализует всякое действие.

Я спрашиваю его:

— Неужели же нет никого, кто мог бы открыть императору глаза на это положение?

Он делает безнадежный жест:

— Император слеп!

Глубокое страдание изображается на лице этого честного человека, этого прекрасного гражданина, чью прямоту сердца, патриотизм и бескорыстие я никогда не в состоянии буду достаточно восхвалить.

Он предлагает нам опять придти в конце дня...

Я употребляю вечер на то, чтоб попытаться получить кое-какие сведения в Думе. Затруднение велико, потому что всюду выстрелы и пожары.

Мне доставляют, наконец, кое-какие информации, которые согласуются между собой.

Дума, говорят мне, не щадит своих усилий для организации Временного Правительства, восстановления какого-нибудь порядка и обеспечения столицы продовольствием.

Такая скорая и полная измена армии является большим сюрпризом для вождей либеральных партий и даже для рабочей партии. В самом деле, она ставит перед умеренными депутатами, которые пытаются руководить народным движением (Родзянко, Милюков, Шингарев, Маклаков и пр.), вопрос о том, можно ли еще спасти династический режим. Страшный вопрос, потому что республиканская идея, пользующаяся симпатиями петроградских и московских рабочих, чужда общему духу страны, и невозможно предвидеть, как армии на фронте примут столичные события!

Вторник, 13 марта.

...У Летнего сада я встречаю одного из эфиопов, которые караулили у двери императора, и который столько раз вводил меня в кабинет к императору. Милый негр тоже одел цивильное платье, и вид у него жалкий. Мы проходим вместе шагов двадцать; у него слезы на глазах. Я говорю ему несколько слов утешения и пожимаю ему руку. В то время, как он удаляется, я следую за ним опечаленным взглядом. В этом падении целой политической и социальной системы, он представляет для меня былую царскую пышность, живописный и великолепный церемониал, установленный некогда Елизаветой и Екатериной Великой, все обаяние, которое вызывали эти слова, отныне ничего не означающие: «русский Двор»...

При выходе из здания министерства, сэр Джордж Бьюкенен говорит мне:

— Вместо того, чтоб идти по Миллионной, пройдем лучше по Дворцовой набережной. Нам не надо будет тогда проходить у гвардейских казарм.

Но когда мы выходим на набережную, нас узнает группа студентов, которые нас приветствуют и провожают нас. Перед Мраморным дворцом толпа разрастается и приходит в возбуждение. К крикам «Да здравствует Франция», «Да здравствует Англия» неприятно примешиваются крики: «Да здравствует Интернационал», «Да здравствует мир».

На углу Суворовской площади Бьюкенен покидает меня, посоветовав мне вернуться в свое посольство, чтоб избежать толпы, которая слишком возбуждена. Но уже поздно; я хочу до завтрака отправить телеграмму в Париж и продолжаю свой путь..

Около пяти часов, один высокопоставленный сановник, К.., сообщает мне, что комитет Думы старается образовать Временное Правительство, но что председатель Думы Родзянко, Гучков, Шульгин и Маклаков совершенно огорошены анархическими действиями армии.

— Не так, — добавляет мой информатор, — представляли они себе Революцию; они надеялись руководить ею, сдержать армию.

Теперь войска не признают никаких начальников и распространяют террор по всему городу.

Затем он неожиданно заявляет, что он пришел ко мне от председателя Думы Родзянко и спрашивает меня, не имею ли передать ему какое-нибудь мнение или указание.

— В качестве посла Франции, — говорю я, — меня больше всего озабочивает война. Итак, я желаю, чтобы влияние Революции было, по возможности, ограничено и чтобы порядок был поскорей восстановлен. Не забывайте, что французская армия готовится к большому наступлению и что честь обязывает русскую армию сыграть при этом свою роль.

— В таком случае, вы полагаете, что следует сохранить императорский режим?

— Да, но в конституционной, а не самодержавной форме.

— Николай II не может больше царствовать, он никому больше не внушает доверия, он потерял всякий престиж. К тому же, он не согласился бы пожертвовать императрицей.

— Я допускаю, чтобы вы переменили царя; но сохранили царизм.

И я стараюсь ему доказать, что царизм самая основа России, внутренняя и незаменимая броня русского общества, наконец, единственная связь, объединяющая все разнообразные народы империи.

— Если бы царизм пал, будьте уверены, он увлек бы в своем падении русское здание.

Он уверяет меня, что и Родзянко, Гучков и Милюков такого же мнения; что они энергично работают в этом направлении, но что элементы социалистические и анархические делают успехи с каждым часом.

— Это еще одна причина, — говорю я, — чтобы поспешить!

С наступлением вечера я решаюсь выйти со своим секретарем Шанбрэн, чтобы пойти сказать несколько слов ободрения знакомым дамам, которые живут по соседству и, я знаю, очень беспокоятся. После короткого визита к супруге князя Станислава Радзивилла и графине Робьен, мы решаемся вернуться к себе, так как, несмотря на мрак, каждое мгновение раздаются выстрелы и, проходя по Сергиевской, мы слышим свист пуль.

В этом дне, который полон столь важных событий и который, может быть, определит будущее России более, чем на столетие, я отмечаю эпизод, с первого взгляда ничтожный, но в сущности довольно характерный. Дом Кшесинской, расположенный в начале Каменностровского проспекта, напротив Александровского парка, был сегодня разгромлен с верху до низу ворвавшимися в него повстанцами. Я припоминаю подробность, которая объясняет мне, почему народная ярость обратилась против этого жилища знаменитой балерины. Это было прошлой зимой; холод был страшный: термометр упал до 35°. Сэр Джордж Бьюкенен, посольство которого отапливается при помощи «центральной системы», не мог достать себе каменного угля, который является необходимым топливом при этой системе. Но днем, пользуясь тем, что небо было ясно и не было ветра, мы вышли погулять на Острова. В тот момент, когда свернули на Каменностровский проспект, Бьюкенен воскликнул:

— О, это уже слишком!

И он показал мне у дома танцовщицы четыре военных повозки, нагруженные мешками угля, которые выгружал взвод солдат.

— Успокойтесь, сэр Джордж, — сказал я ему. — Вы не можете сослаться на те права, которые имеет Кшесинская, на заботы императорской власти.

Вероятно, годами многие тысячи русских делали аналогичные замечания по поводу милостей, которыми осыпали Кшесинскую. Мало-помалу создалась легенда. Балерина, которую когда-то любил цесаревич, за которой с тех пор ухаживали одновременно два великих князя, сделалась своего рода символом императорской власти. На этот-то символ набросилась чернь. Революция всегда, в большей или меньшей степени, итог или санкция.

Среда, 14 марта.

...С тех пор, как началась русская революция, воспоминания из французской революции часто приходят мне на память. Но дух обоих движений совершенно разный... По своему происхождению, по своим принципам, по своему характеру — социальному, еще больше чем политическому, — настоящий кризис имеет больше сходства с революцией 1848 года.

Император покинул Могилев вчера утром. Поезд направился в Бологое, расположенное на половине дороги между Москвой и Петроградом. Предполагают, что император хочет вернуться в Царское Село; во всяком случае, возникает еще вопрос, не думает ли он доехать до Москвы, чтобы организовать там сопротивление революции.

Решительная роль, которую присвоила себе армия в настоящей фазе революции, только что на моих глазах нашла подтверждение в зрелище трех полков, продефилировавших перед посольством по дороге в Таврический дворец. Они идут в полном порядке, с оркестром впереди. Во главе их несколько офицеров, с широкой красной кокардой на фуражке, с бантом из красных лент на плече, с красными нашивками на рукавах. Старое полковое знамя, покрытое иконами, окружено красными знаменами.

Великий князь Кирилл Владимирович объявил себя за Думу.

Он сделал больше. Забыв присягу в верности и звание флигель-адъютанта, которое он получил от императора, он пошел сегодня в четыре часа преклониться пред властью народа. Видели, как он в своей форме капитана 1-го ранга, отвел в Таврический дворец гвардейские экипажи, коих шефом он состоит, и представил их в распоряжение мятежной власти.

Немного спустя, старый Потемкинский дворец послужил рамой другой не менее грустной картины. Группа офицеров и солдат, присланных гарнизоном Царского Села, пришла заявить о своем переходе на сторону революции.

Во главе шли казаки свиты, великолепные всадники, цвет казачества, надменный и привилегированный отбор императорской гвардии. Затем прошел полк его величества, священный легион, формируемый путем отбора из всех гвардейских частей и специально назначенный для охраны особ царя и царицы. Затем прошел еще железнодорожный полк его величества, которому вверено сопровождение императорских поездов и охрана царя и царицы в пути. Шествие замыкалось императорской дворцовой полицией: отборные телохранители, приставленные к внутренней охране императорских резиденций и принимающие участие в повседневной жизни, в интимной и семейной жизни их властелинов.

И все, офицеры и солдаты, заявляли о своей преданности новой власти, которой они даже названия не знают, как будто они торопились устремиться к новому рабству.

Во время сообщения об этом позорном эпизоде я думаю о честных швейцарцах, которые были перебиты на ступенях Тюильрийского дворца 10 августа 1792 г. Между тем, Людовик XVI не был их национальным государем, и, приветствуя его, они называли его «царь-батюшка».

Вечером ко мне зашел осведомиться о положении граф С. Я. Между прочим, рассказываю об унизительном поведении царскосельского гарнизона в Таврическом дворце. Он сперва отказывается мне верить. Затем, после долгой паузы скорбного размышления, он продолжает:

— Да, то, что вы мне только что рассказали, отвратительно. Гвардейские войска, которые принимали участие в этой манифестации, покрыли себя позором... Но вся вина, может быть, не их одних. В их постоянной службе при их величествах эти люди видели слишком много такого, чего они не должны были бы видеть; они слишком много знают о Распутине...

Как я писал вчера по поводу Кшесинской, революция всегда, в большей или меньшей степени, итог или санкция.

Около полуночи мне сообщают, что лидеры либеральных партий устроили сегодня вечером тайное совещание, без участия и ведома социалистов, чтобы сговориться насчет будущей формы правления. Они все оказались единодушными в своих заявлениях в том, что монархия должна быть сохранена, но что Николай, ответственный за настоящие несчастия, должен быть принесен в жертву для спасения России. Бывший председатель Думы, Александр Иванович Гучков, теперь член Государственного Совета, развил затем это мнение: «Чрезвычайно важно, чтоб Николай II не был свергнут насильственно. Только его добровольное отречение в пользу сына или брата могло бы обеспечить без больших потрясений прочное установление нового порядка. Добровольный отказ от престола Николая II — единственное средство спасти императорский режим и династию Романовых». Этот тезис, который мне кажется очень правильным, был единодушно одобрен. В заключение либеральные лидеры решили, что Гучков и депутат националистической правой, Шульгин, немедленно отправятся к императору умолять его отречься в пользу сына.

РЕДКИЕ КНИГИ ОБ ЭТИХ ДНЯХ:

Рабинович С. Е. БОРЬБА ЗА АРМИЮ В 1917 г. М.-Л., 1920.

РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В САТИРЕ И ЮМОРЕ. М., 1925.

Семенов Г. ВОЕННАЯ И БОЕВАЯ РАБОТА ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ-РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ ЗА 1917—1918 гг. М., 1922.

РЕВОЛЮЦИЯ И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В ОПИСАНИЯХ БЕЛОГВАРДЕЙЦЕВ. Февральская революция. Сост. С. А. Алексеев. 2-е изд. М.-Л., 1926.

Мстиславский С. ПЯТЬ ДНЕЙ. Начало и конец Февральской революции. 2-е изд. Берлин-Петербург-Москва, 1922.

Будберг А. ДНЕВНИК — «АРХИВ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ», Т. XII. Берлин, 1923.

Палеолог Морис. ЦАРСКАЯ РОССИЯ НАКАНУНЕ РЕВОЛЮЦИИ. М.-Пг., 1923.

Бош Евгения. ГОД БОРЬБЫ. Борьба за власть на Украине с апреля 1917 г. до немецкой оккупации. М.-Л., 1925.

АЛЕКСАНДРА ТОЛСТАЯ

ПРОБЛЕСКИ ВО ТЬМЕ

«Неужели можно так дрессировать людей? — думала я. — А может быть, она сама по себе такая»...

Правда, что все служащие чека были замечательно выдрессированы. Но они иногда разговаривали с нами, отвечали на вопросы, пересмеивались между собой, ругались, наконец. И, хоть и чувствовалась в них резкость и жестокость, но не было той холодности машины, которая была в латышке. Она казалась мне страшнее надзирателей, начальника тюрьмы, следователя...

Невольно мои мысли тянулись к ней, когда она входила, я не отрывала глаз, внимательно разглядывала ее плоское, грубое лицо с белыми бровями и ресницами, бесцветными, невидящими глазами.

— Здравствуйте, товарищ! — вдруг, неожиданно для самой себя, сказала я ей, когда она швырнула в камеру ведро.

Она удивленно вскинула на меня свои безжизненные белесые глаза и ничего не ответила.

С тех пор я упорно каждое утро с ней здоровалась, а она делала вид, что не слышит, и не отвечала. Один раз днем, когда она принесла обед, я предложила ей конфет, которые были в передаче.

— Нельзя! — отрезала она и резко захлопнула за собой дверь.

На следующий день, когда я как всегда поздоровалась с ней, она едва заметно кивнула мне головой.

— А все-таки не приучите! — дразнили меня мои товарки по камере. — Эти латышки ужасно бесчувственные!

Но я думала иначе. Я радовалась. Желание вызвать в латышке проявление человеческого приобрело для меня огромное значение. Казалось, все мои чувства, мысли, воля, сосредоточились в этом желании. И, чем труднее казалась задача, чем больше я затрачивала на нее сил, тем сильнее делалось желание.

— Здравствуйте! Ну, как погода сегодня? — обратилась я к ней, как к старой знакомой, с обычным приветом.

— Здравствуйте!

Это была уже настоящая победа, и я ликовала.

Когда в следующую передачу я получила яблоки, я выбрала одно получше и протянула ей.

— Возьмите, товарищ, я ведь просто...

Она поколебалась, взяла и сунула под фартук. Но лицо продолжало быть деревянным: она так же, как машина, входила, приносила, уносила, не глядя, не отвечая на вопросы. Иногда я отчаивалась. Казалось, что она вся насквозь деревянная и душа у нее деревянная.

23 апреля были мои именины. Двое надзирателей, улыбаясь, притащили в камеру огромную передачу от друзей. Было много, много цветов, так много, что мы обвили решетку цветами, и у нас был праздник в камере.

Когда вошла латышка, я протянула ей букет цветов. Она удивленно пожала плечами.

— Возьмите, сегодня мой праздник!

Она молча взяла, а, когда принесла обед, на груди у нее был заткнут мой букетик подснежников.

Это случилось совершенно неожиданно. Утром, проснувшись, я по обыкновению взглянула через щелку форточки на небо. И, увидав голубой клочок неба, вдруг почувствовала солнце, тепло, весну... и стало грустно. Когда вошла латышка, я, забыв про все свои опыты, спросила ее, как спросила бы всякого человека, который свободно может смотреть на солнце и небо:

— Хорошо сегодня на улице?

— Тепло, весна! — ответила она мягко.

В одиннадцать часов, в самое неурочное время, неожиданно раскрылась дверь, и, широко улыбаясь своим плоским лицом, в камере появилась латышка!

— Гражданка Толстая, это вам! — сказала она, конфузясь.

Ко мне на колени упала большая ветка цветущей черемухи.

СКРИПАЧ

Пасха — и мне особенно грустно. Все в камере получили передачи, кроме меня. Почему никто обо мне не вспомнил? Может быть, арестованы? Больны? Или просто забыли?

Я даже не знаю, почему мне так грустно. Пасха для меня обычай, связанный с далеким прошлым. И вот сейчас, здесь, в тюрьме, хочется именно той, другой, далекой Пасхи. Чтобы был накрыт стол в столовой Хамовнического дома, накрахмаленная скатерть, такая белоснежная, что страшно к ней притронуться; чтобы на столе стояли высокие бабы, куличи и пасхи и огромный окорок, украшенный надрезанной бумагой. Шурша шелками, из спальни выходит мать, нарядная, в светло-сером или белом шелковом платье. В настежь раскрытые окна из сада врывается чистый весенний воздух, пропитанный запахом земли, слышится непрерывный звон переливчатых колоколов. Грустно. Звона уже нет. Москва в ужасе замерла. Все запуганные, голодные, несчастные, а я сижу в тюрьме. Камера похожа на длинный мрачный гроб. На столе на газете лежат три красных, с растекшейся краской яйца и темный маленький кулич с бумажным пунцовым цветком. Лучше бы их не было, они еще больше напоминают о нищете..

Я бросилась на кровать, лицом к стене. Хотелось плакать. Было тихо. Должно быть, моим товаркам тоже было тоскливо. Они не болтали, как всегда.

И вдруг могучие звуки прорезали тишину. Все шесть женщин бросились к дверям и, приложив уши к щелке, стали слушать. Некоторые из нас упали на колени. Мы слушали молча, боясь пошевельнуться, боясь громким дыханием нарушить очарование.

Глубокие, неземные звуки прорезали тишину. Они проникали всюду, сквозь каменные, толстые стены, сквозь потолок, они прорывались наружу через крышу тюрьмы, тянулись к небу, утопали в бесконечном пространстве. Они были свободны, могучи, они одни царствовали надо всем.

Кто-то играл на скрипке траурный марш Шопена. Один раз, другой. Затем звуки замерли, снова наступила тишина.

Продолжение. Начало в №№ 9, 12 1989

Слезы были у нас на глазах. Мы не смотрели друг на друга, не говорили.

По-видимому, большой мастер играл траурный марш Шопена. Да. Но почему меня это так потрясло? Как будто звуки эти вырывались за пределы тюрьмы, за железные решетки и стены; ничто не могло удержать их полета в бесконечность... Бесконечность... Вот оно что... Вот о чем пела скрипка. Она пела о свободе, о могуществе, о красоте бессмертной души, не знающей преград, заключения, конца. Я плакала теперь от радости. Я была счастлива. Я знала, что я свободна..

Много позже я встретилась на свободе с машинисткой. Мы разговорились о тюрьме.

— А помните Пасху? — спросила она. — Скрипача?

— Еще бы. Я не могла этого забыть.

— Он большой артист, мне говорили о нем. И знаете, ему позволили играть только один раз, это именно было тогда, когда мы его слышали. На следующий день его расстреляли

В КОНЦЕНТРАЦИОННОМ ЛАГЕРЕ*

Нас вывели во двор тюрьмы. Меня и красивую, с голубыми глазами и толстой косой, машинистку. Было душно, парило. Чего-то ждали. Несколько групп, окруженных конвойными, выходили во двор. Это были заключенные приговоренные в другие лагеря по одному с нами делу. Перебросились словами, простились.

Нас погнали двое конвойных, вооруженных с головы до ног, — меня и машинистку.

Тяжелый мешок давил плечи. Идти по мостовой больно, до кровавых мозолей сбили себе ноги. Духота становилась все более и более нестерпимой. А надо было идти на другой конец города, к Крутицким казармам.

— Товарищи, — обратилась к красноармейцам красивая машинистка, — разрешите идти по тротуару, ногам больно!

— Не полагается.

Тучи сгущались, темнело небо. Мы шли медленно, хотя «товарищи» и подгоняли нас. Дышать становилось все труднее и труднее. Закапал дождь, сначала нерешительно, редкими, крупными каплями; небо разрезала молния, загрохотал, отдаваясь эхом, гром, и вдруг полился частый, крупный дождь, разрежая воздух, омывая пыль с мостовых. По улице текли ручьи, бежали прохожие, торопясь уйти от дождя, стало оживленно и почти весело.

— Эй, постойте-ка вы! — обратился к нам красноармеец. — Вот здесь маленько обождем, — и он указал под ворота большого каменного дома.

Я достала портсигар, протянула его конвойным.

— Покурим!

Улыбнулись, и, показалось, что сбежала с лица искусственная, злобная, точно по распоряжению начальства присвоенная, маска.

Я разулась, под водосточной трубой обмыла вспухшие ноги, и стало еще веселее. Дождь прошел. Несмело, сквозь уходящую иссиня-черную тучу проглядывало солнце, блестели мостовые, тротуары, крыши домов.

— Эй, гражданки! Идите по плитувару, что ли! — крикнул красноармеец. — Ишь, ноги-то как нажгли!

Теперь уже легче было идти босиком по гладким, не просохшим еще тротуарам.

— Надолго это вас? — спросил красноармеец.

— На три года.

— Э-э-ээх! — вздохнул он сочувственно. — Пропала ваша молодость.

Я взглянула на машинистку. Она еще молодая, лет двадцати пяти. Мне тридцать восемь, три года просижу, сорок один, — много...

Заныло в груди. Лучше не думать..

Подошли наконец к высоким старинным стенам Новоспасского монастыря, превращенного теперь в тюрьму. У тяжелых деревянных ворот дежурили двое часовых.

— Получайте! — крикнули конвойные. — Привели двух.

Часовой лениво поднялся со скамеечки, загремел ключами, зарычал запор в громадном, как бывают на амбарах, замке; нас впустили, и снова медленно и плавно закрылись за нами ворота. Мы в заключении.

Кладбище. Старые, облезлые памятники, белые уютные стены низких монастырских домов, тенистые деревья с обмытыми блестящими листьями, горьковато-сладкий запах тополя. Странно. Как будто я здесь была когда-то? Нет, место незнакомое, но ощущение торжественного покоя, уюта то же, как бывает только в монастырях. Вспомнилось, как в далеком детстве я ездила с матерью к Троице-Сергию.

— Шкура подзаборная, мать твою..

Из-за угла растрепанные, потные, с перекошенными злобой лицами выскочили две женщины. Более пожилая, вцепившись в волосы молодой, сзади старалась прижать ей руки. Молодая, не переставая изрыгать отвратительные ругательства, мотая головой, точно огрызаясь, изо всех сил и руками и зубами старалась отбиться.

С крыльца, чуть не сбив нас с ног, выскочил надзиратель.

— Разойдись, сволочь! — крикнул он, подбегая к женщинам и хватая старшую за ворот

Поправляя косынки и переругиваясь, женщины пошли прочь.

Мы вошли в контору. Дрожали колени не то от усталости, не то под впечатлением только что виденного. С ними, вот с «такими», придется сидеть мне три года!

Стриженая, с курчавыми черными волосами, красивая девушка, еврейка, что-то писала за столом. Женщина средних лет, в холщовой рубахе навыпуск, в посконной синей юбке и самодельных туфлях на босу ногу, встала из-за другого стола и с приветливой улыбкой подошла к нам.

— Пожалуйста, сюда, — сказала она, — мне нужно вас зарегистрировать. Ваша фамилия, возраст, прежнее звание? — задавала она обычные вопросы. — Ваша фамилия Толстая? — переспросила она. — Имя, отчество?

— Александра Львовна.

Что-то промелькнуло у нее в лице, не то удивление, не то радость.

Закурив папиросу и небрежно раскачиваясь, еврейка вышла на крыльцо, и сейчас же лицо пожилой женщины преобразилось. Она схватила мою руку и крепко пожала ее.

— Дочь Льва Николаевича Толстого? Да? — поспешно спросила она меня.

— Да.

Мне было не до нее. Только что виденная мною сцена не выходила из головы.

— Большая часть арестованных уголовные? — спросила я ее. — Какой ужас!

— Голубушка, Александра Львовна, ничего, ничего, право, ничего! Везде жить можно, и здесь хорошо, не так ужасно, как кажется сперва. Пойдемте, я помогу вам отнести вещи в камеру

Голос низкий, задушевный

— Как ваша фамилия?

— Моя фамилия Каулбарс.

— Дочь бывшего губернатора

— Да

Я снова, совсем уже по-другому взглянула на нее. А она, поймав мой удивленный взгляд, грустно и ласково улыбнулась.

Навстречу нам, неся перекинутое на левую руку белье, озабоченной, деловой походкой шла маленькая, стриженая женщина.

— Александра Федоровна! — обратилась к ней дочь губернатора. — У нас найдется местечко в камере? — и, оглянувшись по сторонам, она наклонилась и быстро прошептала. — Дочь Толстого, возьмите в нашу камеру, непременно!

Та улыбнулась и кивнула головой

— Пойдемте!

Мы прошли по асфальтовой дорожке. С правой стороны тянулось каменное двухэтажное здание, с левой — кладбище.

— Сюда, наверх по лестнице, направо в дверь

Я толкнула дверь и очутилась в низкой, светлой квартирке. И опять пахнуло спокойствием монастыря от этих чистых, крошечных комнат, печей из старинного с синими ободками кафеля, белых стен, некрашеных, как у нас в деревне, полов. Высокая, со смуглым лицом, старушка в ситцевом, подвязанном под подбородком сереньком платочке и ситцевом же черном с белыми крапинками платье встала с койки и поклонилась

— Тетя Лиза! — сказала ей Александра Федоровна. Это дочь Толстого, вы про него слыхали?

— Слыхала, — ответила она просто, — наши единоверцы очень даже уважают его. Вот где с дочкой его привел Господь увидеться! — и она снова поклонилась и села.

Лицо спокойное, благородное, светлая и радостная улыбка, во всем облике что-то важное, значительное.

— Вот сюда кладите вещи, — сказала мне Александра Федоровна, староста лагеря, указывая на пустую койку рядом с тетей Лизой.

Вдруг дверь из соседней комнаты распахнулась, и быстрыми, легкими шагами ко мне подошла прямая, старая дама, с гладкой прической, в старомодном, затянутом платье, с признаками былой классической красоты.

— Позвольте с вами познакомиться. Я Елизавета Владимировна Корф.

— Баронесса Корф?

— Chut, plus des baronesses! C'est a cause de ça que je souffre! — прошептала она. — Но вы, за что же вас могли посадить? — уже громко спросила она. — Ваш отец был известен всему миру своими крайними убеждениями.

— Обвинение в контрреволюции, а, впрочем, я и сама не знаю, за что..

— Abominable! — воскликнула она.

Вечером мы сидели вокруг стола в комнате старосты семь женщин, не имеющих между собой ничего общего, — разных сословий, разных интересов, вкусов, развития. Пили чай из большого жестяного чайника. Тетя Лиза пила с блюдечка медленно и деловито; баронесса принесла из своей комнатки маленькую изящную чашечку и пила, отставив мизинчик; дочь губернатора налила кипятку в громадную эмалированную кружку и пила его без сахара, с корочкой отвратительного тюремного хлеба.

— Почему вы чай не пьете? — спросила я.

Староста только рукой махнула.

— Уж от голода распухать стала, а все другим раздает, — сказала она, и в глазах ее засветилась ласка, — и масло, и сахар — все.

— Голубушка, Александра Федоровна, не надо, — поморщилась дочь губернатора. — вы не обращайте на меня внимания, пожалуйста...

В душе росло недоумение. Где я? Что это? Скит, обитель? Кто эти удивительные, кроткие и ласковые женщины?

Я легла спать Толстая, нервная дама, другая моя соседка по камере, задавала мне бесконечные, глупые вопросы. Наконец мне это надоело, я отвернулась к стене и притворилась спящей. Но спать не могла.

По привычке, как это было все эти последние дни, я подумала о том, что приговорена в лагерь на три года. Но, к удивлению моему, мысль эта не дала мне того тоскливого ощущения почти физической боли, как прежде. Передо мной, заслоняя все остальное, стояло бледное, немного опухшее лицо, обрамленное светлыми, почти рыжими волосами, ласково улыбались серые, добрые глаза. «Везде жить можно, и здесь хорошо...» «Да, может быть, это и правда», — подумала я. В моей душе не было ни страха, ни чувства одиночества..

Среди ночи я проснулась. Где-то, казалось, под самыми нашими окнами, стучали железом по камню, точно ломом пробивали каменную стену. Гулко раздавались удары среди тишины ночи, мешая спать.

В смежной комнате кто-то заворочался.

— Что? Что? — спросила я.

Никто не ответил, все спали. А стук продолжался. Стучали ломами, слышно было, как визжали железные лопаты о камни. Мне чудилось, что происходит что-то жуткое, нехорошее, оно лезло в душу, томило..

Наутро я спросила старосту, что это был за стук, точно ломали что-то и копали

— И ломали, и копали, — все было, — ответила она, девчонки тут, все больше из проституток, могилы разрывают, ищут драгоценностей. Надзиратели обязаны гонять, днем неудобно, ну, так они по ночам. Должно быть, надзиратели тоже какой-нибудь интерес имеют, вот и смотрят на это сквозь пальцы..

Говорит спокойно, не волнуясь, как о чем-то привычном.

— Но надо это как-нибудь прекратить, сказать коменданту...

Она насмешливо улыбнулась.

— Да, надо бы... А впрочем, не стоит, обозлятся уголовные...

— Разве находят что-нибудь?

— Как же, находят. Золотые кольца, браслеты, кресты. Богатое ведь кладбище, старинное.

Я вышла во двор. Почти все свободное от построек место занимало кладбище. Должно быть, прежде оно действительно было очень богатое, теперь оно представляло из себя страшный вид разрушения и грязи. Недалеко от входа в монастырь, слева, могила княжны Таракановой, дальше простой, каменный склеп первых Романовых. На мраморной черной плите, разложив деньги, две женщины играли в карты, тут же рядом развороченная могила — куски дерева, человеческие кости, перемешанные со свежей землей и камнями.

— Девчонки ночью разворочали, — просто сказала мне одна из женщин на мой вопросительный взгляд. — Здесь ко всему привыкли, ничем не удивишь.

— А грех? — сказала я, чтобы что-нибудь сказать

— Какой грех? Им теперь это ничего не нужно, — и она ткнула пальцем в кости, — а девчонки погуляют. Да сегодня, кажись, ничего и не нашли, — добавила она с деловитым сожалением.

Никто не возмущался, все были спокойны, безучастны. Почему же меня это так волнует? Расстроенное воображение, нервы?

На следующую ночь я опять не могла спать, снова, когда весь лагерь погрузился в сон, — стуки, удары лома и лопаты о камень. И так продолжалось несколько дней. Наконец стуки прекратились. Но началось другое, не менее жуткое.

Вечером, когда наступали сумерки, раздавались страшные, нечеловеческие крики. Казалось, это были вопли припадочных, безумных, потерявших всякую власть над собою, женщин. В исступлении они бились головами о стены, не слушая криков надзирателей, уговоров своих товарок.

Кокаинистки, с отравленными табаком и алкоголем организмами, почти все крайние истерички, «девчонки» не выдержали этого ежедневного ворошения человеческих скелетов и черепов, срывания колец с костей рук с присохшими на них остатками кожи. Мертвецы преследовали их, они видели их тени, слышали их упреки, их мучили галлюцинации. Ежедневно, как только смеркалось, они видели, как мутной тенью под окнами проплывала человеческая фигура. Она останавливалась у окна, принимала определенные формы монаха в серой рясе и медленно сквозь железные решетки вплывала в камеру.

Женщины бросались в разные стороны, падали на пол, закрывая лицо руками. Наступала общая истерика, острое помешательство, пронзительные визги перемешивались со стоном и жутким хохотом, от ужаса у меня шевелились волосы на голове, немели ноги.

Нигде нервы не расшатываются так, как в заключении. Сумасшествие молниеносной заразой перекинулось в другие камеры.

Таинственного монаха видели то тут, то там, во всех камерах. В существование его поверили не только уголовные, но и политические.

Монах этот посетил и нашу камеру

Вечером мы все ушли в наш лагерный театр, где заключенные ставили какую-то пьесу. Дома остались только толстая барыня и баронесса Корф.

Вернувшись, мы застали толстую даму в большом волнении.

— Знаете, знаете, — говорила она, захлебываясь, — что у нас было, вы и представить себе не можете Когда

* Записано в лагере

вы ушли, я вошла в камеру старосты, и вдруг на постели у нее сидит...

— Монах?

— Вы почем знаете? Да, да! Монах. Я решила, что он пришел к старосте по делу и спросила его: «Что вам угодно?» И вдруг он поднял на меня свои голубые глаза и насмешливо улыбнулся. Мне стало очень неприятно, я ушла и захлопнула дверь, но не могла успокоиться, снова вошла. Он сидел в той же позе и вдруг я поняла, что он не настоящий монах, что это привидение... Я опять захлопнула дверь и пошла за баронессой. Когда мы отворили дверь, его уже не было...

Прошло несколько дней. Было поздно, и мы собрались ложиться спать. Вдруг кто-то сильно хлопнул дверью.

— Кто это? Кто? — нервно вскрикнула толстая дама.

— Не знаю, — ответила староста, — наши, кажется, все дома, никто не выходил.

Действительно все были налицо.

Я выскочила на лестницу, вниз, во двор, — никого не было.

— Монах, честное слово, монах, — испуганно шептала толстая дама.

— Нервы у вас шалят, сударыня, вот что, — заметила невозмутимая староста. Тетя Лиза вздохнула и перекрестилась.

КАЛИНИН

— Выпустили? Опять теперь начнете контрреволюцией заниматься?

— Не занималась и не буду, Михаил Иванович!

Калинин посмотрел на меня испытующе.

— Ну, расскажите, как наши заключения? Хороши? Дома отдыха, правда?

— Нет..

— Ну, вы избалованы очень! Привыкли жить в роскоши, по-барски... А представьте себе, как себя чувствует рабочий, пролетарий в такой обстановке — с театром, библиотекой...

— Плохо, Михаил Иванович! Кормят впроголодь, камеры не отапливаются, обращаются жестоко... Да позвольте, я вам расскажу...

— Но вы же сами, кажется, занимались просвещением в лагере, устраивали школу, лекции. Ничего подобного ведь не было в старых тюрьмах! Мы заботимся о том, чтобы из наших мест заключения выходили сознательные, грамотные люди...

Я пыталась возражать, рассказать всероссийскому старосте о тюремных порядках, но это было совершенно бесполезно.

— Ну, конечно, может быть, и есть некоторые недочеты, но все-таки наши места заключения нельзя сравнить ни с какими другими в мире!

Ему были неприятны мои возражения и не хотелось менять созданное им раз навсегда представление о лагерях и тюрьмах.

«Совсем, как старое правительство, — подумала я, — обманывают и себя и других! И как скоро этот полуграмотный человек, недавно вышедший из рабочей среды, усвоил психологию власть имущих».

— Ну, конечно, если и есть некоторые недочеты, то все же в общем и целом наши места заключения нельзя сравнить ни с какими другими в мире!

«Ни с какими другими в мире по жестокости, бесчеловечности», — думала я, но молчала. Мне часто приходилось обращаться к Калинину с просьбами, вытаскивать из тюрем ни в чем не повинных людей.

— Вот, говорят, люди голодают, продовольствия нет, — продолжал староста, — на днях я решил сам проверить, пошел в столовую, тут же на Моховой, инкогнито, конечно. Так, знаете ли, что мне подали? Расстегай, осетрину под белым соусом, и недорого...

Я засмеялась.

Продолжение следует.

МИКРОРЕЦЕНЗИИ

К РОДНЫМ ИСТОКАМ

Среди многочисленных бед, заполняющих нашу среду обитания — бездуховность, безнравственность, безликость, — все настойчивей дает о себе знать еще одно — безукладность. Обессмысленные мифичностью цели «трудовые будни», действительно сходные с праздниками безликой своей рутинностью. Досуг, который мы разучились проводить. Не объединенный ничем, кроме фамилии, «круг семьи»...

Но «прах» старого мира, который отрясли мы со своих ног с легкостью столь необыкновенной, нет-нет, да и постучит в сердце. И тогда спешим мы примерить красное платье, чтобы следуя обычаям, укладу чьей-то чужой родины, встретить год дракона. Или взываем к духу графа Калиостро...

А можно взять сборник фольклора, народный календарь, где что ни день, что ни пора — то ритуал, столь же мудрый, сколь и мастерски срежиссированный

Представляем новую книгу — «Нижегородские хороводы». Это, как утверждают составители, первое издание, целиком посвященное нижегородским хороводным песням. В его основе — лучшее из того, что удалось собрать фольклорным экспедициям кафедры русской литературы Горьковского университета, Горьковской консерватории в 70—80-е годы, а, кроме того, дореволюционные записи, сделанные выдающимся нижегородским краеведом Андреем Васильевичем Карповым. Его заботами мы можем теперь и «услышать» и «увидеть» хороводы — ведь Карпов не только записал тексты песен, но и описал народное действо — состав участников, фигуры, драматическую игру, сопровождающую пение. Эти описания редакторы книги поместили перед текстами. А их здесь великое множество: хороводы брачные, игровые, с загадками, праздничные (троица, масленица), зимние беседки... И все — веселые. О тяжелом своем труде — бодро, о грядущих злых свекоре и свекрови — с юмором пели девушки. Читаем — и самим хочется подхватить задорную мелодию. Хотя, конечно, не как песенник, в обычном нашем понимании, задуман этот сборник. А ведет он «по тропке, да по тропинке» в не столь далекое, но полузабытое наше прошлое, к родным нашим истокам.

Е. НИКОЛАЕВА

НИЖЕГОРОДСКИЕ ХОРОВОДЫ. Сост. К. Корепова. Горький. Волго-Вятское книжное издательство, 1989

ЖИВОЕ СЛОВО

Представляя читателям двухтомник избранных произведений поэта Николая Старшинова, хочется сразу сказать о главном достоинстве его стихов. Они живые. Сейчас это редкость. Все чаще подменяется у нас живое доброе выстраданное Слово, тяга к которому так сильна в народе, словесными абстракциями и литературными изысками. Поэзии Н. Старшинова греха этого удалось избежать

О чем бы ни писал поэт, будь то его стихи о войне, многие из которых стали уже хрестоматийными («Руки моей любимой», «Я был когда-то ротным запевалой», «Солдаты мы»), или раздумья над колыбелью дочери, или воспоминания об удачной рыбалке («С чем я только не встречусь на свете...», «И в этой холодной избе...»), образы, созданные им, запоминаются и оживают в нашем сознании. Чем это объяснить? Прежде всего тем, что поэт предельно искренен с читателем, он — «равный среди равных», живой реальный человек, сын своей среднерусской равнины, гвардии рядовой Великой Отечественной.

В каждом его стихотворении присутствует особая доверительная интонация, с которой он говорит о проблемах насущных: о судьбе России и сложности человеческих судеб, превратностях любви и понимании окружающего мира, своего места в нем.

Но поэзия — не единственный жанр, в котором работает Н. Старшинов. Во втором томе избранного собраны его прозаические миниатюры, детские юмористические стихи, критические выступления, публицистика. Все это помогает нам более полно представить личность писателя.

Д. ВЛАДИМИРОВА

Старшинов Н. ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ В ДВУХ ТОМАХ — М.: Худож. лит., 1989.

КНИГОЧЕЮ НА ЗАМЕТКУ

Гаврюшкин А. В. ГРАФ НИКИТА ПАНИН: Из истории рус. дипломатии XVIII в. — М.: Междунар. отношения, 1989. — 173 с., ил. — (Из истории дипломатии) — 65 к. 50 000 экз.

Деникин А. И. ПОХОД НА МОСКВУ («Очерки русской смуты») — М.: Воениздат, 1989 — 288 с — 1 р. 50 к. 50 000 экз.

Михайлова М. С. СВОД ДАННЫХ О ДЕКАБРИСТАХ 1826—1856.— Красноярск. Изд-во Краснояр. ун-та, 1989 — 61 с — 35 к 3000 экз

Княгиня Зинаида Алексеевна Шаховская сумела преодолеть порог эмигрантского отчуждения и войти в французскую литературную жизнь как известная журналистка, как литератор, пишущий на французском языке, автор популярных французских романов и исторических работ. Французские романы она подписывала псевдонимом Жак Круазе. Издала по-русски три сборника стихов: «Уход» (1934), «Дорога» (1935), «Перед Сном» (1970). За исторические работы получила две премии Французской Академии. Она член Общества Французских писателей, Пен-Клуба и Синдиката французских критиков.

Как активный участник французского Сопротивления Шаховская награждена Орденом Почетного Легиона. Как военный журналист с 1945 по 1948 годы работала при союзных армиях в Германии, Австрии и Италии, присутствовала на Нюрнбергском процессе. Работала в Греции корреспондентом в период гражданской войны. В 1956—1957 годы жила с мужем, в то время бельгийским дипломатом, в Москве. Много путешествовала по экваториальной и северной Африке, США, Мексике, Канаде.



Зинаида Шаховская.
Париж, 1949 год.

Значит, не нужда, не эмигрантское одиночество привели Зинаиду Шаховскую к активнейшему участию в судьбах русского Зарубежья. Скорее — невозможность не быть среди своих. Прежде всего она чувствует себя — русской, по происхождению, по принадлежности к великой русской культуре.

Она была близка со многими талантливейшими писателями русского Зарубежья. Это ей Иван Бунин писал: «Как не вижу Шаховскую сам не свой хожу! Тоскую!» или еще «Эту книгу (самую лучшую из всех моих прочих) я переплел бы для Вас, Зинаида Алексеевна, в кожу моего сердца».

Это ей посвящала стихи Марина Цветаева. Она была в тесной дружбе с Владимиром Набоковым, которому посвятила целую книгу воспоминаний, Евгением Замятиным, Алексеем Ремизовым...

Ее голос знали многие из нас по передачам французского радио, где с 1960 по 1968 год Зинаида Шаховская заведовала культурными передачами русской секции ОРТФ. Она сделала одним из главнейших центров русского Зарубежья газету «Русская мысль», где с 1968 года вплоть до недавнего времени была главным редактором. Ее не по-женски острая, принципиальная публицистика вызывала немало споров в зарубежной прессе. Одной из первых Зинаида Шаховская стала поддерживать Александра Солженицына, написала о нем не одну статью еще до его изгнания из нашей страны. Немало жестких слов сказала Зинаида Шаховская по поводу пренебрежительных отзывов о России лидеров последней, третьей эмиграции. Уважая культуру любого народа, сама являясь и частью французской культуры, княгиня требует уважения и к русской культуре, прежде всего со стороны тех, кто сам пишет на русском языке. Для нее неприемлемы «Прогулки с Пушкиным» Абрама Терца, как неприемлема русофобия современных зарубежных русистов.

Для нас сегодня, родившаяся в 1906 году в Москве, эвакуировавшаяся в 1920 году из Новороссийска в Константинополь Зинаида Алексеевна Шаховская — представитель той первой, трагической эмиграции, которая через все испытания пронесла великую свою любовь к России, русскому народу, русской культуре. Таких, как Шаховская, было большинство, и потому не уронили они честь русской культуры в страшный период фашистской оккупации.

Сколько их русских — героев французского и итальянского Сопротивления! Множество. А сегодня они возглавляют новое Сопротивление, не менее мужественное, тем, кто хочет втоптать в грязь русскую культуру, кто желает видеть нас «нацией рабов». Через границы времени и пространства, через границы государственные и политические нам протягивается рука русского дворянства, духовной аристократии.

ВЛАДИМИР БОНДАРЕНКО

ЗИНАИДА ШАХОВСКАЯ

О ПРАВДЕ И СВОБОДЕ СОЛЖЕНИЦЫНА

Только большое произведение может вызвать споры, и чем значительнее книга, тем значительнее разногласие по ее поводу. Уже приученные к Солженицынскому «почерку» и к определенной тематике его творчества, многие читатели и критики были как-то захвачены врасплох тем, что им показалось в «Августе Четырнадцатого» нового, или, вернее, отличного от прошлых повестей и романов. Они как-то связывали Солженицына с советской действительностью, плотью от плоти ее или, вернее, духом от плоти ее.

И вдруг Солженицын написал книгу о времени, которого он не знал, которого не был прямым свидетелем, да еще модернизировал к тому же повествование, разбивая главы газетными вырезками, экранизированными иллюстрациями. И вот многие так растерялись, что не заметили, что и в «Круге Первом», и в «Раковом корпусе», и в «Матренином дворе», и в «Одном дне Ивана Денисовича» персонаж всегда один и тот же, хоть и собирательный — русский народ, один герой — Россия, одно направление: к просветленной мудрости того, кто о них повествует.

Хотя «не нами неправда началась, не нами и кончится», но каждый из нас в этой неправде должен жить по правде, не втягиваясь душой в события, не поддаваясь черным страстям политики, сохраняя «живое сердце, ум свободный и правды пламень благородный» среди всех испытаний и всего зла, нас окружающего.

У Солженицына нет высокомерного желания укрыться в «башне под семью замками» и оттуда с презреньем смотреть на заботы и горе людей. Наоборот, он в них всегда включен не только личной своей трагической судьбой, но и включает в них судьбу всякого человека. Кажется почти невероятным в наши дни, когда, живя иррационально, общество воображает, что оно нашло (или найдет) разрешение всех вопросов в рациональном мышлении, что разум правит историей и законы человеческого строя независимы от законов мироздания. Солженицын утверждает обратное: «История не правится разумом»... «законы лучшего человеческого строя могут лежать только в порядке мировых вещей — в замысле мироздания и в назначении человека».

На личном и на всеобщем советском опыте познавший, что таит в себе неправильное и неправедное понятие свободы, не веря, что власть или общество могут дать, или воспитать, в человеке ту внутреннюю свободу, которую никакое насилие не может от него отобрать, Солженицын образ этой внутренней и независимой от тирана свободы и несет через все свои книги и показывает путь к ней.

Среди пустых слов и трескучих фраз о гражданских добродетелях, о революциях, о социальной справедливости, среди интриг начальства, соперничества и зависти, выступает, как антитеза, не только скромная и, как будто, бессильная честность и жертвенность отдельных лиц, но и весь русский народ как нечто цельное и в «темноте» своей инстинктивно ведущее свою собственную линию.

«Август Четырнадцатого» построен на свободе человека от событий. Свобода каждого в том, чтобы умно и верно, д у х о в н о откликнуться на эти события. Что означает разгром армии Самсонова в истории всего мира? Это только некий показатель человеческих ошибок в данном отрезке времени. И в каждую эпоху, каждую неделю, каждый день и час мы можем усмотреть такой же показатель ошибок частных лиц и правительств. Но война, как и всякий кризис (с греческого: суд) — экзамен для каждого человека. Во время кризисов вскрывается, обнаруживается истинная природа вещей и ценность или недостоинство каждой личности.

Персонажи Солженицына — герои, не замеченные обществом. Они частицы главного персонажа его повестей и романов — русского народа. На вид эти частицы целого как будто ничем не отличаются от своих соседей. Они не принадлежат к тем, которые, как говорят, вершат судьбами страны и человечества. Власть их потаенная, как власть самого добра среди дерзко орущего зла. Они распространители истины и мудрости, сеятели духовных зерен, праведники каждый в своем роде, будь то Матрена или Костоглотов, Воротынцев или Варсонофьев.

В «Августе Четырнадцатого» разрушаются современные мифы (вернее, старые мифы русских шестидесятых годов прошлого столетия, подхваченные по какому-то недоразумению западной молодежью тех стран, где они не обнаружили еще свою ложь). Солженицын показывает нам святое неравенство людей, неравенство выступающего в выборе каждого человека, избирающего низшую или высшую свободу, ограниченную деланием земным или неограниченную — в плане духовном.

Платон Каратаев Толстого не совсем живой человек, он — самой цельностью своего образа — литературный персонаж, праведники Солженицына никогда не литературные персонажи: как и все люди, даже святые, как апостолы Петр и Павел, они не лишены недостатков и грехов, это тоже признак правды, а затем ее антитеза: остро очерченная трагическая и вековая неправда политической жизни, ее неглубинность. Вне партии, сословий и классов, Солженицын показывает нам человека. Не по его политическим убеждениям судит он, а по его сущности. Есть добрые и светлые люди, есть худые и темные, но человек зависит не от тирана, власти или времени, а от направления своей души. Отказавшись от зависти, злобы, любостяжания, страха, человек становится свободным и облечен силой, даже если он одинок и обезоружен.

Идеи распыляются в столкновении с действительностью. В сущности, всякий, кто предпринимает какое-то дело, исхода его предвидеть не может... Беда, по Солженицыну, в том, что большинство не проникает в загадку миротворения, ограничивается словами или внешними действиями, не думая о своем собственном совершенствовании. Но только нравственным и духовным усилием открывается дверь к истине. «Познайте истину и она сделает вас свободными».

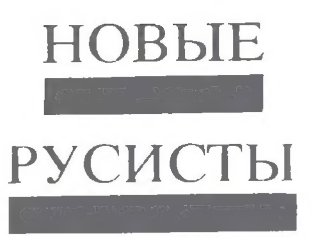
Солженицын не навязывает читателям своего мировоззрения, об инакомыслящих он пишет мягко, скорее сожалея, что они до чего-то не дошли и поэтому не могут быть бесстрашны. Он предлагает нам о т г а д а т ь, почему «справедливость — недостаточный принцип для построения общества».

«Она не та — которую бы мы измыслили для удобного земного рая» И не важно, что «на главный вопрос и никто никогда не ответит», главное не в формулах, а в понимании тайны, в ощущении ее и жизни в ней.

Заслуга Солженицына в том, что он говорит нам о вечном н о в ы м и словами.

Мне не совсем понятно, как некоторые читатели не приняли и не поняли вот это новое звучание русского языка, пускай для нас непривычного, но творческого — он тоже признак свободы. Не пушкинским и не советским пишет Солженицын, а тем живым, извечно меняющимся языком, который, не отрываясь от почвы, откидывая засорения советской эры, является доказательством, что жива душа русского народа, трагического, но тянущегося испокон веков к просветлению, то есть к правде и свободе.

«Русская мысль», 1971 г.



НОВЫЕ РУСИСТЫ

Да не подумают, чтобы я считал русскую историю историей святого народа... Нет конечно, это народ грешный — безгрешного народа не может быть.

(К. С. Аксаков)

К моему удовольствию и просвещению, мне в жизни посчастливилось встречаться со многими «истами», среди них с ориенталистом проф. Грегуаром, эллинистом Марио Мёнье, испанистом Жаком Кассу и с теми, кого тогда называли славистами, профессорами Лирондель, Ло Гатто, Экком и с ныне здравствующим, всеми уважаемым и любимым Пьером Паскалем. Недавно вышла новая книга Жака Сустеля «Мир Ацтеков». Ни Греция, ни Византия, ни Испания не были морально безупречными мирами, но изучая их, включаясь в них, не скрывая их пороки, все работы о них, написанные «истами», как бы согреты любовью к объекту изучения. Мёнье простил грекам участь Сократа, Сустель — кровожадность Ацтеков, о которых он пишет не только с точностью этнографа, но и с душевной привязанностью.

Лет десять тому назад появилась в свободном мире особая разновидность русистов. Будь они иностранцами или выходцами из Советского Союза, они как будто обрекли себя на описание самых мрачных сторон России. Я даже чувствую к ним известную жалость. Как ужасно должно быть потратить несколько лет своей жизни, а для иностранцев немало лет и на преодоление трудностей русского языка, для того, чтобы отыскивать все, что ни есть плохого в истории или характере россиян. Да еще впоследствии быть приговоренными внушать студентам — до выхода на пенсию — что нет русской культуры, а есть только русская дикость, бессмыслица и небытие: т. е. учить некультуре.

Сразу же оговариваюсь: не все современные русисты таковы. Немало и таких, которые продолжают традицию научной беспристрастности, а не занимаются сведением личных счетов. Счеты зачастую основаны, мне кажется, на личном разочаровании не в России, а в СССР, в режиме, в котором некоторые принимали участие до какой-либо с ними случившейся неприятности. К тому же трудно изжить и с детства внушенную новым режимом ненависть к старому, отделаться от советской муштровки мысли.

Пользуясь тем, что о России Западу уж не так много известно, читателям книг и статей преподносятся обычно избранные крохи всегда неблагоприятных о ней свидетельств, а зачастую и ложь.

Со скучным единообразием подбор цитат и выбор источников всегда одни и те же: Кюстин, Олеарий... Их не обойти, но почему не отметить и то, что оба автора давали и положительные отзывы: Кюстин признал русский народ умным и талантливым. Можно было бы и отметить факт, что Кюстин по-русски не говорил, провел в России малое время, встречал больше светских людей и, несмотря на малую знатность своей фамилии, был обласкан русским двором, славившимся благосклонностью к иностранцам. Не из этих двух источников мог Кюстин узнать о положении дел в России. Логично думать, что информация об отрицательных сторонах жизни там была дана ему на западе, людьми более, чем он, знакомыми с нею, но имевшими с Россией особые счеты — может быть польскими эмигрантами (не виню их за это, после раздела Польши требовать от них любви к России было бы неблагоразумно).

Олеарий, попавший в Московию вскоре после Смутного Времени, дает интересные сведения об этой эпохе. По-западному практичный, он отмечает цены на продукты потребления, но иногда пишет о том, что царь навещал тюрьмы и раздавал узникам тулупы. Олеарий справедливо бранит русских за грязь, но ведь и пышность французских дворцов чистотой никак не отличалась. В России были хоть бани... Олеарий называет русских пьяницами и... мужеложцами (бедный Кюстин). Говоря об Олеарии, следует все же помнить, что в те не экуменические времена для него Россия была прежде всего страной еретической, а царь Алексей Михайлович мыл руки после встречи с иностранными послами «еретических» стран. Приблизительно в то же время, что Олеарий, посетил Московию Диакон Павел Алеппский. Как православный, он был в ней своим; как человек образованный и любознательный, он тоже описал то, что видел: и ловкость тульских литейщиков и щедрость бояр, призревавших в своих домах множество бедных. Но Диакона Павла новые русисты не упоминают. Редко встречаются у них и цитаты из Коллинса, Майерберга, Мьёже, Кульпепера и других. И уж конечно, замечательные русские люди прошлых веков начисто замурованы в их памяти. Федор Ртищев Милостивый, просветитель и основатель первой помощи раненым воинам (начал с того что подбирал их в свою повозку, а сам шел пешком), Афанасий Ордын-Нащокин, умерший в схиме, великий государственный человек и по западным масштабам первый русский министр иностранных дел (когда сын его, юноша, убежал в Польшу, Ордын-Нащокин просил Алексея Михайловича разрешение отойти от дел, считая себя опозоренным, но царь утешал его — что, мол, молодой птенец ни делает, а потом возвращается в гнездо свое). Не упоминается ими и «стриженый поп» Юрий Крыжанич, хорват и католик, с несчастной судьбой и необыкновенной любовью к славянским народам. Крыжанич пишет, что ни один народ не был так унижаем и поносим в продолжение веков, как русский. Как зорко отмечает он то, что рознит его от других народов Европы. Иностранцы видят «нас свиньями и собаками, а себя богами», «но слезы, кровь и пот русского народа питают иностранцев, греческих купцов и немецких и крымских разбойников». Крыжанич знает пороки русских и их недостатки, но знает и то хорошее, что у них тоже имеется. «На западе, — пишет он (сам Крыжанич учился на западе), — люди хитры и проворны, запад хорошо организован, Россия, запертая в своем континенте, — нет. Другие народы красивы, а славяне обычны; первые обладают красноречием, у славян ум медленнее. Сердца других народов полны гордостью; русские просты, русские расточительны, иностранцы бережливы и расчетливы»; «мы говорим, как думаем, в простоте, а они хитры, обманны и мстительны».

Да и в XVIII и в XIX веке посетители России писали о ней много хорошего. Взять хотя бы Берлиоза. Совсем не мало свидетельств о положительных сторонах русской жизни. Были и на западе люди, любящие Россию и ее народ, — для равновесия следовало бы приводить и их отзывы.

Иногда мне кажется, что иностранные хулители русского народа не знают собственной истории. Так, меня очень насмешил один член английского парламента (консерватор), принесший мне написанную им книгу, обличавшую Россию — добро бы СССР — в колониализме во всех прошлых веках. Я приняла это за доказательство британского юмора, ибо ведь это над А н г л и й с к о й Империей «солнце никогда не заходило». Завоеванием чужой территории образовались и Франция, и Англия, и Австро-Венгрия, а затем перемахнув через моря и океаны западные государства колонизировали остальные части света: Португа-

«Русская мысль», 1980 г.

ния и Испания, Франция и Англия, Италия и Германия, Голландия и Бельгия — исключение Швейцария и Люксембург.

Россия же никогда не выходила из «соседства», часто от соседей — татар, шведов, поляков, Ливонских рыцарей — обороняясь. С. Соловьев, Забелин и Ключевский отмечают этот необыкновенный процесс «колонизации безбрежных пространств как бы естественно открывающихся». Данилевский подчеркивает особенность порядка возрастания русского государства, «не терпящего территориальных разрывов, не знающего слово «колония» и расширяющего и принимающего в себя кровь инородцев». Расизмом Россия не страдала уже с древних времен и всегда даровала всем племенам, в нее включавшимся, русское гражданство, чего западные колонизаторы не делали. Русификация? Но в образовании всякого государства единство языка всегда считалось необходимым условием народного единства. Бретонцы, каталонцы, баски, эльзасцы, корсиканцы принуждены были учиться французскому. Одна Швейцария трехъязычна, но в многоплеменной России сколько языков пришлось бы учить, чтобы ее граждане могли понимать друг друга. К тому же чаще всего побеждает наиболее развитой язык.

Не было в старой России международной торговли невольниками, (на которой до XIX века зарабатывал либеральный Вольтер). Не было в ней и депортации местного населения, в чем так виноват СССР. Англичане в 1750 годы депортировали Акадийцев, французских поселенцев в Канаде, живших там с 1604 года, и еще в начале XX-го их потомки «Каджины» не имели права в Луизиане учиться французскому языку.

Социальное устройство России было отвратительно, но в XIX веке и во Франции и в Англии оно было совершенно ужасно (Диккенс, Золя). Перед войной 1914 года в Великобритании семья рабочего должна была существовать на один фунт в неделю и 25% детей умирали, не достигнув 18-летнего возраста. В 1940 году я писала за молодых раненых письма их родным — они были безграмотны.

В 1904 году в США еще линчевали негров. Это похуже, чем отвратительные погромы на Украине евреев, или в 1914, в России же, немецких магазинов, — если не ошибаюсь, и там и там не было человеческих жертв. Толпы всегда безумны и беспощадны. Но в «Chicago Tribune» от 29 марта 1904 года можно было прочесть такое: «нельзя черным убийцам давать преимущество суда присяжных. Это конституционное право белого, а не черного человека». Суд над Бейлисом показал, что не так уж было плохо правосудие в России.

Не могут простить Николаю I повешенных декабристов (отметим, что в России XIX века не нашлось палача и пришлось для казни декабристов выписывать такого мастера из Швеции). Но во Франции в начале 60-х годов нашего века, при де Голле, были расстреляны Дегельдер, Пигхт, Довекар и Бастьен-Тьери (за неудавшееся покушение), а генералы Салон и Жухо только чудом избежали такой участи, при полном равнодушии просвещенной и либеральной французской интеллигенции.

О да! Вся русская история полна всякой мерзости, но притча о соломинке и бревне вечна, как все евангельские истины. Надо осуждать, надо бороться против зла, в котором мы живем, а прошлое изучать беспристрастно. Прошлым нельзя унижать ни одну страну, ни один народ. Ничьи ризы не белы.

Иногда пристрастие приводит к комическим утверждениям. В начале 60-х годов я принимала участие в малом «круглом столе» французского радио с ныне покойными Эмилем Серван-Шрейбером (отцом Жан-Жака Серван-Шрейбера) и сенатором Шмитленом, тогда председателем «Общества франко-советской дружбы». Беседа была о России и о СССР. И в пылу своего увлеченья советским опытом, хотя оба мои собеседника коммунистами не были, они договорились до такого: так слаба была царская Россия, что война 14-го года закончилась постыдным миром, тогда как Красная Армия, армия народная, победоносно вошла в Берлин. Мне пришлось напомнить, что Брест-Литовский мир не был подписан царским правительством, и что именно во вторую мировую войну, впервые за всю историю России, целая армия даже не сдалась, а перешла на сторону врага; и кстати, без американской уступчивости в Берлин вступили бы первыми американцы. Я всегда избегаю того, что может быть обидно для чужой национальной гордости, но тут не удержалась и напомнила и о Суворове в Альпах и о русских войсках в Париже в 1814 году.

Отчасти думаю, что ни один народ так не склонен обличать себя, как русский, кроме, пожалуй, американцев нашего времени, часто тоже осуждающих все свое. Другие же народы забывчивы и помнят только возвеличивающее их прошлое.

Возвращаясь к запискам путешественников по чужим странам и к литературным персонажам, легко убеждаешься, что «чужие» редко хвалимы и любимы и путешественниками, и писателями. Что только не писал Фонвизин о французах: «корыстолюбие несказуемое», «разница между шарлатаном и философом только та, что последний к сребролюбию присоединяет безмерное тщеславие», «тому, кто врет неумолкно, тут дают титул «эмабль». В Германии наш путешественник тоже находит, что «все генерально хуже, чем наше» и что «мы больше люди, чем немцы». Герцен видит запад гнилым. Белинский французов честит «развратными извергами», молодой Толстой поражен развратом французов. У Пушкина все французы «трусливы и смешны», у романиста Толстого они легкомысленны и безнравственны. Немцы в русской литературе всегда комичны, сентиментальны и тупы; англичане, кроме как у Лескова, похожи на «Островитян» Замятина. По счастью, ни один русский историк или литературовед не пользовался такими поверхностными и эмоциональными суждениями, чтобы придать своим работам специфический, негативный оттенок. Нельзя ли ждать и от тех западных или бывших советских руссистов, о которых тут идет речь, такого же научного, а не пропагандистского подхода.

И еще: следует им избавиться от привычки все научные или спортивные достижения СССР называть советскими, а танки, входящие в Прагу, русскими (я об этом как-то просила Давида Флойда из Дейли Экспресса). Пока еще не сделан этнический подсчет людей, управлявших Советским Союзом за 60 лет, да даже если их состав был бы чисто русским, все равно представляют они никак не Россию — кстати сказать, единственную из республик Союза, не имеющую даже своей собственной столицы, — а коммунистический режим с чисто советским колониализмом путем инфильтрации в другие континенты.

Писать правду необходимо, даже если она горька. И мне пришлось написать одну тяжелую для моих французских читателей книгу, свидетельство о том, что я здесь видела в 40-х годах: трусость, предательство, доносительство, выдачу тех, кому грозила опасность (бежавшим пленным, евреям, сопротивленцам). Удивительное дело, книга эта не только получила хорошие отзывы в прессе, но и принесла мне много благодарственных писем от читателей, в том числе и от полковника Реми, одного из самых ярких шефов Сопротивления. Объяснение простое: в моей книге было обличение темной стороны современной Франции, некоторой части ее населения, но чувствовалась в ней и любовь к другой Франции, к тем, на ком эта страна, как и другие, держится: на лучших представителях ее культуры, но также и на скромных людях чести, долга и милосердия. В правде всегда есть зерно любви, а ложь — порожденье ненависти.

●

ANN RADCLIFFE



фантастическая симфония

ПРИМЕЧАНИЕ

В ответ на Афишу журнала, опубликованную в нескольких номерах прошлого года, редакция получила множество писем, в которых читатели одобряют нашу программу, а также высказывают свои пожелания относительно интересующих их имен и произведений. В частности, называется Анна Рэдклифф, мастер готического романа. Надеемся, что выпуском ее прозаических произведений займутся издательства. Мы же, со своей стороны, впервые знакомим читателей с Рэдклифф-поэтессой.

ОТ РЕДАКЦИИ

Творчество английской писательницы Анны Рэдклифф (1764—1823) вряд ли знакомо сегодня кому-либо, кроме специалистов по истории литературы. Имя ее сохранилось разве что в закоулках памяти немногих читателей уходящего поколения. И немудрено: переводы произведений этого мастера литературы не издавались в нашей стране, если не ошибаюсь, не менее столетия.

А между тем Анна Рэдклифф — крупнейшая представительница и реформатор так называемого «готического романа», определившего на многие годы целое направление в мировой литературе. Она по праву может считаться родоначальницей предромантизма с присущими этому жанру категориями «возвышенного», «прекрасного», «живописного», с образной системой, построенной на контрастах, с напряженным развитием сюжета на основе борьбы добра и благородства с силами зла. Романы Рэдклифф — в частности, «Роман в лесу», «Удольфские тайны», «Итальянец» — имели оглушительный успех в Англии и вызвали большой резонанс во всем читающем мире. Она заслужила весьма лестные эпитеты — «первый истинный поэт в истории романного жанра», «гений Рэдклифф...», «могущественная волшебница», «чары Рэдклифф», — которыми ее награждали современники, в том числе такие, как Вальтер Скотт, Сэмюэл Кольридж. В отзывах на ее творчество отмечались присущие ей «поэтичность и чувство меры», говорилось даже, что она обладает неким «органом мечтательности».

Действие романов Рэдклифф развертывается обычно на фоне мрачных лесов, скалистых утесов, бурного моря, старинных полуразрушенных замков с лабиринтами темных подземелий. Зловещий антураж усиливается пугающими звуками — таинственные шорохи, вой ветра, раскаты грома. И это не оперные декорации, не театральные звуковые эффекты, а необходимые средства, с помощью которых автор исподволь нагнетает атмосферу тревоги, обостряющей развитие сюжета, средства, без которых жанр не мог бы состояться. Вместе с тем, необходимо отметить, что атмосфера «ужасного» и «таинственного» свободна от налета мистики и что писательница всегда утверждает конечную победу добра. В романах действуют мечтательные, беззащитные девушки и романтические «герои-злодеи» с сильной волей и безудержными страстями.

Общепризнано влияние Рэдклифф на становление таких корифеев литературы как В. Скотт, Байрон, Шелли. (Рискну даже экстраполировать ее влияние на творчество Лермонтова, если не напрямую, то во всяком случае опосредованно через поэтику Вальтера Скотта и Байрона; но это особая тема.)

Особенно отчетливо образный строй, изобразительные средства и эстетика предромантизма просматриваются в поэтическом творчестве Рэдклифф. Именно в стихах сконденсирована идейная и художественная сущность прозы писательницы, что делает их особенно привлекательными. Настоящая подборка стихотворений в какой-то мере подтверждение тому.

Поэтическим кредо автора можно считать стихотворение «Ночь». Это как бы введение в мир возвышенного и прекрасного, своеобразная заявка романтической эстетики. Здесь обнажен основной прием: игра контрастов, столкновение мрачных, пугающих, чуть ли не космических мотивов с почти идиллическими картинами природы, умиротворяющими в конечном итоге смятенную душу. Впечатление усиливается тем, что оно написано от первого лица, от имени так называемого лирического героя (вернее, героини). Вариации на эту тему слышатся и в стихотворении «Заход солнца». Автор в своих стихах как бы предлагает читателю экспозицию художественных выразительных средств и приемов, создающих своеобразный контрапункт и полифоническое звучание ее поистине фантастических симфоний. Состав и расстановку инструментов в оркестре — иллюзии, фантазия, видение (ужасные и сладостные), меланхолические медитации и пр. — можно разглядеть в стихотворении «К видениям Фантазии». И, наконец, «К лилии», так же как очаровательное в своем изяществе «При свете трепетном луны» — это те светлые мазки, которые поэтесса прокладывает по мрачному в своей колористической основе фону «поэтического романа». В заключение не могу не сказать, что длительное забвение этого пласта литературы несомненно обедняет нашу культуру.

НОЧЬ

День угасает. Догорел закат.
И Ночь спешит со свитою теней
Величественный развернуть парад
Всей мощью фантастических огней.

Она дарит и прелесть легких снов
И иллюзорный сладостный покой,
И потрясает душу до основ
Холодной и безжалостной рукой.

Принцесса Ночь, властительница дум!
Твой мрачен шаг и страшен голос твой!
Сквозь тьму, сквозь урагана грозный шум
Стремлюсь к тебе смятенною душой.

Люблю, о Ночь, следить с крутой скалы
Как ты на спинах яростных штормов
Летишь и гонишь пред собой валы
Под грохот обезумевших громов.

И вижу я — распарывают тьму
Кинжалы молнии и мечи комет,
Огней полярных вижу бахрому,
И звезд, внезапно падающих, след.

Но мне всего милей, когда с небес
Луны неверный свет сквозь облака
Вдруг высветит то озеро, то лес,
То силуэт горы издалека.

Пейзажи, неприметные пока
По ним рассеянный блуждает взгляд,
Фантазии волшебная рука
Оденет в романтический наряд.

Позволь мне, Ночь, наедине с тобой
Возвышенную пережить печаль,
Что в вое ветра — флейта и гобой! —
Звучит и тает, улетая в даль.

И чудо входит в душу, словно в храм,
И слезы выступают на глазах,
Когда видения приходят к ним
Развеять одиночество и страх.

Так кто ж ночных видений благодать —
Иллюзии и фантазии настой —
Захочет на реальность променять,
На День, с его крикливой пестротой?

К ВИДЕНИЯМ ФАНТАЗИИ

Иллюзии-друзья! Дух озорства
В изменчивой Фантазии порой.
Она, как фокусник из рукава,
Видений пестрый выпускает рой
Что мне, Фантазия, подаришь ты?
Раздумья грусти сладкой принесешь,
Иль с мнимого величья высоты
Проклятьем страшным душу потрясешь;
А, может, в красках, ярких как закат,
Феерию представишь предо мной,
И нежность и страсть большую воплотят
Крыла Любви, шумя над головой.
Видений тени! В мрачный, одинокий час
Избавить от невзгод зову я только вас!

ЗАХОД СОЛНЦА

Как старой дамы серый шлейф,
Влачится вечер. Чудеса
Ландшафта скрылись. Чуть светлей
Там, где заката полоса.
Волшебный пояс золотой
Еще не спрятал в темноту,
В свой грот коралловый Нептун —
И он сияет над водой.
Хочу постичь заката суть,
Игру Фантазии следить
Там, где на Океана грудь
Готовы звезды слезы лить,
Где все вокруг преобразить
Стремятся лунные лучи,
Где ласковый прибой в ночи,
Играя галькою, ворчит.
Там сумрак тишиною полн.
Слышна лишь песня моряка,
Иль весел плеск сквозь вздохи волн
Доносится издалека.
Закатный луч, ложась на лоно вод,
Мир и покой в день завтрашний несет.

К ЛИЛИИ

Росой умытый по утру цветок!
Ты поднялся — пригожий и простой.
Тебя целует нежно ветерок,
Вокруг тебя — сияющий простор.

Когда глаза прикроет день,
И солнце, завершая круг,
Опустит потихоньку тень
На холм и лог, на лес и луг —

Ты с головой уйдешь в печаль,
Ты спрячешь свой аромат,
И ночь, как траурная шаль,
Укроет светлый твой наряд.

Но снова день — и нет тоски!
Поднимешь голову опять,
Свои раскроешь лепестки,
Чтоб снова белизной сиять.

Дитя весны! И мне знакома грусть
И я, бывает, предаюсь слезам...
Но верю я — отступит боль. Так пусть
Дарует утро радость жизни нам.

* * *

При свете трепетном луны,
Неспешно льющимся с небес,
В спокойный сон погружены
Холмы, и озеро, и лес.

Уже уснул вечерний бриз,
Что колыбель Мечты качал...
Но вдруг — о чудо, о сюрприз! —
Мотив веселый зазвучал.

И эльфы в вихре ветерка
Несутся в пляске круговой,
Касаясь ножками слегка
Земли, покрытой муравой.

При свете трепетном луны
Мелодия звучит светлей,
Аккорды Музыки нежны!
С улыбкой Эхо вторит ей.

Вступительная статья и перевод
Л. ПАВЛОНСКОГО.

175 ЛЕТ



СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ (1815—1869) П. П. ЕРШОВА

«На «Коньке-горбунке» воочию сбывается русская пословица: не родись ни умен, ни пригож, а родись счастлив. Вся моя заслуга тут, что мне удалось попасть в народную жилку. — Зазвенела родная — и русское сердце отозвалось...» Так скромно оценивал обрушившийся на него, 19-летнего студента Петербургского университета, громадный успех автор «Конька-горбунка».

Полтора столетия минуло со дня первого издания сказки, а счастье продолжает сопутствовать «Коньку-горбунку», и современные читатели, как и автор первого предисловия к нему О. И. Сенковский, ценят «удивительную легкость и ловкость стиха, точность и силу языка, любезную простоту, веселость и обилие удачных картин».

Сочинения Петра Павловича Ершова, по данным Всесоюзной книжной палаты, издавались более 225 раз общим тиражом не менее 17 миллионов экземпляров на 43 языках народов мира. Это и любимый всеми «Конек-горбунок», и «неизвестный Ершов» — его поэтическое наследие, собранное в такие, например, книжки, как выпущенный в прошлом году издательством «Советсиая Россия» томик стихотворений.

Несмотря на обилие изданий, книг Ершова на прилавках магазинов не увидишь. Зато их могут выиграть те, кто примет участие в нашем традиционном конкурсе. Журнал «Слово» проводит его вместе с вновь образованным Новосибирским отделением издательства «Детская литература». Одна из первых его книг — очередное переиздание традиционного детгизовского «Конька-горбунка».

ЛИТЕРАТУРНЫЙ

Пять книжек сибиряки отдают тем, кто полно и правильно ответит на наши вопросы.

1. «Муза и служба — две неугомонные соперницы не могут ужиться и страшно ревнуют друг друга», — так писал П. П. Ершов о своем служении и музам и государству. Поэт был преподавателем, инспектором, а затем и директором Тобольской гимназии. Кто из его воспитанников впоследствии, приобретя мировую известность, прославит свое Отечество?

2. П. П. Ершов, дружившии с одним из создателей Козьмы Пруткова, В. М. Жемчужниковым, передал ему свой водевиль со словами: «Пусть им воспользуется Козьма Прутков, потому что сам я уже ничего не пишу». Козьма Прутков «принял» дар, использовав его при создании одноименной оперетты. Известно ли вам ее название?

3. П. П. Ершов писал эпиграммы. Первая строка одной из них:

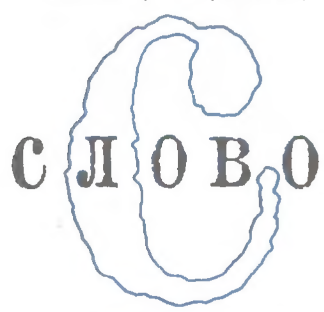
«Осел останется ослом,
Хоть дай ему магистерский диплом»—

является цитатой из известного произведения. Какого? Кто его знаменитый автор?

4. Поэзия Ершова вдохновляла художников, композиторов, кинематографистов. Напишите, кто и когда впервые поставил балет «Конек-горбунок». Назовите имя автора музыки.
В годы Советской власти по сказке был снят одноименный фильм. Кто его режиссер?



Литературно-художественный журнал Госкомпечати СССР и РСФСР
Издается с сентября 1936 года
№3. Март 1990



Сдано в набор 27.12.89.
Подписано в печать 02.02.90.
А01154. Формат 84×108 1/16
Бумага Знаменская 100 гр.
Печать глубокая и офсетная.
Усл. печ. л. 8,40+0,84+0,42.
Усл. кр.-отт. 21,42.
Уч.-изд. л. 14,24+1,05.
Тираж 238 530.
Заказ 873.
Цена 90 коп.
Адрес редакции:
129272, Москва,
Сущевский вал, 64
Телефон для справок: 281-50-98

Ордена Трудового Красного Знамени Калининский полиграфкомбинат Госкомпечати СССР.
170024, г. Калинин, проспект Ленина, 5.

Во всех случаях обнаружения полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться на Калининский полиграфкомбинат по адресу, указанному в выходных сведениях.
Вопросами подписки и доставки журнала занимаются предприятия связи.

В НОМЕРЕ:

КУЛЬТУРА. Традиции. Духовность. Возрождение.
1 А. Кузнецов. Лицо народа
4 В. Курбатов. Постижение прошлого

ИСПОВЕДЬ. Дневники. Письма. Воспоминания.
8 Ю. Галкин. О Шергине
10 Б. Шергин. Жизнь живая

ВРЕМЯ. Идеи. Диалоги. Поиски.
13 Ю. Черелевский. В одних руках
16 Письмо в номер
17 С. Семанов. Из жизни великого комбинатора
22 В. Карпов. Кричащий на пустыре
26 Л. Скворцов. Идеи новые — штампы старые

ИСКУССТВО. Графика. Живопись. Скульптура.
30 Е. Плахова. Путешествие в мир бонсаи
38 Р. Леонидов. Штрихи к портретам

ИСТОКИ. Легенды. Исследования. Находки.
41 Э. Ренан. Жизнь Иисуса
44 В. Дерягин. Азбучная молитва

РУССКАЯ МЫСЛЬ. Человек. Прогресс. Личность.
47 Н. Лосский. Свободолюбие

ЛИТЕРАТУРА. Стихи. Рассказ. Портрет.
51 К. Гамсун. Голос жизни. Рабы любви
55 Поэтическая страница
56 Вспоминает Эльза Триоле
61 А. Гумилева. Забытой повести листы...

ИСТОРИЯ. Очерки. Мемуары. Документы.
68 Д. Мстиславский. В такт пулеметам
72 А. Деникин. После приказа № 1
74 М. Палеолог. Петроград — Париж

77 А. Толстая. Проблески во тьме

ПЛАНЕТА. Путешествия. Эссе. Книги.
82 З. Шаховская. О правде и свободе Солженицына. Новые русисты
85 А. Рэдклифф. Фантастическая симфония
87 Литературный конкурс



Борис Шергин и пинежская сказительница Мария Дмитриевна Кривополенова. 1915 г.